Новый Журнал

XXXI

Нью-Йорк

Новый Журнал

THE NEW REVIEW

Основатель М. ЦЕТЛИН

Одиннадцатый год издания

Кн.
XXXI
1952

Редактор М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

Обложка работы М. В. ДОБУЖИНСКОГО

Copyright 1952, by "New Review". All right reserved.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Стр.

М. Алданов — Повесть о смерти 5
Юрий Косач — Талисман 60
Вл. Варшавский — Дневник художника 80
А. Гречанинов — Лермонтов у спиритов 100
Александр Браиловский — Предисловие к поэме М. Волошина.. 105

СТИХИ: — *Максимилиан Волошин* — Дом Поэта (поэма) 107
Георгий Иванов 111
Дм. Кленовский 112
Ирина Легкая 104

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:
Михаил Коряков — Великий перелом 116
Владимир Злобин — З. Н. Гиппиус (Ее судьба) 139
С. Маковский — Вяч. Иванов в эмиграции 160

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:
Н. Воинов — Беспризорники 175
Письма М. Горького к В. Ф. Ходасевичу 190
Ив. Ермолов — Начало индустриализации Абхазии 206

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:
Е. Юрьевский — О последнем труде Сталина и его источниках 216
Н. Градобоев — Некоторые итоги XIX-го съезда 238
Г. Гурджиян — О советской торговле 253
М. Карпович — Комментарии 264
Ю. Марголин — Куда идет Израиль? 280
Е. Кулишер — Н. П. Карабчевский 296
С. А. Васильев — Ответ Ю. Маркову 306
Г. Струве — Памяти В. Н. Челищева 310
Ю. Иваск — Памяти К. К. Гершельмана 313
К. К. Гершельман — Четыре стихотворения 313

БИБЛИОГРАФИЯ:
Ю. Денике — А. Тыркова «На путях к свободе». *М. Вишняк* Ю. Марголин — «Путешествие в страну зе-ка». *Борис Филиппов* — Две антологии. *Н. Б.* — А. Ремизов «В розовом блеске». *Н. Б.* — Д. Кленовский «Навстречу небу». *Борис Филиппов* — Неизданный Гумилев. *Вяч. Днепровский* — Запісы Беларускага інстытуту навукі и мастацтва. *Н. С. Тимашев* — Н. Семенов «Советский суд и карательная политика». *Б. Ольшанский* — К. Криптон «Осада Ленинграда» и Д. Константинов «Я сражался в красной армии». *Н. Б.* — П. Флери-Одарченко «Azelle». *Ю. Иваск* — Х. Кроткова «Белым по черному». **316**

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette Street,
New York 3, N. Y.
317

ПОВЕСТЬ О СМЕРТИ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ*

I — V

. . . . . .

VI

...Но преизлиха насыщшемся сладости книж-
ные. *Св. Илларион*

В начале марта, под вечер, Лейден зашел за Роксоланой в кондитерскую и застал ее в волнении. Оказалось, что во Франции произошла революция.

— Мне сказала моя гадалка! И все говорят! Французский король бежал. Провозглашена р е с п у б л и к а. — Теперь Роксолана уже гораздо бойчее произносила такие слова: чтение газет пошло ей в прок.

— Да тебе-то что за дело?

Она смущенно ему объяснила. Ей сказали, что сейчас во Францию пускают кого угодно, хотя бы и без паспорта. Кроме того, именно теперь настало время открыть в Париже кабинет. Мадмуазель Ленорман свою карьеру сделала потому, что во Франции была революция.

— Ах, вот оно что! — сказал Константин Платонович.

Они успели совсем надоесть друг другу. Лейден твердо решил в марте вернуться домой. Роксолана вздыхала и всё больше хотела уехать от него в Париж как можно скорее. Он желал, чтобы она заговорила о разлуке первой. Она надеялась, что первым заговорит он: тогда верно денег можно будет получить больше. Оба пускали в ход небольшие хит-

---

См. Кн. 28, 29 и 30-ю «Нов. Журнала».

рости: Роксолана вскользь говорила о том, как хорошо ей было в Константинополе; Лейден тоже вскользь замечал, что, когда они познакомились, у нее не было ни гроша: да и так ли уж ей было хорошо, если она продавалась на рынке?

— Ну, что-ж, ничего не поделаешь. Поезжай в Париж, — сказал он всё же с грустью. — Я дам тебе денег.

— Сколько у тебя осталось?

Он назвал немалую, но и не слишком крупную сумму.

— Я дам тебе половину, — сказал он. Роксолана просияла. Она долго обдумывала, сколько потребовать, собиралась запросить много, потом сделать скидку. Но он сразу предложил ей больше, чем она надеялась получить. По правилам надо было бы поторговаться. Однако Роксолана этого не сделала. «Верно, он врет, а всё-таки он щедрый. Инглез дал меньше, а другие и ничего при прощаньи не давали. Она его поцеловала.

— Ты щедрый, а я люблю тебя. Ах, как жаль, что у тебя жена! Вот спасибо.

Оба почувствовали облегчение, особенно Константин Платонович. «Торг отнял бы последние следы поэзии, а так ли много ее и было?» — подумал он. Воспользовавшись тем, что она пошла за покупками, он выложил на стол из чемодана часть своего золота и спрятал всё остальное. Когда Роксолана вернулась, произошел дележ. Тут она его удивила и тронула: прослезилась и последний маленький столбик в пять монет нерешительно придвинула к его куче:

— Возьми... Это тебе... Тебе дальше ехать, вдруг еще останешься в дороге без денег... Ты щедрый, — говорила она сквозь слезы, опять целуя Константина Платоновича. Он был смущен. Поспорил, но она пяти золотых так назад и не взяла, хотя жертва далась ей не легко: видимо гордилась своим поступком.

Он объявил ей, что должен отлучиться: тоже надо что-то купить. Роксолана догадалась, обрадовалась, но не показала этого. Лейден отправился к ювелиру. По дороге он вспомнил, что москвичи подносили на прощанье знаменитым ино-

странным артисткам браслеты с дорогими камнями, названия которых выписывали первыми буквами слово «Москва»: малахит, опал, сапфир, калцедон, винис, аметист. «Какое же слово выписать? «Роксолана» очень длинно и камней на девять букв я не найду, да и слишком дорого будет стоить. «Константин» — еще хуже; не выгравировать ли на браслете месяц и число их встречи?» Но ювелир сказал, что этого скорее, чем в неделю, нельзя сделать. «Нет, долго», — подумал он и купил обыкновенное бриллиантовое кольцо; истратил двенадцать золотых, чтобы наказать себя за хитрость. «Значит, она на своей жертве сделала выгодное дело». Роксолана была довольна и собой, и им. В этот день — в самый необычный час — был «любовный угар». Затем он повел ее в ресторан и заказал для нее ее любимые блюда и вина. Сладких блюд на этот раз она съела три; думала, что скоро придется платить самой.

Были разговоры о том, что они непременно когда-нибудь встретятся опять.

— Я, может быть, через год-два приеду в Париж по делам, — говорил он.

— Значит, м о ж н о получить паспорт? — спросила она обиженно.

— Я буду хлопотать.

— А как ты меня там найдешь?

— Ты мне напиши твой адрес в Киев bureau restant. У нас это называется «до востребования».

— «До востребования», — повторила она и попросила, чтобы он ей записал эти два слова. Своего адреса он ей не дал, но она не обиделась. Ни инглез, ни другие ей никогда своих адресов не давали и все просили писать bureau restant.

Они, впрочем, пожили еще некоторое время во Флоренции. Роксолана, после легкого колебания, заказала себе несколько платьев. Разумеется, гораздо приятнее было бы заказать их в Париже, но здесь, она знала, и после раздела денег, заплатит русский старик. «Да и кто их знает, может,

если революция, то и портнихи не шьют?.. Нет, верно портнихи шьют и в революцию». Лейден и сам ее упрашивал не торопиться: расставаться с ней навсегда оказалось не так легко, как он прежде думал, — слова «навсегда» и «никогда» были во всем для него самыми страшными из слов.

В последний день он особенно старался ее баловать. По своей привычке думать литературно, очень усилившейся в Италии, в иногда с ним случавшиеся минуты самообольщенья, даже говорил себе, что он, как сторож в камере заключенных, играет в карты с человеком, которого завтра казнят. Но тут же себе отвечал, что никакая казнь Роксолану, слава Богу, не ждет. «Может быть, она и рада, что расстается со мной. И права, что рада, я верно скоро совсем сойду с ума на загробной жизни», — думал Константин Платонович. От того, что он так много времени уделял мыслям о вещах потусторонних, Лейден, как иногда и прежде, испытывал что-то вроде гордости, точно это ему давало некоторый патент на духовное благородство.

На следующее утро он проводил Роксолану на почтовую станцию. Достал для нее самое лучшее место. Хотя еды, особенно сластей, она взяла с собой много, в последнюю минуту он купил ей еще винограда, который она особенно любила (говорила, впрочем, что константинопольский гораздо лучше итальянского). Роксолана плакала. Он смотрел на нее, стараясь навсегда запомнить ее лицо. Затем долго махал платком вслед карете. Затем вспомнил, что так же было в Киеве при прощании с женой.

«Ну, вот, и кончено, совсем кончено!» — думал он, одновременно с грустью и с облегчением. Понимал, что никогда больше Роксоланы не увидит. «Был вроде Би-Шара, а теперь опять Ба-Шар!» Чувствовал себя как те временные генералы в иностранных армиях, которые после окончания войны становятся снова полковниками; хотя ничего постыдного в этом нет, всё же несколько неловко: был генералом и больше не генерал. Он зашел в ресторан около Палаццо Веккио, где так

часто обедал с Роксоланой. Лакей, давно оценивший его щедрость, почтительно справился, уж не больна ли синьора. — «Она уехала», — кратко ответил Лейден. На лице лакея выразилось не то сожаление, не то сочувствие. «Да, разжалован... Был ли я хоть счастлив в эти дни? Пожалуй, несколько дней. Да когда же я вообще был счастлив? В детстве? В ранней юности? Эти годы принято считать счастливыми, но это самообман: ясно помню, что я и тогда себя счастливым не чувствовал. Таким верно уродился. Было, конечно, больше физической бодрости, энергии, задора, только и всего. А счастье это другое. Не знал его, не знал. Что же это такое, если оно даже не сувенир?.. Сувенир тут не подходящее слово... Кажется, я стал в последнее время несколько путать слова. В почтовой конторе я думал, как неестественно звучит по-русски слово «почтальон»... Теперь уже и намека больше не будет ни на какое «счастье». Ненадолго же я помолодел от константинопольского чуда. Этакий Фауст, с кошельком вместо Мефистофеля... Я когда-то думал, что у Гете старый Фауст гораздо интереснее молодого»...

Вечером в кофейной он еще представлял себе, как Роксолана, одна, в неудобной, неуютной карете, едет в новую страну, где у нее никого нет. «Должно быть, жутко ей. Вспоминает обо мне? Может и плачет втихомолку? А скорее утешается: пересчитывает мысленно деньги. Всё-таки она очень добрая женщина. И вообще надо судить людей по лучшему, что в них есть. Человечество не так уж плохо. Правда, улучшить его не мешало бы. Было бы совсем хорошо, ежелиб уменьшить число прохвостов. Они, разумеется, исключение, но слишком много исключений»...

Всё с ним случившееся, и теперь безвозвратно кончившееся, вдруг показалось ему необычайно глупым. «Особенно эти мои «угрызения совести»! Да с кем же этого не бывало! От *таких* угрызений совести пришлось бы повеситься всем мужьям! Господи, как глупо! Да пропади она в конце концов пропадом, эта Роксолана! Освежился похожденьицем, не заболел, не разорился, и слава Богу!» — всё веселее думал он. —

«Да и ей незачем пропадать пропадом, дай ей Бог всего лучшего». Он вернулся в гостиницу.

Проснулся он рано, о Роксолане больше и не вспоминал. Заставил себя думать — с нежностью — об Ольге Ивановне. «Ведь когда-то я был в нее влюблен как сумасшедший. Этот волшебный замок не взорвался: он у меня... Опять не нахожу слова... Il s'est effrité... И так, конечно, бывает почти у всех. Однако в теории мой сон был верен: всё-таки самое высокое в мире беззаветная преданная любовь, она постоянная величина, а не переменная»... Константин Платонович вспомнил, что еще не купил своим подарков. Можно было опять зайти в магазин ювелира: однако ему — после похожденьица — было бы неприятно именно там купить подарки жене и дочери. Для Лили выбрал что-то из старинной раззолоченной флорентийской кожи. А Ольге Ивановне решил купить очень дорогой подарок в Вене.

О портрете он думал теперь иронически. «Что за вздор! Почему в самом деле душа какого-то Неизвестного эпохи Возрождения вдруг могла бы переселиться в тело почтенного киевского агронома, который на старости лет вообразил себя Би-Шаром. Таких Би-Шаров, ездящих по вечерам с дамами на Труханов остров, и в Киеве пруд пруди, и из них многие любят экзотику, восточных женщин, без всякого «константинопольского чуда»... Да и сон мой еще как понимать, если даже я не всё в нем сочинил? Любовь выше всего, но какая любовь? Может, и «греховная» не меньше, чем «чистая», хотя бы они были даже отделимы одна от другой. И пора всю эту дурь выбить из головы. Билет взят, в Вене пробуду недолго и скоро буду в Киеве. Там начнется прежняя жизнь... Да вот в этом и беда, что прежняя. А то переменить? Нанять управляющего для плантаций и переехать в Петербург или в Москву? Там завести новый круг знакомых, — что-ж всё Тятенька и другие, как он. Засесть за какую-либо метафизическую работу? Издателя не найду, так напечатаю на свои средства. Денег у меня ведь достаточно! И я «владею пером», — какое ужасное выражение, да и понятие».

Газет он не читал и не знал, что в Италии творится что-то тревожное. По улицам иногда проходили манифестанты, он поспешно от них уходил и совершенно ими не интересовался. Потерял также интерес и любовь к Флоренции.

Все же через несколько дней, накануне отъезда, он опять вечером зашел в музей и долго смотрел на Неизвестного. «Какие же у него глаза? Просто холодные или холодно-издевательские?.. Страшный был человек... И жизнь в ту пору была страшна, и город этот страшный, нет камня, не политого кровью. Везде жарились люди на кострах, везде работали застенки, везде были наемные и не-наемные убийцы, а мы, туристы, интересуемся архитектурой: «Ах, Брунеллески! Ах, я так люблю Арнольфо ди Камбио!» Да они-то, все эти Брунеллески, отлично знали, что будут застенки во дворцах, которые они строили, у людей, которые им платили, и им было совершенно всё равно. В них всех сидел Неизвестный, у кого больше, у кого меньше».

Он заказал в гостинице счет и расплатился. Начаи — сколько кому оставить — всегда были для Лейдена сложным вопросом: боялся, что оставляет слишком мало. Прислуга осталась, повидимому, очень довольна, — «верно, другие оставляют вдвое меньше? Ну, Бог с ними, они бедняки». В ресторане Константин Платонович с интересом изучал карту, колебался между Raviolini alla Bolognese и Raviolini alla Parmigiana, хотя и не знал, в чем между ними разница, затем долго выбирал вино. Решил было выпить шампанского, несмотря на то, что не очень любил это вино и обычно не оживлялся от него, а тяжелел. Но шампанское стоило очень дорого, он заказал Sorrento rosso frizzante, затем передумал, вернул лакея и велел принести Frascati bianco amabile. «Попробую, напоследок, какое еще такое amabile? Никогда не пил, в России не достанешь», — про себя бормотал он. За соседним столом пили каприйское вино Tiberio люди, показавшиеся ему подозрительными. «Самые Тибериевы морды!» — в несвойственной ему вульгарной форме подумал Константин Платонович. Он засиделся за обедом, так как деваться ему было некуда,

и выпив полторы бутылки вина, что-то говорил вслух сам с собой. Лакей на него поглядывал.

Домой Лейден отправился через старый город. Эти темные кривые улицы были очень неуютны. В глубине каменных провалов нижних этажей горели огоньки. Роксолана думала, что здесь живут разбойники. «Вот какой-нибудь выскочит и пырнет ножом!» — говорила она, ускоряла шаги и брала его за руку. — «Ну, вот, какие там разбойники! Самые обыкновенные портные или сапожники», — беззаботно отвечал он. Однако, в этот вечер ему вдруг стало жутко. Сердце у него забилось. Он подошел к одному провалу, издали показавшемуся ему пустым. «Верно, отлучился хозяин, а фонарик оставил? Как-то они живут?» Лейден заглянул вглубь длинной узкой комнаты. В самом конце ее что-то вдруг зашевелилось: очень узкое, очень высокое. «Что такое?!» Узкая высокая фигура взмахнула в воздухе чем-то длинным и быстро пошла вперед. У входа человек с цепью на шее повалился на землю, срезанный косою. Лейден вскрикнул и побежал по улице. Слышал за собой крики и хохот.

Дома он поспешно поднялся по лестнице, вошел в свою комнату, выпил ликера и скоро успокоился. «Какой вздор! Нервы расшатались, это правда. Верно, я просто не выношу одиночества?» Эта мысль показалась ему обидной: еще лет десять тому назад путешествовал один, никогда одиночества не чувствуя и не скучая. «Слава Богу, что уезжаю. В Киеве и здоровье поправится». Ему еще пришло в голову: вчера где-то в окрестностях, ему говорил лакей, кого-то ограбили и убили, — что, если в этом обвинят его? Как он мог бы доказать, что он тут не при чем? «Он говорил, что убили ночью. Я был в гостинице, но кто же меня видел? Видел ли хозяин, что я вернулся? Кажется, видел, на него я и сослался бы», — подумал он — и опомнился. «Совсем спятил!..». Константин Платонович мылся дольше обычного, облился водой, лег и тотчас заснул.

Утром лакей с кофе принес ему письмо.

— Пришло вчера в отсутствие синьора. Франкированное,

хозяин расписался, но мы франкированных писем в стойке не оставляем, — сказал он и вышел.

Лейден узнал почерк Тятеньки и почему-то сразу помертвел. Пальцы у него дрожали, пока он распечатывал конверт. «Из Петербурга!..» Обращение было необыкновенно нежное, совершенно у них необычное. «Милый, горячо любимый, бесценный друг», — писал Тятенька, — «я знаю, какой страшный удар наношу тебе»...

VII

The most painful of all operations, as a rule still to be endured without anaesthesia — Death[2].
Axel Munte.

Слугам в ту пору нигде отпусков не полагалось. Но Ольга Ивановна, по своей доброте, воспользовалась тем, что мужа и дочери не было, и отпустила «людей» на отдых. Остались только Ульяна и старик дворник Никифор, которому уйти было некуда: он был из далекой великорусской деревни. Друзьям было объявлено, что обеды временно прекращаются. Хотя Ольга Ивановна была рада отдохнуть от своего хлебосольства, ей стало и грустно после того, как совершенно опустел дом. Прежде у них с четырех часов дня уже всегда бывали гости, а обычно к Лиле приходила молодежь еще раньше. Ольга Ивановна, чтобы не стеснять дочь, к ней не заходила; все-же было приятно, что из вертикального крыла дома доносились веселые голоса и смех.

— Теперь ты готовь, что хочешь. И вина к столу не подавай, — сказала она Ульяне. Была неприхотлива в еде и всему предпочитала рубленые котлеты, которые собственно блюдом не считались: их подавали как добавление к настоящим блюдам. Ульяна и стала готовить котлеты в огромном

---

[2] «Самая болезненная из всех операций, операция, которую обычно приходится выносить без анестезии, — Смерть».

количестве, сразу дня на два, а то и на три. Таким образом и у нее был отдых.

Иногда Ольга Ивановна сажала ее с собой за стол в столовой: так она скучала, надо же хоть с кем-нибудь обменяться словом. Ульяна была известна глупостью на все Липки, но глупа она была степенно, успокоительно и приятно. Была твердо убеждена в том, что кто в жару не даст прохожему напиться, будет в аду жариться около колодца, и что подравшиеся братья станут на том свете собаками. Всё же с ней можно было поговорить о Константине Платоновиче и о Лиле. Она подтверждала слова барыни и развивала свои мысли: да, скучно без барина, зачем только люди уезжают, да еще в какую-то заграницу, нигде так не хорошо, как дома, лишь бы были деньги и, главное, здоровье, а вот на беду принесло эту холеру, прошлый год много людей померло, да и теперь в больнице стали опять помирать, а бояться нечего, и с холерой можно выжить, и от других хороб разве не помирают? Ульяна не была украинкой, но употребляла южные слова и вместо «болезнь» всегда говорила «хороба». Это слово резало слух Ольге Ивановне, точно было ругательным.

— Ну, хорошо, — говорила она, съев свои две котлеты. Ульяна съедала шесть или семь. — Вот тебе ключи, свари мне кофею. Завари две столовых ложки на кофейник. Мне одну чашку с тремя кусками сахару, а себе возьми остальное. А если будешь пить чай, то завари кофею только одну ложку.

Всё это должно было быть давно известно Ульяне, но не мешало всякий раз ей напоминать. Кофе Ульяна приносила в кабинет, где Ольга Ивановна теперь проводила большую часть дня: в этой комнате чувствовала себя как бы ближе к мужу, сидела в его кресле. Конституция письменного стола в общем соблюдалась и в отсутствие Лейдена, но уборку кабинета Ольга Ивановна теперь себе разрешила. Хотя ей было грустно, она ухитрялась извлекать некоторое удовольствие из всего, — из того, что кабинет мужа станет чище, что можно будет сшить дочери еще и то платье с воланами и розовым поясом, о котором Лили мечтала и которое стоило очень дорого. За

кофе (тоже доставлявшим тихое, привычное, законное удовольствие) она всё думала, что́ теперь делала дочь. «То-то будет рассказывать, когда вернется!» Пробовала себе представить и времяпрепровождение Константина Платоновича, но это было труднее: Ольга Ивановна имела очень смутное понятие о Флоренции; должно быть, город весь в ярких цветах а дома светло-розового мрамора. «Верно не выходит Костя из библиотек. Ох, эти его книги»...

Ее приглашали к себе друзья и даже упрашивали приходить: «Милочка, ведь вам теперь скучно, ваши изверги вас бросили». Она весело подтверждала: бросили! — ей было забавно, что мужа и дочь шутливо называют извергами, — однако в гости ездила редко: как так поедет без мужа? Она всегда молчаливо признавала, что собственно никакой Ольги Ивановны нет, а есть придаток к Константину Платоновичу, и не огорчалась. Если же у нее возникало чувство обиды, то сама себе отвечала, что создала мужу и дочери хорошую, приятную, уютную жизнь и этим свое дело в жизни сделала. Большую часть дня она читала русские исторические романы: Загоскина, Лажечникова. Ольге Ивановне было, конечно, скучновато, но каждый вечер, ложась спать, она радостно думала, что вот и еще на сутки приблизилась встреча с мужем и дочерью.

Накануне закрытия Контрактов Ольга Ивановна в последний раз съездила на ярмарку. Белья она в этом году купила больше, чем нужно. Теперь образовалось то, что она считала сбереженьями. Никакого бюджета у нее никогда не было. Константин Платонович оставил ей много денег, с правом тратить их, как угодно. Но сама Ольга Ивановна имела твердые представления о том, сколько у нее может уходить «на баловство». После отъезда дочери она почти ничего не тратила, да и у Лили в Петербурге, вероятно, было мало расходов, хотя мать предписала ей платить за билеты в театр, часто приносить торты и конфеты. В Контрактовом доме Ольга Ивановна купила мужу халат из дорогой восточной, расшитой

золотом материи: знала, что и он привезет ей подарок из Италии или из Вены. Была чрезвычайно довольна покупкой.

На обратном пути она издали, с Крещатика, увидела на Александровском спуске страшную фуру, увозившую холерных в больницу и велела кучеру подняться в Липки по другой улице. Вернувшись домой, повесила халат в спальной на видном месте: «Пусть Костя увидит в первую же минуту!» — думала она, вздыхая: так ей хотелось, чтоб муж приехал поскорее.

Чтобы чем-либо заняться, она решила произвести уборку всего дома, однако уборка заняла лишь четыре дня. Разобрала ноты Лили и раз даже попробовала запеть: «Нет, доктор, нет, не приходи! — Твоя наука не поможет»... Но стало совестно перед Никифором и особенно перед Ульяной, которая остановилась у двери и слушала с очень встревоженным лицом, как будто происходил скандал.

Письмо к Лиле Ольга Ивановна начала на следующий же день после ее отъезда. Писать еще было решительно не о чем. Затем халат послужил прекрасной темой, всё же и о нем нельзя было написать больше двух страниц. — «Думала было и тебе купить отрез на платье, да никто термоламовых платьев, кажется, не носит», — писала она, — «разве только на какой-нибудь маскарад? А жаль: эту материю износить нельзя. Папа верно в жизни другого халата не купит. Да ему впрочем всё равно, что термолама, что ситец!»

Через несколько дней после того, утром в кабинет вошел старик дворник. Он в парадных комнатах появлялся редко. По его лицу сразу видно было, что случилось что-то нехорошее. Оказалось, больна животом Ульяна. Ольга Ивановна изменилась в лице.

В своей комнате рядом с кухней Ульяна корчилась от боли. Она взглянула на барыню с выражением дикого ужаса в глазах. И после первого же вопроса созналась: третьего дня зашла в больницу навестить кума. Ольга Ивановна похолодела. Дом, в котором появлялся холерный больной, считался обреченным.

Да как же?.. Как же ты, дура ты этакая!.. — хриплым голосом спросила она и закашлялась. Велела Никифору побежать за доктором. Через час сомнений не оставалось: холера. Врач, тщательно моя руки, посоветовал перевезти Ульяну в больницу.

— Да ведь это верная смерть! — сказала Ольга Ивановна. Доктор пожал плечами. Выражение его лица показывало: всё равно верная смерть.

— Что же вы можете сделать? Лекарства я оставляю... Надеюсь, вы сырой воды не пили?

Всем было известно, что надо пить только отварную воду, да и то лучше с вином. Прежде это правило соблюдалось у Лейденов, как и у всех киевлян. Ульяну уже спрашивать было невозможно, но Никифор растерянно ответил, что воду она налила в графин из бочки. Очевидно думала, что с тех пор, как обед состоит из котлет, все прежние правила отменяются. Доктор развел руками. Видимо он сам хотел возможно скорее уйти из этого дома, однако исполнял врачебный долг.

— Уходите отсюда поскорее! И лучше всего сейчас же. Если хотите, я сообщу, чтобы прислали больничную повозку. Да верно раньше, чем завтра, не пришлют. Эпидемия усилилась. А до завтра... У нее так называемая молниеносная.

— Нет, не надо повозки, — твердо ответила Ольга Ивановна. Так же твердо она расспросила доктора о том, каковы первые симптомы болезни и что́ надо делать. Когда он ушел, отпустила и дворника, дав ему денег.

— Иди куда хочешь. Что-ж и тебе помирать? — сказала она.

Лицо у нее было серое, и глаза такие, что их старик навсегда запомнил. Ольга Ивановна теперь не сомневалась, что погибла. Считала это Божьей карой, но не понимала за что. Злословила, сплетничала? Знала, что этим грешила не много, гораздо меньше, чем другие. Старалась вспомнить еще грехи. Были, были, однако всё же не очень большие, — за это ли столь ужасная кара! Ей было известно, что при холере

агония страшная, — страшная в особенности тем, что она так грязна. «Что-ж делать, Божья воля!» — сказала она себе.

— А вы-то, барыня, как же? — спросил Никифор, со страхом на нее глядя.

— Куда я пойду заражать людей! И надо кому-нибудь остаться при Ульяне. Не умирать же ей как собаке! Она в доме двадцать лет. Я сейчас дам ей лекарства.

Дворник собрал пожитки и ушел. Понимал, что это нехорошо, но умирать не хотел, и барыня строго приказывала уйти. Перед уходом видел, что она, вернувшись от Ульяны, прошла в кабинет, села за стол и стала что-то писать. Действительно на столе потом были найдены два письма, пахнувшие уксусом. Была также записка и властям, чтобы письма были страховым пакетом отправлены в ту петербургскую гостиницу, где должен был остановиться Тятенька.

«Jetzt wird gestorben», — тоскливо вспомнила его анекдот Ольга Ивановна.

Она заболела через несколько часов. Под вечер Никифор почувствовал укоры совести и вернулся. Барыня лежала в спальной; кровать пододвинула к окну, выходившему в сад. Несмотря на холодную погоду, окно было отворено. Ольга Ивановна обрадовалась старику, но не велела ему входить в комнату.

— Письма, — прохрипела она. — В кабинете на столе письма. Как умру, вели всё в доме окурить... И уходи! Постой... Халат вынеси, тот, новый. Чтобы окурили...

Дворник испуганно предложил опять побежать за доктором. Она ответила, что уже знает, как лечиться. Он спросил, не позвать ли батюшку. Священники всегда приходили по вызову холерных больных — и умирали. Барыня долго не отвечала. Потом сказала, чтобы не звал:

— Нет... Не надо губить батюшку... Бог меня простит... Уходи... Ты барину скажи, когда приедет...

Больше она ничего выговорить не могла.

Через два часа дворник, вошедший в дом с доктором, нашел ее мертвой. Она лежала не в спальной, а на полу в корридоре: очевидно, шла проведать Ульяну. Та стонала на весь дом. Ночью умерла и Ульяна.

На подоконнике спальной был найден медальон с миниатюрными портретами Константина Платоновича и Лили.

VIII.

A te convien tenere altro viaggio.

Dante.

Петербург поразил Виера своим великолепием. Тятенька настойчиво предлагал остановиться в хорошей гостинице: говорил, что возьмет номер из двух комнат и одну из них сдаст дешево Виеру. — «Нам обоим, пане Яне, это будет превыгодно». Но Виер понимал, что Тятенька просто собирается за него приплачивать. Он отказался, простился со своими спутниками и после недолгих поисков снял в номерах на Невском комнату с самоваром за семьдесят пять копеек в день.

В первый вечер он гулял по городу. Особенно великолепна была Морская, с торцовой мостовой, с несшимися в три ряда каретами, с уходящими вдаль рядами газовых фонарей. Эта улица могла выдержать сравнение с парижскими бульварами. Величественны были набережные, Невский, площадь Зимнего дворца. «Да есть что-то б а р с к о е в этом городе, чего нет и в Париже», — думал он с не совсем приятным чувством.

В Отеле Ламбер вяло поддерживался взгляд, что борьбу надо вести не с русским народом, а только с его правительством. Но у большинства поляков, почти независимо от их воли, ненависть к царю и к его министрам переходила в ненависть к русским вообще. Во время его путешествия это чувство у Виера ослабело. На юге он еще себе говорил, что украинцы такая же угнетенная нация, как поляки. О великороссах этого сказать не мог: с одной стороны, они, особенно

простой народ, были тоже угнетаемые; с другой же стороны, их как будто надо было считать и угнетателями. Между тем, как люди, они были не менее привлекательны, чем украинцы и чем поляки. У него были рекомендательные письма, он тотчас сделал несколько визитов, его стали забрасывать приглашениями. Некоторые русские просили его приходить к обеду, запросто, каждый день. Так было бы и в Польше. Но в других странах этого не было, там понятия о гостеприимстве были другие. Приглашеньями к обеду он почти не пользовался. Живя на средства князя Чарторыйского, берег каждый грош, не мог приглашать и угощать знакомых, поэтому не хотел обедать и у них. Однако в Петербурге, как и в Киеве, никто не считался с тем, может ли он звать к себе или нет. Так тоже было бы в Польше, и ни в какой другой из знакомых ему стран этого не было бы.

Для доклада князю Адаму следовало узнать настроение петербургского общества. Виер бывал преимущественно в среднем кругу, видел немало образованных людей, старался заводить политический разговор. Делал это вначале осторожно и незаметно, при чем сам чувствовал себя неловко: «Точно я шпион! Да собственно нечто шпионское и в самом деле есть в моих обязанностях»... Люди говорили откровенно, повидимому, никто шпионов не боялся, ни своих, ни еще гораздо менее чужих. Правительство ругали почти все, о министрах и сановниках рассказывали анекдоты, но ни о какой революции как будто никто не думал. По крайней мере, люди удивленно поднимали брови, когда он прямо спрашивал, возможно ли вооруженное восстание (после нескольких разговоров осторожность его ослабела). Ему скоро стало ясно, что разговор беспредметный. «Какая там революция! Мой доклад будет пустым местом и очень их разочарует. Может быть, и рассердит. Что-ж делать, я обязан говорить правду».

Подтверждали его вывод и бытовые наблюдения. Он видел парад на Марсовом поле. Нигде в мире таких войск не было. Императорский строй производил впечатление несокрушимой силы. Многочисленная армия, очевидно, была ему

верна или во всяком случае находилась в полном подчинении у правительства. О том, чтобы бороться с этой силой без помощи иностранных держав, очевидно не могло быть речи. «Если не удалось дело в 1830 году, когда у нас были свои войска, то теперь нет ни одного шанса успеха на сто. Помощь Франции? Но Людовик-Филипп о ней слышать не хочет и едва ли уступит общественному мнению, хотя бы даже общественное мнение вправду требовало войны. А э т и будут воевать за кого и с кем прикажут: офицеры за общее бесправие, солдаты за шпицрутены своего начальства! Им, разумеется, начальство объявит, что они воюют за родину и за веру. И воевать они будут хорошо, потому что они воинственный, храбрый народ и почти всегда хорошо воевали».

У него было из киевского кружка рекомендательное письмо к одному из членов общества Петрашевского. На второй же день он получил приглашение пожаловать на собрание. Сам Петрашевский ему не понравился. Говорил он недурно, но необычайно самоуверенно, мысли высказывал крайне противоречивые. Когда Виер отметил какое-то противоречие в его словах, он рассмеялся и произнес ту самую фразу, которую ему приписывал киевский студент.

— Я могу по каждому вопросу изложить двадцать точек зрения.

Другие участники собрания были, напротив, в большинстве очень милые и приятные люди. «Эти постарше, посерьезнее и пообразованнее киевских юношей, но они литераторы, профессора, дилетанты, а никак не государственные люди и даже не политические деятели, хоть студент и говорил, что они после революции образуют правительство. Конечно, еслиб царский строй был разгромлен, то с ними можно будет и должно будет договариваться. Это будет много легче, чем с царскими министрами. У тех ведь есть «традиции», как у наших Чарторыйских и Замойских в Отеле Ламбер. А эти без традиций, и слава Богу. Им, конечно, будет не очень приятно разделить на части то, что они считают «своей» страной. Но они поломаются и разделят: взвалят всё на царское правитель-

ство, будут говорить о высоких принципах, о которых они до сих пор предпочитают молчать, да и поймут, что их, после разгрома России, никто особенно спрашивать не будет. А позднее можно с ними жить в добрососедских отношениях, если в самом деле их после такого конфуза оставят у власти и если их еще до того не выгонят в шею их собственные мужики, для которых Петрашевский такой же барин и враг, как Алексей Орлов. Но рассчитывать на них для свержения царя было бы просто наивно. Царей свергнет либо чудо, либо война, — не с Турцией, конечно, а с могущественными державами. И поэтому, как это ни тяжело людям гуманного миропонимания, мы должны все наши расчеты делать на войну».

Он остался ужинать. Петрашевский оказался любезным и гостеприимным хозяином. За вином продолжался разговор о литературе, о поэзии, о французских делах. Его удивило, как хорошо эти люди знали все, что делалось в Париже. Многие говорили умно и интересно. Они разбирались, повидимому, и в немецкой философии, которой Виер не знал, называли имена, почти ему не известные и по наслышке. «Пожалуй, пообразованнее меня», — с легкой завистью думал он. — «Да, очень приятные люди. Ненавидеть их я никак не могу. Только пользы от них нам немного, так как за ними никакой силы нет. А о том, будто они хотят заколоть на маскараде царя, тот юноша верно просто присочинил. Не такие люди закалывают царей. Какие уж у них Палены!»

К концу ужина заговорили о Фурье. Петрашевский очень ясно и гладко изложил теорию французского социолога. Мир будет существовать восемьдесят тысяч лет. Теперь кончается 6000-летняя фаза несчастья, скоро начнется фаза счастья или социального единства. Помимо того, что средний возраст человека поднимется до 144 лет и его рост до семи футов, человечество станет необычайно одаренным. На три миллиарда населения будет тридцать семь миллионов поэтов, равных Гомеру, и тридцать семь миллионов ученых, равных Ньютону... Эта фаза будет длиться без малого семьдесят тысяч лет...

— Не выходит счет. Четырех тысяч лет не хватает, — весело перебил его какой-то много выпивший молодой человек. Петрашевский холодно взглянул на него. Видимо, его в этом обществе перебивали не часто.

— С сожалением должен сообщить вам, что после фазы счастья, по учению Фурье, начнется фаза... Как это перевести? Une phase d'incohérence, фаза бессвязности или бессмыслия, — невозмутимо сказал он, обращаясь не к молодому человеку. По его тону вообще нельзя было понять, говорит ли он серьезно или издевается. «Какой-то странный pince sans rire!» — раздраженно подумал Виер.

— Жаль, но мы, вероятно, до нее не доживем. Выпьем в память Фурье, друзья мои!

— И чтобы вас утешить, добавлю, что в пору фазы счастья вся вода океанов превратится в лимонад.

— Хорошо утешение! Какой ужас! Отчего же не в ваш превосходный шамбертэн, Михаил Васильевич?

«Над кем же они смеются? Над собой?» — думал, возвращаясь пешком домой, Виер. — «Не могу отрицать, прекрасные люди. Только в славянских странах еще такие и существуют. Нет, нет, я навсегда отказываюсь от ненависти к русским, это было недостойное чувство!» — сказал он себе и тотчас подумал о Лиле. «Собственно в дороге ничего не произошло... Лучше было бы, конечно, тогда на станции не входить в ее комнату. Но я и в Киеве видел ее раз в пеньюаре, хотя и не в этом... Этот белый с кружевами ей особенно к лицу, она в нем была прелестна... Ведь она сама попросила меня принести ей книгу. Да, был ее чудесный взгляд... Может быть, и я взглянул на нее не так, как следовало, я ведь не камень. Зачем скрывать от себя: она в меня влюблена. И мне тоже она очень нравится»... — Он сам себе ответил, что «тоже» тут неуместно: одно дело «влюблена» и другое «очень нравится». — «Когда мы расстались, у нее задрожал голос. Она сказала: «До скорого свиданья, мосье Ян». Я, кажется, пробормотал, что в первые дни в Петербурге буду крайне занят».

Он по прежнему думал, что настоящие революционеры обычно не очень влюбчивы: у них всё уходит в революционную страсть. Это обобщение теперь уже казалось ему бесспорным. Тем не менее, со смешанными чувствами, замечал, что возвращается мыслями к Лиле в последние дни, и особенно в последние ночи, всё чаще. «Да ведь это и практически невозможно... Поляки не лучше русских, но и русские не лучше поляков: еслиб даже не было формальных препятствий, Лейдены отнеслись бы к моему браку с Лилей точно так же, как родители Зоси, или даже еще хуже. Для них я тоже голыш, и вдобавок католик. Я никогда не принял бы православия, а Лейдены не согласятся на то, чтобы Лиля стала католичкой. Константину Платоновичу, положим, по существу всё равно: он ни в Бога, ни в чорта не верит... В чорта, впрочем, быть может, немного и верит. Но для Ольги Ивановны это было бы страшным ударом. Как для моей матери, еслиб она была жива... И притом, это можно было бы сделать, вероятно, только заграницей. Разве они могут на это пойти?» — Он сам удивился тому, что серьезно думает об этом. — «И еще — как бы мы стали жить? Я еле могу прокормить себя одного, быть может придется и голодать в самом настоящем смысле слова. Что же, получать от них деньги, брать «приданое»! Никогда в жизни!» — краснея, думал Виер. — «Бедная девочка скоро утешится. Лучше было бы совсем к ним не заходить, но это будет крайне грубо. Раза два зайду. Всё равно скоро уеду». Ему, однако, приходило в голову и то, что он несчастный резонер. «Меня Бальзак не мог бы изобразить: так я рассудителен. Всё рассуждения и рассуждения! И влюбиться по настоящему не могу! П о ч т и был влюблен в Зосю, п о ч т и влюбился в Лилю, всё в моей жизни «почти». Кроме, конечно, жизни идейной», — утешал себя Виер. — «Нет, мне суждена иная дорога».

В первый свой одинокий петербургский вечер он было решил, что зайдет к Лиле на третий день. Потом передумал: слишком рано, это как будто свидетельствовало бы о близости. Зашел только через четыре дня. Лили не было дома. Он был

огорчен (а позднее, как обычно исследуя свои чувства, обрадовался, что очень огорчился).

Тятенька, повидимому уже ставший здесь своим человеком и проводивший в доме целые дни, встретил его радостно. Хозяйка, очень полная благодушная вдова, приняла Виера чрезвычайно любезно.

— Я столько о вас слышала от Лили, — с улыбкой сказала она. — И от Тятеньки. Как видите, я его уже называю Тятенькой. Девочки будут так огорчены, как на зло они только что ушли к подруге. Мы вас ждали раньше... Вот что, приходите завтра обедать. И очень, очень вас прошу приходить к обеду каждый день. Мы обедаем в четыре.

Ему не слишком понравилась улыбка хозяйки дома и ее слова: «мы вас ждали раньше», но отказаться было бы невежливо. Он принял приглашение.

— Красивый молодой человек, — сказала Тятеньке хозяйка, когда Виер ушел. — Но уж очень церемонный, такой пшепрашам пани.

— Завтра принесет вам, Дарья Петровна, цветы. И еще хорошо, естьли один букет. А то принесет три, хотя по части пенензов у него дело швах. И даже зер швах. И даже зер, зер швах.

— Ах, как это неприятно! Зачем нам его цветы?.. А ведь Лиля в него влюблена, правда? Краснеет и бледнеет, милочка, когда о нем говорят, и делает вид, будто равнодушна. Ах, эти девочки, сколько с ними забот! Просто иногда жалко их, хотя и зависть берет. Только моя Ниночка другая, она гордая, неприступная. У нее такой успех, сколько за ней молодых людей ухаживает, просто пропадают от любви, а она мне говорит: «Пусть ухаживают, я посмотрю». Она мне всё рассказывает... Вы не думайте, что я говорю как мать, я говорю совершенно беспристрастно. Сколько я у ней девочек вижу, но моя Ниночка совсем особенная, с самых ранних лет... Да ведь этот мосье Ян католик?

— То-то и есть, что католик, и вдобавок ни кола, ни

двора. Мне один немец говорил: «Kein Geld ist kein Geld. Aber g a r kein Geld!»[3]

— Тогда, Тятенька, мое положение деликатное. Еще Оля на меня рассердится, что я его зову?

— Ничего не деликатное: в Киеве он у них жил. И вовсе Лилька в него не влюблена, — обиженно возразил Тятенька. — И у гонорового пана холодная душа.

— Почему вы знаете?

— Милая, я вижу людей насквозь. Как Шекспир! Кроме того, ведь он скоро уезжает заграницу... Я тоже завтра могу прийти к обеду?

— Тятенька, как вам не стыдно! И к обеду, и к завтраку, и к ужину, притом, разумеется, каждый день. Мы знакомы всего четыре дня, а обе с Ниночкой уже вас обожаем.

— Быдто?

— «Клянусь я первым днем творенья!»... Так всегда отвечает Ниночка, она всех поэтов читала, и русских, и французских, всех. Только немцев не жалует, фрейлен Шютц постоянно на нее жаловалась, да я ничего не могла добиться. Она такая независимая, что просто ужас!.. Но как вы это делаете?

— Что делаю, родимая?

— То, что вас все сразу так любят.

— У меня большая персональная шарма, — объяснил Тятенька, очень довольный.

IX

Счастье раз в жизни дается, а потом ведь всё горе, всё горе.

Достоевский

На следующий день в Петербурге стало известно, что в Париже произошла революция.

Виер узнал о ней вечером, в кружке Петрашевского. Там все были в восторге. Но никто не испытывал такой необыкно-

---

[3] «Нет денег, так нет денег. Но если с о в с е м нет денег!»

венной, захватывающей радости, как он. Теперь то, о чем он мечтал, сбылось. Приобретали новое значение жизнь в мире и его собственная жизнь.

Петрашевский велел подать шампанского. Произносились восторженные речи. Просили говорить и польского гостя. Он что-то сказал, однако кратко и суховато. Чувствовал, что теперь ему с русскими долго будет не по пути. Виер не сомневался, что революционная Франция тотчас объявит России войну. В Париже в свое время говорили, что в случае войны французский или франко-английский флот войдет в Балтийское море, разгромит Кронштадт, затем высадит войска. «Очень может быть, что скоро Петербург будет взят или разрушен!»... Об этом с русскими, даже с революционерами, говорить было неудобно. Он рано вернулся в свой номер и не мог заснуть всю ночь.

Опять, как несколько лет тому назад, ему пришло в голову, что в этой войне за свободу поляков и всего мира он может стать национальным и революционным героем, как Косцюшко. В нем даже всплыли отроческие мечты о военной славе. Еще накануне он предполагал пробыть недели две в Петербурге, написать и отправить доклад в Отель Ламбер, — способы сношения ему были указаны. Теперь ему стало ясно, что он тотчас должен уехать в Штетин, оттуда в Париж. «Верно, сегодня же или завтра придут инструкции».

Он встал рано. Номерной принес ему самовар, Виер даже удивился: неужели сегодня пить чай, завтракать, обедать? Но до девяти утра всё равно в городе было нечего делать. Он отправился покупать билет. Оказалось, что судно в Штетин уходит через четыре дня. Рядом с ним заказывали билеты два иностранца, говорившие по-английски. Оба были очень хорошо одеты. «Не дипломаты ли?» — подумал он и прислушался к их разговору. Один из иностранцев сказал, что император Николай получил известие о революции на балу: он тотчас вышел в большой зал и, подняв руку, прокричал: «Господа офицеры! Во Франции революция! Седлайте коней!» Офицеры покрыли сообщение царя криками «Ура!» — «По-

смотрим, кто будет кричать «Ура!» последний!» — подумал Виер. Его волнение еще усилилось.

Он побывал на почте и справился, есть ли для него письма до востребования. Ничего не было; ответили, что верно почта будет к вечеру. Виер погулял по городу и снова почувствовал, что в его чувствах к России в с ё - т а к и произошла некоторая перемена. Теперь ему не доставило бы никакого удовольствия, еслиб Петербург был разрушен. «Зимний Дворец, да, конечно. Но было бы очень жаль, еслибы погиб Эрмитаж с его сокровищами искусства. Да и не только Эрмитаж. Этот их новый Исаакиевский собор тоже сокровище архитектуры». Он опять подумал о Лиле. «Разумеется, вздор! И не влюблен я, и у нее через месяц после моего отъезда пройдет. Да и какая теперь женитьба!»

Виер зашел в магазин цветов. Действительно, сначала хотел было купить три букета, но затем решил, что это не очень удобно. «С ее подругой я и вообще не знаком». Кроме того, зимние цены на цветы были таковы, что от трех букетов следовало отказаться без колебания. Занес в память стоимость букета. В своей записной книжке он вел двойную бухгалтерию: расходы на жизнь относил на счет Отеля Ламбер; цветы же, конечно, должен был оплатить из своих собственных средств.

У Лили радость от первых дней пребывания в столице была отравлена тем, что мосье Ян не приходил. «Он, правда, сказал, что будет очень занят», — думала она и всё себя спрашивала, какие именно занятия у него могут быть. Во второй день его еще п о ч т и не ждала, на третий ждала до позднего вечера: в Петербурге люди иногда приходили в гости и в одиннадцать. Ночью в кровати плакала: всё-таки он мог бы зайти. Подумала даже, не написать ли ему, как это ни стыдно. Но адреса его она не знала. Не знал и Тятенька. Ей приходили в голову самые неожиданные, невозможные планы.

Когда Дарья Петровна сообщила, что был мосье Виер, что, кажется, он очень милый и что он завтра придет обедать,

Лиля изменилась в лице неприлично. Дочь Дарьи Петровны отвела глаза. Она знала о романе своей подруги, говорила с ней о нем. Нина, бойкая, задорная, умная барышня, распоряжавшаяся в доме всем, что ее интересовало (остальное охотно предоставляла матери), очень любила Лилю, хотя относилась к ней чуть покровительственно, как к провинциалке. В другое время Лиля обиделась бы, теперь ей было не до того. — «Но как ты думаешь, Ниночка, ты такая опытная, что ты об этом думаешь?» — с волнением спрашивала она подругу. — «Что же я могу думать, Лиленька, когда я его в глаза не видела? Он настоящий?» — «Как «настоящий»? Что ты хочешь сказать?» — «Да, это трудно объяснить. Я называю настоящими тех, кто может сразу влюбиться без памяти, ну так, чтобы с ума сойти, чтоб делать всякие глупости! Он такой?» «Я не знаю», — робко отвечала Лиля, — «конечно, он настоящий. Говорю тебе, он адгерент Бланки»... — «Лиленька, я по гречески не понимаю! Какой там Бланки и что тебе до Бланки? Совсем не в этом дело... Но разве папа и мама тебя за него отдадут? А убежать, отдаться ты не решишься». — «Может быть, и решусь! Но он на это не пойдет». — «Тогда он не настоящий... Нет, не огорчайся, я так говорю, ведь я его не знаю. Может быть, у вас всё выйдет хорошо. Дай Бог!»

На следующее утро Лиля одевалась долго и особенно тщательно. Всё думала, что́ сказать мосье Яну и как себя вести. «Если он придет в четыре, то уйдет в шесть и верно опять на несколько дней!»... Она в разговоре с Ниной сделала осторожный намек, Нина тотчас поняла и объявила матери, что непременно хочет пойти сегодня в оперу.

— А что дают?

— «Гугеноты». Говорят, будет государь.

— Знаешь что, Ниночка, тогда мы возьмем ложу. Ведь надо показать нашим милым гостям такой спектакль. С Тятенькой нас будет четыре. Может быть, пригласить и мосье Виера? Или лучше позвать тетю Машу? Она нас в прошлом году приглашала.

Ну что тетя Маша? С ней очень скучно. В самом деле позовем этого мосье Виера, уж если он вам, мама, так понравился... А вот мне он, по описанию Лили, ничуть не нравится.

— И не надо, Ниночка, чтобы тебе понравился поляк и католик, — наставительно сказала Дарья Петровна. — А Лиле он очень нравится?

— Это уж вы, мама, у нее спросите. Может быть, и нравится. Да что Лиля понимает? А всё-таки в театр мы его позовем.

— Что-ж, можно и его, и тетю.

— Нет, без тети! От тети мухи мрут. И не элегантно шесть человек в ложе, там сегодня будет весь Петербург.

— Правда? Тогда возьми открытую ложу бенуара за восемнадцать рублей.

Нина всплеснула руками.

— Мама, вы живете не в провинции, а в Петербурге! В кассе на «Гугеноты» в день спектакля билетов не купишь! Это Лиле простительно не знать! Дай Бог, чтобы у барышника купить за тридцать. Дайте мне тридцать пять рублей, и я сейчас же туда съезжу... Да, да, возьму Василису, — нетерпеливо сказала Нина, недовольная тем, что ее, несмотря на всю ее самостоятельность, не пускали одну, и тем, что их горничную звали Василисой.

В одиннадцать пришел Тятенька и сообщил, что во Франции произошла революция. Дарья Петровна приняла известие равнодушно, хотя и с любопытством.

— Ну, слава Богу, что король успел бежать. А то еще и ему отрубили бы голову. Эти ваши французы такие...

— Они не мои, милая, они наши общие.

— Что правда, то правда. Платье из Парижа я могу отличить за версту. Никто в мире так не шьет, как они. Правда, Лиленька?

— Да, правда, Дарья Петровна, — ответила Лиля рассеянно. Французская революция и ее не очень интересовала,

но она смутно почувствовала, что это известие может как-то отразиться на ее судьбе.

Так оно и вышло.

Лиля знала сдержанность мосье Яна и всё же надеялась, что он проявит больше радости при встрече с ней. Разговаривал очень любезно, но ей показалось, что он взволнован. «Что-то неладное!» — подумала она. Удар последовал за супом. В ответ на вопрос хозяйки, Виер сказал, что уезжает в Штетин через четыре дня.

После этого Лиля больше почти ничего не понимала из того, что говорилось за обедом. Слышала только, что мосье Ян нерешительно отказывается от приглашения в оперу: он «не одет». Эти слова были встречены протестами.

— Будешь, пане Яне, самым пышным во всем театре, — сказал Тятенька. — Но уж естьли у тебя такая фанаберия, то заезжай после обеда к себе и надень хоть кунтуш с бриллиантовыми пуговицами, быдто што Потоцкий или Радзивилл. Время есть, — говорил Тятенька, искоса поглядывая на Лилю. Хотя ему было очень жаль ее, он был доволен, что молодой поляк уезжает.

Тотчас после обеда Виер ушел. Опять побывал на почте. Письма всё еще не было. Дома надел свой лучший костюм, затем снова вышел на улицу. Его восторженное волнение всё росло. Делать пока было нечего. В кофейне он выпил три рюмки коньяку, чего почти никогда не делал. Подумал, что теперь устраиваются и его денежные дела. «Вернусь в Париж, сделаю доклад князю Адаму и расстанусь с ним. Будет и польская армия, меня примут офицером. Теперь, конечно, Бланки уже на свободе. Я первым делом явлюсь к нему. Буду на службе у международной революции, она может и обеспечить кусок хлеба тем, кто верно ей служит»...

За обед он отплатил цветами, за театр решил отплатить конфетами. Теперь незачем было так беречь деньги.

Дамы и Тятенька уже сидели в ложе. На барьере стояла коробка конфет. Дарья Петровна мягко упрекнула Виера:

— Ну, что это! Зачем вы нас так балуете? И Тятенька тоже нам принес! На нас будут даже коситься: две коробки конфет!

— Пусть перекосят себе глаза! — проворчал Тятенька.

— Государя не будет, — разочарованно сказала Нина. — Его ложа пуста. Должно быть, он сегодня очень занят. Его все ждали. Видите, какая парадная зала.

— Красота, — подтвердил Тятенька. Он утром подкрасил волосы, а перед уходом из дому закусил, выпил и был очень весел. — Не театр, а закуток эдемьский.

Действительно, зал по своему великолепию соответствовал стилю Петербурга. В Париже дамы были столь же нарядны, но не было такого множества мундиров. Впрочем, Виер не успел рассмотреть зал как следует. Дирижер уже занимал свое место.

«Гугеноты», считавшиеся в ту пору лучшей оперой в истории музыки, везде сводили с ума молодежь. В некоторых странах эта опера была запрещена. Виер ее ни разу не слышал: он в театрах бывал редко, а в оперном почти никогда не бывал, хотя любил музыку. Певцы и певицы играли так скверно, декорации были так нелепы, что, по его мнению, уж лучше было слушать, сидя спиной к сцене.

Артисты пели на разных языках. Многие дамы прослезились при романсе «Plus blanche que la blanche hermine»... Тятеньке очень понравилась артистка, переодетая пажем и певшая по-русски. Он вполголоса баском всё ей подпевал. Нина нетерпеливо на него оглядывалась. Лиля слушала музыку плохо: мосье Ян сидел позади нее и смотрел на сцену через ее шею.

Когда занавес в первый раз опустился под рукоплесканья зала, они вышли из ложи. Нина вполголоса называла провинциалам в корридорах, в фойе разных известных людей. Показала императорскую ложу, у дверей которой стояли два вели-

кана-гвардейца. — «Что это они всё мордой воротят? И кого они стерегут, когда ложа пустая?» — недоумевал Тятенька. «Вот и этому пошлому параду скоро придет конец. Будет, будет на них управа!» — думал Виер. Он находился всё в том же восторженном настроении. Теперь себе представлял, как в этой зале, в императорской ложе, будут сидеть революционные французские и польские офицеры, а среди них и он сам.

«Сегодня решится моя судьба! Другого такого случая не будет! Я должна всё ему сказать, но где же, как? Он через четыре дня уедет! Как бы неприлично это ни было, я должна что-то сделать!» — твердила себе Лиля.

Во втором антракте опять ничего не вышло. Они еще погуляли все вместе. Нине больше нечего было показывать. Тятеньку второе действие немного расхолодило: музыка хорошая вещь, но не в таком большом количестве. Он бойко напевал: «Дамой знатной и прекрасной — Прислан я с письмом сейчас»... Но ему хотелось посидеть. Лиля была в совершенном отчаянии. «Уйти? Сказать, что разболелась голова? Он предложит отвести меня домой, но они не согласятся или меня отвезет Дарья Петровна»...

— Покойник Гете, царство ему небесное, говорил, что только Моцарт или Мейербер могли бы написать музыку на «Фауста», — сказал в ложе Тятенька, поглядывая на конфеты.

— Ах, как это верно! — поддержала Гете и Тятеньку Дарья Петровна.

— Очень верно, — подтвердила и Нина.

— Ниночка, уж быдто вы читали «Фауста»? — спросил Тятенька. Нина засмеялась.

— Прочла по-немецки целых десять страниц, больше не было силы. «Habe nun, ach! Philosophie,—Juristerei und Medicin—Und leider auch Theologie—Durchaus studiert, mit heissem Bemühn»... Какое мне дело до того, что он знает? И вовсе «Bemühn» и «Medicin» не рифмуют. Никогда не поверю, чтобы люди получали удовольствие от немецких стихов! Даже немцы.

— Нинетта, люблю за откровенность.

— Она у меня совсем особенная, — сказала Дарья Петровна. — Нина, не слушай. А музыку как она понимает! Вы не думайте, я очень беспристрастная мать, но мне ее учитель мосье Баттифолио говорил, что никогда не встречал девушки с таким слухом! Вот вы увидите, завтра будет на память знать всю оперу!..

— Мама, перестаньте!

— Нинетта, уж естьли вы такая замечательная, то дайте мне вон ту конфету, большую с орехом. Не надо щипцов, пальчиками... Спасибо.

— Смотрите, вы не засните, Тятенька. Я видела, вы и у нас спали в Вольтеровском кресле.

— Ан не видели, Ниночка. В Вольтеровских креслах может спать разве только акробат. Я их у себя отроду не держал... «И письмом тем осчастливлен, — Господа, один из вас»... Ведь это, кажется, Гейне сказал: «Католики резались с протестантами, а еврей на это написал музыку».

В конце действия Лиля отчаянным шопотом попросила Нину:

— Сделай так, чтобы никто больше не выходил из ложи! Умоляю тебя!

Нина закивала головой. Она сочувствовала Лиле, но Виер ей в самом деле не понравился, и она думала, что ничего из этого дела выйти не может. «И он в нее не влюблен, и никогда родители не позволят». В начале третьего антракта Лиля дрожащим голосом сказала, что ей хочется пить. Думала, что не надо при этом на него смотреть, и все-же посмотрела.

— А ты пойди в буфет, — сказала Нина. — Я не пойду, надоело шататься по корридорам. Пусть мосье Ян тебя проводит. Тятенька, вы нам составите компанию? Посидим тут спокойно.

— Истина говорит устами младенцев, — ответил Тятенька, не заметивший хитрости барышень. Дарья Петровна эту

хитрость заметила, но Нина незаметно толкнула ее и грозно на нее посмотрела. «Мне-то что?» — лениво подумала Дарья Петровна. — «Но жаль, что Оля с ней не приехала, было бы спокойнее. То-то она верно, бедняжка, скучает! Я без Ниночки и недели бы не выдержала». Дарья Петровна и очень хотела выдать дочь замуж за блестящего молодого человека, и с ужасом думала о том, что дочь от нее уйдет к мужу.

— Прекрасная опера, — смущенно сказал Виер, когда они заняли в буфете место за столиком. — Она кончается Варфоломеевской ночью.

— Рауль женится на Валентине, хотя он гугенот, — еле слышно ответила Лиля.

Он смотрел на нее и думал, что она прелестна. Ему вдруг пришло в голову, что после революции всё в мире и тут пойдет по иному. «Все эти бессмысленные, безнравственные преграды везде будут скоро сметены. Тогда у меня может быть и личное счастье».

— Они женятся, но умирают, — сказал он.

— Они умирают, но они любили друг друга, — прошептала Лиля.

— Может быть, они правы!

— Они наверное правы! — сказала она, став еще бледнее прежнего.

И больше ничего не было сказано. Лакей принес им лимонада. Пока Виер расплачивался, прозвенел звонок: антракт перед главным действием был короткий. Они взглянули друг на друга и встали. «Всё сказано, всё!» — замирая от счастья, подумала Лиля.

Гигант баритон, благородный граф Невер, отказался участвовать в ночной резне и с негодованием бросил на пол свою шпагу: — ...«Но спящих убивать — нет, не согласен я!». На галерке раздались рукоплесканья, быть может, и в пику правительству, хотя оно спящих и не убивало. Со сцены и из

оркестра лились грозные звуки «Благословения мечей», — которым восторгался Вагнер, несмотря на свою ненависть к Мейерберу. — Gloire, gloire au Grand Dieu vengeur! — Gloire au guerrier fidèle! — пел французский хор. — «Gloria eterna sia e onor! — Gloria al buon-guerrier fedel!» — вторила по итальянски другая часть хора, приглашенная для усиления трагической сцены. «Glaives pieux, saintes épées — qui dans un sang impur serez bientôt trempées»... «Да ведь это о нас!» — взволнованно думал Виер! — «Неужто я сказал ей! Еще днем я чувствовал другое!» — «Это о нас!» — думала и Лиля, — «Он сказал, что они правы! Теперь всё ясно! Я скажу ему, нет, я напишу ему ночью, что приму его веру. Мы бежим заграницу или умрем! Это тоже было бы счастьем! Нет, не счастьем, но это лучше, в тысячу раз лучше, чем жить без него, чем думать, что он женится на другой!».

Католики с белыми повязками ушли убивать спящих гугенотов. Рауль де Нанжи, слышавший всё из соседней комнаты, появился на пороге с обнаженной шпагой в руке. — «O ciel! Où courez-vous?» — спрашивала, задыхаясь, Валентина. — «Ove io va? A salvar gli amici!» — бешеным, обрывающимся речитативом отвечал Рауль. Начинался знаменитый дуэт. Весь театр с волнением готовился к верхнему do лучшего в мире тенора. «Stringe il pe-riglio, — E il tempo vola, — Lascia mi! Lascia mi!» — пел Рауль, действительно разрывая душу своим божественным голосом. — «Mais sans défense — on vous immole! — Gar-dez vous! Gar-dez vous!» — молила с отчаяньем красавица-певица, стараясь его удержать и спасти. Лиля жила и дышала с музыкой. Тенор грудью взял верхнее do. Театр замер от восторга. Вдруг Виер сжал Лиле руку. Она беззвучно заплакала. Раздались звуки колокола: набат Варфоломеевской ночи.

X

> The human mind is not a dignified organ, and I do not see how we can exercise it sincerely except through eclecticism[4].
>
> *E. M. Forster.*

Он опять спал плохо, засыпал, просыпался, думал о том, что произошло. «Теперь что-же говорить? Конечно, я влюблен в нее... Да еслиб и не был, разве я могу теперь отказаться? Ведь это было бы подло... Что же именно я сделал? Тайно пожал руку? Она теперь считает себя моей невестой. И в самом деле это так. Еще позавчера были серьезные, непреодолимые препятствия. Но теперь, с революцией, они отпали. Теперь я могу содержать и ее, никакой помощи мне от ее родителей не будет нужно. Трудно только бежать. Конечно, Лиля заграничного паспорта без родителей получить не может. Но бежать можно, я помню такие случаи. Корженецкий бежал через Финляндию. Бек сговорился с кем-то и тайком пробрался на корабль. Это опасно и рискованно, но ведь я знал, что вся моя жизнь будет рискованной и опасной. Правда, теперь рискует Лиля. Все-таки это можно сделать. Денег до Парижа у меня в обрез хватит и на двоих. Во всяком случае я завтра же ей скажу всё, скажу, кто я и какова будет ее жизнь со мной. Пусть она решает!..». Он заснул опять.

На этот раз ему снились «Гугеноты». Позднее ему стыдно было вспоминать, что увидел он во сне не трагический дуэт четвертого действия, а сцену хора купальщиц, сцену завязанных глаз. И еще гораздо стыднее: одна из купальщиц была Лиля, в том белом с кружевами пеньюаре. Он проснулся в восторге. «Да, я счастлив!» Было еще очень рано. Виер не зажег свечи и в темноте снова долго думал о Лиле, об их будущей жизни. Теперь почти всё казалось ему возможным.

---

[4] «Человеческий разум орган, не слишком исполненный достоинства, и не вижу, как мы можем им пользоваться искренно, если не посредством эклектизма».

«Сесть на пароход нелегко. Гораздо легче перейти финляндскую границу с помощью контрабандистов. Это часто делается, и тут большого риска нет... В каком положении я окажусь перед ее родителями? Они меня приютили в своем доме... Нехорошо. Но мы еще в Финляндии бы поженились или в Штетине и тотчас им написали бы. И пора мне перестать думать в сослагательном наклонении. Быть может, это вообще было главной моей бедой в жизни. До Штетина денег хватит наверное. А оттуда я в крайнем случае напишу в Париж. Теперь, когда рушится старый мир, стыдно останавливаться перед незначительными препятствиями и предрассудками. В Париже у нас тоже теперь это поймут. Граф Олизар, когда хотел жениться на православной Раевской, запросил Чарторыйского, не будет ли это изменой польскому делу. Князь Адам ответил, что не будет. Но Раевский-отец не согласился и на свое же несчастье выдал дочь за будущего декабриста Волконского. Не знал, что в своем смысле этим ее погубил. Разве можно предвидеть будущее?.. Я объясню Лиле, что не для меня обыкновенная будничная жизнь: жена, дети, карьера, заботы о хлебе. Ее дело решить»...

На почте чиновник узнал его и с улыбкой протянул ему письмо: то самое, отправленное из Пруссии; это была благонадежная страна, гораздо меньше, чем Франция, обращавшая на себя внимание цензуры. Он тотчас вернулся домой, затворил дверь на ключ и распечатал конверт. Письмо было составлено для отвода глаз и заключало в себе вопросы о ценах на чай. Важное было написано симпатическими чернилами. Виер проявил листок. Внизу выступили цыфры. Агент Отеля Ламбер принимал все меры предосторожности. Цыфры указывали страницу, порядок строки и буквы в стихотворении Шиллера.

Он достал из чемодана небольшую красную книжку. Обрамленный четыреугольной светлой каймой Шиллер сидел на стуле, склонив голову на бок к небрежно повязанному галстуху, заложив за полу сюртука левую руку. Расшифровка

заняла много времени. Как всегда, Виер старался не вникать в смысл, пока не расшифрует всего, и, тоже как всегда, это не удавалось: стал понимать смысл письма до того, как кончил.

Ему предписывалось тотчас отправиться в Константинополь с важным поручением. — «Вам известно о том, что здесь произошло. В связи с этим возник новый проект, которому мы придаем большое значение. Поручение это опасно, вследствие чего мы и возлагаем его на вас, хотя понимаем, что вам теперь интереснее быть в Париже. Ваши более близкие политические друзья сходятся с нами в том, что никто не может быть там полезнее, чем вы, для национального польского дела. Мы уверены, что вы не откажетесь от немедленного исполнения нашей просьбы. В Константинополе вы от известного вам лица получите наши указания и деньги».

Он долго сидел в кресле, потрясенный. За сутки вся его жизнь менялась во второй раз.

Ясно было, что нельзя отказаться от опасного поручения, которое одобрялось и польскими революционерами. Но ясно было и то, что теперь он никак не может увезти с собой Лилю. «Бежать она могла из Петербурга, откуда до Финляндии два шага. Но везти ее через всю Россию совершенно невозможно. Дарья Петровна после ее исчезновения, разумеется, тотчас известит Лейденов. Верно, она и сама заявит полиции, но уж во всяком случае всех поднимет на ноги Ольга Ивановна. Нас найдут и задержат. Всё равно нас разлучат, а может быть, меня и предадут суду за похищение несовершеннолетней. В самом же худшем случае мною вдобавок заинтересуется Третье Отделение, и тогда провалится дело. И даже, еслиб нас не задержали, еслиб и удалось пробраться в Константинополь, как быть с Лилей, когда на меня возлагается опасное поручение! Всё это ясно как день. Но что же я скажу Лиле?»

В дверь постучали. Вошел номерной и подал ему письмо, принесенное рассыльным. «Опять верно приглашение на пятницу чесать язык у Петрашевского?» — подумал он. Почерк

на конверте был незнакомый. Он распечатал, взглянул на подпись и ахнул. Письмо было от Лили.

Через час номерной зашел снова в комнату и увидел, что польский барин сидит на том же стуле у стола, опустив голову на грудь, держа в руках письмо.

— Прикажете, барин, сейчас убрать комнату? — спросил он.

— Да, пожалуйста, уберите, — ответил Виер. Несмотря на страшный удар, он уже исполнил то, что полагалось по требованиям конспирации. Зашифрованное письмо было сожжено, скляночка с жидкостью для проявления симпатических чернил положена в чемодан. Он встал, взял открытый том Шиллера и вышел в корридор. Там в углу на столе с грязной посудой горела сальная свеча. Он сел на табурет и в четвертый раз прочел письмо Лили. «Да, письмо изумительное! Вся ее душа в нем. Предлагает бежать, хочет продать серьги и брошку. Что же я ей скажу? Скажу, что надо отложить. Намекну, только намекну, на истинные причины. Но ведь мне-то ясно, что теперь это не откладывается, а просто падает. Разве я не понимаю, что она не может ждать меня бесконечно долго? Что же мне делать? Что мне делать?.. «С вами я стану католичкой, с вами я пойду к вашему Бланки, я всё о вас знаю. Мне всё равно, лишь бы с вами!». И это сокровище я теперь теряю! Да, разумеется, навсегда теряю».

"Da steh' ich schon auf deiner finstern Brücke,
Furchtbare Ewigkeit!
Empfange meinen Vollmachtbrief zum Glücke,
Ich bring' ihn unerbrochen dir zurücke,
Ich weiss nichts von Glückseligkeit...
"Ich zahle dir in einem andern Leben.
Gib deine Jugend mir!
Nichts kann ich dir, als diese Weisung geben."
Ich nahm die Weisung auf das andre Leben
Und meiner Jugend Freuden gab ich ihr.

"Gib mir das Weib so teuer deinem Herzen,
Gib deine Laura mir!
Jenseits der Gräber wuchern deine Schmerzen."
Ich riss sie blutend aus dem wunden Herzen
Und weinte laut und gab sie ihr."[5]

— Убрано, барин, пожалуйте, — сказал номерной, с недоумением смотря на барина, сидевшего на табурете с книгой в руке.

— Убрано? Благодарю вас. Пожалуйста, передайте хозяину, что я завтра уезжаю, — сказал Виер, вставая. Лицо у него было искажено.

Он пришел к ним в два часа. Лиля писала, что, вероятно, в это время будет одна. «Но если это не удастся, улучите минуту и скажите мне или незаметно передайте записку: где мы могли бы встретиться наедине. Мне всё равно! Впрочем, по вашему виду я догадаюсь. Мне ведь достаточно знать: да или нет. Я не буду убеждать вас. Достаточно стыдно и то, что я пишу первая!.. Но Боже мой, еслиб это было «да!».

Опять он зашел в магазин цветов. Знал, что глупо и не совсем прилично делать третий подарок за сутки. Но ему хотелось оставить цветы Лиле.

В гостиной сидела Нина. Она его встретила с неодобрительным и вместе восхищенным выраженьем на лице.

— Мамы нет дома. Она куда-то ушла... Помилуйте зачем это? Спасибо, прелестные цветы. Эти маме? Правда, вчера был превосходный спектакль? Я обожаю «Гугеноты»... Поставлю

---

[5] В дурном и неточном переводе Г. Данилевского: «Я перед тобой, о, вечности равенство! — У полных тайны врат... — Возьми свою росписку на блаженство: — Она цела — не знал я совершенства; — Возьми ее назад... — «В иной стране — отдай мне твою младость — Я расплачусь с тобой; — Порукой мне моих обетов сладость!» — Я взял обет — и отдал жизни радость — Ей до страны иной. — «Отдай мне всё, что есть в тебе святова, — Лауру — страсть твою; — За гробом скорбь я уврачую снова!» — И сердце я рассек и — и из больнова — Ей вырвал страсть мою».

цветы в воду. Лиля сейчас выйдет, а меня, значит, пока извините, я ухожу, — сказала она и вышла с букетами.

Лиля вошла и остановилась на пороге. У нее в лице не было ни кровинки. Она только на него взглянула и поняла: «Нет!». Он быстро подошел к ней, поцеловал ей руку и подал букет.

— Вы не хотите? — прошептала она.

— Я хочу этого больше всего в жизни. Но это невозможно. Сейчас невозможно.

Она отвернулась и заплакала. У него сердце рвалось от жалости к ней и от любви.

— Я догадываюсь... Вы эмиссар... Я всё давно поняла... Но разве нельзя?..

— Сейчас нельзя. Я завтра уезжаю и я себе не принадлежу. Лиля, ваша жизнь со мной была бы несчастьем для вас...

— Она была бы для меня счастьем! Вы сказали, что это с е й ч а с нельзя? Значит, позднее можно? Когда?.. Я буду вас ждать, я буду вас ждать сколько угодно!

Он молчал. В передней послышался звонок. В комнату опять поспешно вошла Нина. Она быстро взглянула на них.

— Я велела Василисе положить ваши букеты в вазы и поставить в комнаты каждой из нас. Вы ведь нам принесли целый цветочный магазин... Это звонок Тятеньки. Лиленька, ты пошла бы в свою комнату и прилегла. Мосье Виер еще к тебе зайдет, правда? У нее сегодня с утра болит голова. Пойди Лиленька, мосье Виер зайдет к тебе, — говорила Нина, не останавливаясь ни на секунду. Лиля кивнула головой и выбежала из комнаты.

— Мадмуазель Лиля в самом деле нездорова?

— Да, в с а м о м д е л е, — сердито ответила Нина. Ей было обидно за Лилю и хотелось «поставить на место этого надутого поляка». — Верно, она в опере немного простудилась. В зале было жарко, а на улице двадцать градусов мороза... Вы останетесь обедать?

— Останусь ли обедать? Нет, к крайнему моему сожалению, не могу.

— Я тоже очень жалею. Сейчас сюда зайдет Тятенька. Я буду занимать его приятным разговором, а вы, быть может, тем временем проститесь с Лилей?

— «Слышу го-лос не-знакомый — В час но-чной меня зовет!» — речитативом сказал из «Гугенотов» Тятенька, входя в комнату. Он поцеловал Нину: успел себе присвоить эту привилегию. — Ниночка, красавица, здравствуйте. Здоров бул, вацпан. Мама дома?

— Нет, но она скоро придет. А у нас к обеду сегодня индейка с каштанами, я вас, Тятенька, даже хотела спросить, как ее подать.

— Вы говорили, Нинетта, что будет и гомар?

— Да, будет и омар.

— Тогда дам консультацию. Подадите индеечку, как у самого Вери, это у него была specialité de la maison... А видел ты, пане Яне, такие ножки, как у вчерашней пажихи? Не ври, будто видел: останешься в стыде... Нинеточка, не слушайте.

— Вы, Тятенька, старый ловелас, — сказала Нина, к его большому удовольствию. В комнату неожиданно вернулась Лиля.

— Красавица моя, — сказал Тятенька, нежно целуя и ее. — Зачем такая бледненькая? Вацпан, нынче опять пойдем в театр, а? Что-то мне желается. Поедем, купим им ложу.

— Это слишком дорогое для меня удовольствие, — ответил Виер, улыбаясь. Он отчасти сказал это для Лили, отчасти же себя наказывал этими словами. Действительно, и Нина, и Тятенька смутились; даже и в России, где был слаб культ денег, люди чувствовали себя неловко, когда кто-либо говорил о своей бедности. «Зачем же он покупает никому ненужные букеты, если он так беден?» — подумала Нина. Но Лиля п о н я л а: «Поэтому? Тогда я устрою, я умолю папу и маму!..».

— Вы, правда, не можете остаться к обеду, мосье Виер? — спросила Нина. — Мама будет очень сожалеть.

— Пожалуйста, засвидетельствуйте вашей матушке мое глубокое уважение и признательность за гостеприимство, —

сказал Виер. Нина подавила неприязненную усмешку. «Сил нет, какой цирлих-манирлих. Говорит так, что слушать противно. И в жилах у него верно не кровь, а тепленькая водица. Как только Лиля этого не чувствует! Я сразу почувствовала, что он просто слизняк!».

— Я ей передам. Но мы, надеюсь, еще увидимся?

— Я постараюсь заехать еще раз, — солгал он для Лили. К ней возвращалась надежда.

— Вы уже уходите? Лиленька, тогда ты, будь добра, проводи мосье Виера. А вас, Тятенька, я прошу пожаловать в кухню для консультации, индейка пропадет без ваших указаний.

— Избави Бог! — сказал встревоженно Тятенька. — Да еще рано... Ну, что-ж, вацпане, естьли я с тобой не встречусь, то прощай. Паризии кланяйся. Это так Максим Грек говорит: «Паризия град есть многочеловечен в Галиех. Держава велия и преславная и богатяща. Тамо обрящеши всякое художество». Только художествами революции не увлекайся, пан, чтоб ей ни дна, ни покрышки! Сколько еще она унесет хороших людей! Брось, брат, политику, не доведет она тебя до добра. А уж естьли там кого в Париже не взлюбишь, ну, сделай ему пакость, коли хочешь и можешь, хоть вовсе и не надо бы, — да держи язык за зубами. По моему, самые умные комары это те, что не жужжат. Никогда не говори: иду на вы. Тот наш удельный князь, что это сказал, ни бельмеса в политике не понимал.

— Да... Да, Паризия, — сказал Виер. Он даже не слышал того, что говорил Тятенька. Старик пожал плечами.

— Вижу, что даром тебя учу. Сейчас иду, Нинетта... Ты слушал бы меня, когда еще даст Бог увидеться? Помни, что политика это самая канальская страстишка. Ты хоть еще юнец, а у иного человека она сидит в душе и тогда, когда из него давно, с дозволения сказать, песок сыпется. Другой старый политик — о нем все уже и думать забыли, а он всё еще с собой носится, как дурень с писаной торбой. Вот, верно, так в Англии старички, бывшие боксеры: он и весь скрючен от

рейматизмов, печенка лет пятьдесят как отбита, а ему по ночам, верно, снятся эстрады, и как он, радость этакая, кому-то под микитки заехал, и рев дурачья... Ну, дай тебя обнять. Эх, и я бы с тобой съездил! Славный городок Париж. Не хуже Киева.

— Лиля, — быстро сказал Виер. — Я теперь ничего не могу вам сказать, не имею права. Еслиб я не боялся громких слов, я сказал бы одно: у вас в моем сердце есть лишь одна соперница, это мировая революция, великое дело освобождения всех народов, и моего, и вашего. Мне дано ответственное поручение. Позднее я найду средства для жизни и дам вам знать. Но не ждите меня. Помните, что вы совершенно свободны.

— Я буду вас ждать сколько вы захотите! Сколько вы прикажете!

— Не надо. Вы свободны.

— Вы ничего мне теперь не можете сказать? Ничего не объясните?

— Не могу, но я напишу вам. И я напишу так, чтобы вас не скомпрометировать. Вы знаете, что такое симпатические чернила?

— Нет, я не...

— Это чернила, которыми пользуются для тайной переписки. Я употреблю самое простое. Вот что... Я напишу вашей матушке. Там будут просто новости обо мне. Но вы возьмите письмо у мамы, хоть украдьте. И осторожно нагрейте листок. На нем выступят буквы, вы прочтете. Я и тут, избави Бог, не скажу ничего компрометирующего вас. Но вы узнаете мои планы... Наши планы!.. Ну, прощайте, больше ни о чем меня не спрашивайте... Спасибо вам за всё. И за ваше милое гостеприимство в Киеве. Будете писать маме, передайте ей, прошу вас, мой нижайший поклон, — сказал он и вспыхнул, подумав, что теперь глупо и грубо говорить о гостеприимстве и нижайшем поклоне. Он опять поцеловал ей руку.

— Я... я хочу вам дать розу на память, — прошептала она, глотая слезы. — Вот она... Вы не забудете меня?

— Я вас не забуду до моего смертного часа! Спасибо... За всё спасибо!

Он больше сам не знал, лгал ли ей для ее успокоения или говорил правду. «Но это было все-таки лучшее, что я мог придумать».

Лиля у себя заперлась на ключ и долго плакала, опустив голову на правую руку, на ту, которую он поцеловал.

XI

Случилась добрая цирконстанция.
Из старой хроники

Роксолана устроилась в Париже необыкновенно успешно. Ей сразу стало ясно, что наконец-то она нашла настоящий город: только здесь и стоило работать. Попала она в очень дешевую гостиницу. Знала, что в ней не останется, но решила не торопиться: «Сначала как следует осмотрюсь, а потом сниму квартиру». Целый день бегала по Парижу, останавливалась перед витринами магазинов: они приводили ее в совершенный восторг: «Где уж и Константинополю, и этой Флоренции!». Всё же о Константинополе вспоминала с нежной грустью: как все, была этим городом зачарована на всю жизнь. И у нее было там столько приятелей, здесь никого.

Теперь она регулярно каждый день читала газету с трудным и малопонятным названием «Le Constitutionnel». Старалась запомнить, кто — кто, заучивала имена, самые трудные выписывала и зазубривала: «Ледрю-Роллен, Ледрю-Роллен»... В одной газете она прочла, что знаменитый писатель Бальзак посещает гадалок и очень им верит. «Вот, значит, и писатель, а дурак, — думала она, впрочем, ласково. — Как бы его заполучить?» Когда в витрине магазина ей попадался портрет какого-нибудь знаменитого человека, всматривалась и запоминала. Она была наблюдательна, а наружность людей, которых хоть раз видела, обычно не забывала.

Особенно внимательно она читала объявления о гадалках и квартирах. Эти объявления вырезывала и прятала в ящик стола. Побывала у трех гадалок; пришла к ним как клиентка, честно заплатила, слушала их очень внимательно, ко всему присматривалась и всё запоминала (одна старая гадалка даже подозрительно на нее смотрела). Выходила от них Роксолана с каждым разом бодрее и увереннее: «Буду не хуже их, а то и лучше!.. Комнат надо не меньше, как три: приемная, кабинет и спальная. И чтоб место было хорошее. И на мебель нельзя жалеть денег».

В книжном магазине, в котором она покупала газеты, приказчик посоветовал ей приобрести книгу: «Les Mystères de Paris» Евгения Сю. — «Все читают и очень хвалят. Автор сам всё это видел, все эти притоны», — сказал приказчик. Эти слова ее заинтересовали. Роксолане не приходило в голову, что можно читать книги для удовольствия, но нельзя же было целый день бегать по улицам. Вздохнула, попробовала поторговаться, — оказалось, что не полагается. Это было единственное, что ей не нравилось в Париже: нигде торговаться нельзя, никакой скидки не делают; так и от покупок меньше удовольствия. Всё же эту книгу она купила. Начала дома читать и не могла оторваться. По вечерам дрожала от страха: «Сколько в этом городе злодеев!» Узнав, что Флер де Мари, милая девушка из притона, на самом деле дочь принца Рудольфа Герольштейнского, она растрогалась: «Что, если и мой отец принц! Вдруг когда-нибудь меня отыщет? Разве я знаю, кто мой отец?» Мечтательно представляла себя принцессой и думала, как тогда будет жить. Ничего особенного впрочем придумать не могла. Можно было, правда, накупить бриллиантов. Теперь, начитавшись «Парижских Тайн», она возвращалась домой тревожно, вечно оглядываясь: не идет ли по пятам какой-нибудь Ферран! Она не чувствовала страха в самых мрачных кварталах Константинополя: их хорошо знала, и о Константинополе таких романов не читала.

Осмотревшись в городе, Роксолана решила поселиться на левом берегу, в лучшей его части. Одно объявление показалось ей вполне подходящим: «Сдается очень красивая квартира. Салон 6 метров на 6.65, две спальни. Шла прежде за 2400 франков в год, теперь, по случаю отъезда, сдается за 1800». Место было отличное. Был только один недостаток: на этой же улице, в доме номер 20-ый работала сомнамбулка мадмуазель Генриетт, тоже печатавшая объявления. Но Роксолана сомнамбулок не уважала и не считала их конкуренцию опасной.

Квартира была в первом этаже; это тоже было преимуществом: среди клиентов у гадалок бывало немало стариков, и им трудно было бы подниматься по лестницам. Роксолана немного опасалась, что через окно может влезть грабитель, но улица была людная, и недалеко, на углу, стоял полицейский. По виду владельца решила, что тут могут уступить, и долго торговалась, как прежде, по восточному, выходила и возвращалась; выторговала сто франков и была очень довольна. Затем купила хорошую мебель, частью новую, частью по случаю. Купила треножник, зеркало, старинный кофейник, карты. От петуха отказалась, чтобы не пачкать квартиру; предсказывать будущее можно и без петухов. Как все гадалки, побывала на кладбище Пэр-Лашез, на могиле госпожи Ленорман. С такими чувствами молодые честолюбивые офицеры ходят к гробнице Наполеона.

И как только она окончательно устроилась, в газетах появилось объявление:

Roxelane est à Paris.

La célèbre cartomancienne egyptienne, chiromancienne de lucidité peu commune annonce les événements futurs.

Seánce de 11 à 4 heures.

Она решила навсегда остаться Роксоланой. Имя ей нравилось и как нельзя лучше подходило для дела. Составить объявление помог в конторе старичек. Он очень ласково ей

улыбался и попросил погадать ему по руке. Роксолана предсказала ему долгую жизнь и счастливую любовь. Сидевшая в комнате служащая фыркала. Но старичек был доволен и сделал скидку.

Объявление имело успех: не то, чтобы сразу повалил народ, но стали приходить люди: в первый день пришла одна клиентка, во второй — клиентка и клиент, затем меньше четырех-пяти человек в день не приходило. Гадала она добросовестно: вначале каждому посетителю отдавала не менее получаса, а то и больше, если у нее было впечатление, что он придет опять. Очень способствовал успеху ее певучий мелодический голос. Она знала, что это одно из главных ее очарований, и пользовалась им умело.

Скоро она стала отличной гадалкой. Во время сеансов произносила египетские заклинания и пила кастальскую воду. Один клиент робко спросил, что это такое. Роксолана ответила, что есть такой источник и что в нем утопилась одна важная нимфа; ответила уверенно, но скороговоркой, так как забыла справиться, что такое нимфа. Иностранный акцент способствовал ее успеху. Она пользовалась также приемом самой дорогой из посещенных ею гадалок: заставляла клиентов долго ждать, а когда они, наконец, входили, небрежно пересчитывала на столе золото, — будто его только что оставил другой клиент. Это производило тем большее впечатление, что золото после революции стало понемногу исчезать. У одной из гадалок вводил посетителей странно одетый человек в шляпе с пером. «Хорошо, да дорого», — думала Роксолана, — «может, позднее найму, когда будет много дохода. Не всё сразу»... Сама она носила египетское одеяние. Долго колебалась: гадалке лучше быть старой женщиной, молодые не внушают доверия; но ей очень не хотелось изображать старуху даже с незнакомыми людьми. Впрочем, клиенты ею, как женщиной, не очень интересовались: в гадалок влюбляются так же редко, как в шпагоглотательниц или в женщин со змеями на шее. Это ее тяготило: она с сожалением вспоминала о сумасшедшем русском старике: «Где-то он теперь? Верно

скучает со старой женой?» Раз даже погадала о нем, выпив глоток кастальской воды, но ничего не увидела.

«Ей хорошо, Генриетте, принимать от девяти утра до семи вечера! Они, француженки, все такие, работают с утра до ночи», — сердито думала Роксолана. Действительно, ее с первых же дней поразило трудолюбие французов, которых везде, даже на Востоке, считали легкомысленными людьми. На самом деле в Константинополе никто не работал так много, как они. «А я не могу, мне и отдохнуть надо, и в кондитерской посидеть. Если работать целый день, то зачем же тогда и деньги?» Вставала она довольно поздно, хотя и скучно было лежать в кровати одной. Завтракала наскоро дома, но в четыре часа, тотчас после сеанса, уходила в кондитерскую, пила шоколад, ела пирожные.

Успех рос с каждым днем. Она начала печатать объявления три раза в неделю; тот же старичек менял для нее текст. Стали приходить репортеры и бесплатно печатали заметки. Называли ее знаменитой, изумительной и даже гениальной. О ней заговорили в Париже. Как обычно в революционное время, вера во все таинственное увеличилась. К Роксолане приходили люди, не желавшие называть свое имя. Она загадочно улыбалась, кивала головой, делала вид, что ей известно, кто они. Предсказывала осторожно и ловко. Теперь окончательно убедилась в том, что все люди чрезвычайно глупы и похожи друг на друга; собственно она и всегда так думала, но допускала возможность, что так только в Турции; оказалось, что так везде, — уж если в самом Париже! Цену за гаданье она скоро подняла и теперь ни одному посетителю больше десяти минут не уделяла. Жила она по прежнему скромно: сегодня люди ходят, а завтра вдруг, не дай Господи, перестанут ходить!

Старичек, довольный ее успехом и продолжавший делать ей скидку, как-то ей сказал, что ей следовало бы купить ценные бумаги. — «Теперь они сильно упали, а как только кончится революция, очень поднимутся в цене». Сначала она отнеслась к совету старичка недоверчиво: ясное дело, хочет на-

дуть. — «А где их покупают?» — «На бирже. Но лучше сделайте это через банк, там вам и посоветуют». «Если сам ничего не предлагает, то значит, выгоды ему никакой нет», — подумала Роксолана. О банках она знала, но никогда в них не была. «Вдруг не обманут?» Подумав, выбрала банк Ротшильдов: о Ротшильдах слышала восхищенные рассказы еще в Константинополе. Для верности выдала себя директору за еврейку: «Лучше будут относиться, да и знают, что еврейку не обманешь». Бумаги купила, — со вздохом положилась на мнение директора и на судьбу. Но то, что оставалось от золота, подаренного ей Лейденом, держала у себя в доме под ключем. Украдут золото, — останутся бумаги; обманут Ротшильды, — останется золото.

Всё как будто шло превосходно: даже и надеяться на такой успех было невозможно. Но ей становилось всё скучнее в этом знаменитом городе. Она не привыкла жить без мужчины.

XII

Stryge, harpie, magicienne, empouse, larve, lemure, goule, psylle, aspiole...[6].

Бальзак

Незадолго до начала обычного приема, у дома Роксоланы остановилась элегантная коляска с кучером в коричневой ливрее с золочеными пуговицами. Из нее с трудом вылез толстый грузный человек, остановился на мгновенье, вглядываясь в номер дома, затем, опираясь на трость, медленно поднялся по ступенькам. Роксолана, сидевшая у окна, как почти всегда в свободное время, ахнула: «Бальзак!.. Ко мне! Конечно, ко мне!..» Тотчас узнала его по портрету. Она выбежала в переднюю и отворила дверь. Обычно отворяла ее только перед самым приемом, всё боялась разбойников. Гости звонили, потом замечали, что дверь не заперта, и входили. Так лучше,

[6] Так Бальзак называет гадалку. Перевести почти невозможно.

пока нет человека в шляпе с пером. Вернулась, села в кресло и приняла таинственный вид. «Что ему предсказать? Чтобы поумнее?..»

Он вошел, переваливаясь, ласково с ней поздоровался, неторопливо и внимательно оглядел комнату и, не дожидаясь приглашения, тяжело опустился в кресло, поставив трость между коленями и опираясь на нее обеими руками. Начинать разговор не спешил: долго смотрел на гадалку, особенно на ее лоб и глаза. С этого обычно начинал изучение незнакомого лица, — как дантист первым делом смотрит на зубы нового человека, а сапожник на его обувь. Повидимому, остался доволен.

— Так вы наша новая, знаменитая гадалочка? — весело спросил он.

— Да, я знаменитая Роксолана, — нараспев ответила она. Была несколько озадачена: не привыкла к такому началу разговора с клиентами; обычно они сперва очень смущались.

— Я прочел, дорогая египтянка, ваше объявление в газетах. Не делайте вида, будто вы не знаете, кто я такой. Я Бальзак, Онорэ де Бальзак, знаменитейший из всех писателей мира. Меня все знают. И я всех знаю. Знаю и всех гадалок. Они делают мне скидку. Ни одна с меня не берет больше двух франков. Я ведь сам маг: доктор магических наук. Имейте это в виду. И обмануть меня никто не может. Бойтесь меня!

«Два франка! Хорош!» — разочарованно подумала Роксолана. Тем не менее клиент ей понравился, хоть и не наружностью. «Ох, какой некрасивый! Совсем как лавочник в Галате. А глаза замечательные, просто как у меня, да черные! Только ресницы дрожат... Скидку ему можно сделать. Скажу газетчикам, что приходил Бальзак, они напечатают, да еще присочинят, и повалят новые люди».

— Моя цена пять франков, — ответила она строго. — Но вы можете заплатить сколько вам угодно. Я, конечно, вас тотчас узнала. А не узнала бы, так мне сказали бы карты. С такого человека, как вы, я могу взять и два франка. — Хотела было добавить «даже меньше», но не добавила. Хотела

также сказать: «Я все ваши книги читала», но не решилась: вдруг начнет спрашивать.

— Так вы в самом деле иностранка! — сказал он удивленно. — Все парижские гадалки выдают себя за иностранок. Ваше ремесло во Франции единственное, где выгодно быть иностранцем. Постойте, я хочу по вашему акценту установить, кто вы такая. Полька — нет, русская — нет, немка — нет, итальянка — тоже нет. Когда я прочел в вашем объявлении «Роксолана», я подумал: «Конечно, еврейка из квартала Ратуши, и зовут ее Рахилью или Ревеккой. Но какая умница, как хорошо придумала имя: «Ро-ксо-лана», — протянул он тоже нараспев, с совершенной точностью ей подражая. — Имя имеет огромное значение и для гадалки, и даже для писателя. Мне в моих романах стоит большого труда находить подходящие имена. В имени есть таинственная сила, оно связано с характером человека. Вы из за имени Роксолана будете иметь успех. Вот ведь и я из за него пришел. Среди вас, гадалок, очень много дур, а ты, очевидно, умная, — сказал он. — Ты не еврейка, я вижу. Но кто же ты?

— Я египтянка.

— Ты врешь... Ну, хорошо, египтянка так египтянка. Глаза у тебя чудесные, а голос такой, что, еслиб ты не была знаменитой гадалкой, то ты могла бы затмить Малибран. Это была певица, ты о ней не слышала, гадалки ничего не знают. Я, напротив, всё знаю и всех людей вижу насквозь. И тебя вижу насквозь. Обрати внимание на мои глаза, они проникают в любую душу! Не смей мне врать, я тотчас замечу, скажу журналистам, и ты будешь навсегда опозорена! А если ты будешь гадать честно, то я, напротив, буду им тебя очень хвалить. Подумай, какая для тебя реклама: тебя хвалит сам Бальзак! Я создал славу многим людям. Я вывел в люди Стендаля! Это был такой писатель, ты его не читала, как не читала даже меня. Ты, может быть, читала только болвана Сю... Ну, хорошо, приступим к делу. — Он отставил трость и протянул руку. — Карт не надо. Вот тебе моя рука. Смотри, какая она красивая. Обрати также внимание на мой нос и особенно на

мою шею! Ах, какая у меня шея!.. Ну, выкладывай. Говори, сколько я проживу. Это единственное, что вы можете сказать. В остальном гадалки врут. Но это вы действительно знаете. Как, — не понимаю. Я верю в чудеса. Я даже сам их творю. И тоже не знаю, как. Постой, скажи раньше другое: я женюсь или нет?

«Ловушка», — вглядываясь в него, подумала Роксолана, — «верно, он женат? Нет, видно хочет знать».

— Женитесь, — сказала она, осмотрев его руку. — На хорошей женщине.

— Правда? — радостно спросил он. — Я тоже думаю.

— На богатой, — подтвердила Роксолана. — На бедной ни за что не женитесь.

— Ах, как ты права! Умница! Скоро?

— Не очень скоро, но и не так, чтобы это было уж очень далеко.

— Совершенно ясно! Так может гадать и не египтянка... Ну, а теперь сколько я буду жить?

«Сказать мало — рассердится, больше не придет, и газетчикам будет меня ругать, — подумала Роксолана. — А долго верно жить не будет, такие тучные, с жилами на лбу, долго не живут».

Она опять принялась изучать его ладонь, что-то шептала, поднимала глаза к потолку. Он смотрел на нее с волнением.

— Долго проживете, — наконец сказала она. Он облегченно вздохнул и, выдернув руку, откинулся на спинку кресла.

— Больше ничего не надо, слава Богу!.. Я тебе дам три франка! А что такое «долго»? Двадцать лет проживу?

— Проживете.

— А тридцать?

— Нет, тридцать не проживете.

— Сколько же? Двадцать пять?

— Двадцать семь и три месяца.

— Всё ты врешь... Ты давно гадалка?

— Всегда была. И мать моя была, и бабушка.

— Тоже врешь. Ну, что-ж, благодарю тебя. В награду я тебя поцелую, — сказал он, придвигаясь к ней, и поцеловал ее. — Вот тебе три франка. И я сделаю тебе рекламу, будь спокойна... Позавчера я видел одного человека, который только что приехал из Америки. Он говорил, что там где-то обнаружены необычайные явления. Таинственные стуки, какие-то странные столы... Это кто-то назвал спиритизмом. Духи сообщают будущее. Весь Нью-Йорк об этом говорит. Ничего невозможного тут нет, только очень ограниченные люди не верят в чудеса. Что такое чудо? Новое явление, недоступное науке. Пароход еще недавно был чудом. Я очень хотел бы узнать точнее, что это такое, спиритизм. Они при помощи столов сносятся с потусторонним миром.

— Моя мать была знаменитая гадалка. А этого в Париже нет, столов? — спросила Роксолана, слушавшая его очень внимательно.

— В Париже пока нет, скоро, верно, заговорят и у нас... Наши дураки ученые не верят ни в магнетизм, ни в гипнотизм! Между тем я сам гипнотизер. Если хочешь, я тебя загипнотизирую? Сколько тебе лет?

— Двадцать шесть.

— Ты очень красива. — Он пододвинулся к ней еще ближе и положил ей руку на колено. — Я думаю, что ты очень опытна в любви. Как это хорошо! Ничего лучше любви нет! Занимайся ей, милая, занимайся ею, пока не поздно. Скоро всё пройдет. Ты думаешь, я всегда был такой? Я был одним из самых изящных людей Парижа!

«Ох, и ты врешь еще получше меня», — подумала Роксолана. Костюм на нем был потертый, давно не глаженый и весь в пятнах. Только трость была дорогая.

— Это видно еще и сейчас.

— «Еще и сейчас!» — грустно повторил он. — Молодые франты старались мне подражать. Я уже тогда был знаменит. Кроме того, я происхожу из древнего рода графов Бальзак д-Антрэг. На моих колясках, на моих эскарго и милордах, была наша родовая графская корона. Всё это, конечно, за

мной осталось, но молодость прошла... Сколько, по твоему, мне лет? Говори без гаданья, просто на глаз.

«Верно под шестьдесят», — подумала Роксолана.

— Лет пятьдесят пять.

Он рассвирепел. Ему еще не было сорока девяти.

— Ты дура! — сказал он. — Редкая идиотка! Где тебе быть гадалкой, когда ты не видишь и наружности человека! Брось твое ремесло и поступай в веселый дом!

— На вид вам еще больше! — ответила она, рассердившись. — Я из любезности сказала, что только пятьдесят пять!

— Ну, ладно, теперь я тебе погадаю, — сказал он и насильно взял ее руку. К ее удивлению, он стал называть линии ладони совершенно правильно, знал даже такие, о которых она и не слышала. — Ах, нехорошо, нехорошо! — сокрушенно сказал он. — Ты будешь жить не очень долго. Лет до пятидесяти доживешь. И скоро ты состаришься! Ах, как ты скоро состаришься! Ты знаешь, когда женщина дурнеет, это всегда происходит очень быстро. Прежде всего исчезнет твой чудный цвет лица. Это еще пол беды, можно краситься. Затем появятся морщины, с ними бороться уже гораздо труднее. Потом начнут выпадать зубы...

— А у вас их уже нет, в верхней челюсти! — гневно перебила она его. — Я и то удивляюсь, как вы еще не сюсюкаете!

— Самое лучшее, что в тебе есть, это глаза, — говорил он. — Но глаза с годами теряют свой блеск. Все восточные женщины к тридцати годам уже никуда не годятся. Кажется, в Италии есть такая поговорка: «В сорок лет женщину надо бросать в реку одетой». Это я, по своей доброте, продлил вам всем жизнь, а вы, дуры, и ухватились: «Бальзаковский возраст, ах, ах, я еще хороша!». Так то европейские женщины, а ты родилась на востоке. Ты безобразно растолстеешь, будешь вечно чувствовать слабость в ногах, трудно станет ходить, появится одышка, начнет болеть печень...

— Да что вы всё!.. — начала в ярости Роксолана. Но его нелегко было перебить. Он всё крепче сжимал ее руку. Глаза

у него расширились и блестели почти неестественно. «Да не пьян ли? Ух, какой стал страшный!» — подумала она, тщетно стараясь от него отодвинуться.

— А потом у тебя в одном из глаз появится черная точка! —сказал он полушопотом. Лицо у него вдруг задергалось. — Ты и не будешь знать, что это такое. Непонятная, необъяснимая, нестерпимая черная точка! А ведь она что-то должна значить, а? Ты начнешь звать врачей, но и они знают немногим больше нас. Быть может, я понимаю больше, чем они. Они будут тебя лечить. Они запретят тебе вино, чай, кофе. Потом верно появится и подагра. Они велят тебе, идиоты, опускать ноги в окровавленные внутренности поросенка.

— Ах, гадость какая! — сказала она, бледнея. — Да ничего такого у меня никогда не было и не будет!

— Будет! Будет, говорю тебе! Врачи станут уверять тебя, что ты скоро выздоровеешь, что тебе уже лучше, гораздо лучше! Ты будешь знать, что они бессовестно врут, но будешь уверять и других и, главное — о, дура! — себя, себя, что тебе в самом деле лучше, что ты выздоравливаешь, что ты опять скоро будешь здорова и крепка, как прежде. Нет, не будешь здорова, нет, не будешь крепка! Больше никогда не будешь! К тебе будут приходить друзья, так называемые друзья, нет ни у кого друзей! Они тоже будут тебе говорить, что тебе лучше. Не верь, не верь! Они всегда врут. А подлецы врачи знают, что умирает человек, что умирает великий человек, но шутят с ним, делают вид, будто он выздоравливает, и думают, идиоты, что он этого не замечает! А другие гадалки соображают, сколько им прибавится дохода, когда ты умрешь. А наследники навещают тебя и приглядываются волчьими глазами. Родные, сестра, мать. И у тебя верно мать чудовище... Никому не верь, никому!

— Да неправду вы всё говорите! Меня все любят! Перестаньте вы, что же это такое!

— Ты будешь заниматься своим делом, ты будешь обставлять свой дом, покупать мебель, картины, хвастать ими. А сама будешь знать, что это ни к чему, что твои дни, быть

может часы, сочтены, что перед тобой она, она, смерть! Это единственное что важно, всё остальное вздор. Но люди, безумные люди, об этом не думают. Думают обо всём другом, о вздоре, о чистом вздоре, но не об этом! И вот она появится, она со всей своей грязью, со всеми своими мученьями. И тебя отвезут на кладбище, будут говорить лживые речи, — да хотя бы и правдивые! Да, да, будет слава, будет бессмертная слава, а что тебе в ней, ты не прочтешь того, что они будут тогда о тебе писать. Зато т а м будет пир, пир червей. У них, как у людей, есть богатые и бедные, одним повезло, захватили хороший кусок земли. Но они гостеприимны, они пригласят к себе тех, кто перед ними подличает, пригласят к себе на обед полакомиться: прибыл человек, большой жирный человек! Может быть, ты рассчитываешь на другую жизнь? Не верь, не верь, ее нет, нет, это сказка для утешения людей. Я сносился с духами, ты этого не поймешь, это могут понять гениальные люди, как я или Сведенборг. А что, если и мы себя обманываем? Других ничего, так им и надо. Но себя! Ничего не будет, ничего!

Она вдруг заплакала. Он выпустил ее руку и, тяжело дыша, откинулся опять на спинку кресла, глядя на нее своими страшными глазами. Его лицо было смертельно бледно. Ресницы тряслись теперь беспрерывно.

— Что же это? Что это такое? — говорила она, всхлипывая. — Зачем вы пришли? Убирайтесь от меня вон поскорее! И никаких ваших денег мне на надо... И что выдумали, новость какую! Что люди умрут, что я умру! А разве я и без вас этого не знаю! И неправда, будто ничего не будет. В святых книгах сказано, что будет. А они поумнее ваших... За что только вам деньги платят?.. Вы верно сумасшедший, вот вы что!

Он опомнился. На лице его выступила улыбка. Он тяжело встал и обнял Роксолану. Она его отталкивала.

— Ну да, ну да, конечно, я сумасшедший, ты совершенно права, — говорил он ласково. — Не слушай меня, я всё вру! Вот, возьми еще десять франков, ты мне чудно погадала.

Возьми, возьми деньги, это за твое гаданье. Я всем буду говорить, какая ты хорошая гадалка. Самая лучшая из тех, что я видел, а я видел всех, — говорил он, целуя ее. Она машинально сунула куда-то деньги и стала вытирать слезы. Из передней послышался легкий робкий звонок колокольчика. Он вздрогнул.

— Ну, вот видишь, и еще клиент пришел. Будет заработок, видишь, как хорошо, — говорил он. — И вот что, ты ему непременно скажи, кто у тебя только что был. Скажи, что был Бальзак, великий Бальзак! А я скажу журналистам, они всё обо мне печатают. Они мною занимаются двадцать пять лет, много на мне заработали, проклятые. Терпеть меня не могут, а пишут, пишут... Ну, вот, мы и перестали плакать. Теперь мы улыбнемся, правда?... Так ему, клиенту, и скажи: «Вы видели, кто у меня был? Это был Бальзак, сам Оноре де Бальзак!» И так небрежно скажи, как будто я у тебя бываю каждый день. Можешь даже добавить, что я тебе оставил кошелек с золотом. Нет, этого не прибавляй: не поверят, меня знают. Но он будет поражен и вечером всё расскажет в кофейне. И к тебе повалят люди, видишь, как будет хорошо? И я тоже буду к тебе заезжать, ты мне очень, очень понравилась. Я вас всех, гадалочек, люблю, вы ведь наши собратья, тем же делом занимаетесь, только по иному. А ты умница, у тебя в голове много больше мозгов, чем у дурака Сю.

Когда Роксолана успокоилась, он надел шляпу, взял трость и простился с ней. Она вышла за ним. В передней сидел какой-то испуганный старик. Бальзак и его окинул взглядом, всё в нем заметил и занес в память.

— Я чрезвычайно вам благодарен, — громко сказал он, обращаясь к Роксолане. — Всё было совершенно верно. Я никогда не встречал такой прекрасной гадалки, как вы.

— Благодарю вас. Так до скорого свиданья, мосье де Бальзак, — сказала она тоже громко и действительно самым небрежным своим тоном. Он усмехнулся, одобрительно кивнул головой и вышел.

М. Алданов.

(Продолжение следует)

ТАЛИСМАН

НОВЕЛЛА

Перевод с украинского Владимира Оленченко

Исторический фон новеллы: рейд Тимофея Хмельницкого, сына гетмана Богдана Зиновия Хмельницкого в 1652 году в Молдавию. С целью политического союза Богдан Хмельницкий женил своего сына на дочери молдавского господаря Василия Лупула, Домне Роксанде, но коварный Лупул вскоре переменил ориентацию и начал переговоры с поляками, венграми и турками. Тогда с целью острастки был выслан отряд козаков во главе с Т. Хмельницким, который погиб во время похода, смертельно раненый под Сучавой.

Прим. автора.

I

В черное лето вышел Тимош Хмельниченко из Чигирина. Веял суховей. Поля почернели от саранчи. Кололась высохшая земля. Гудели шляхи под подковами коней. Не цвели барвинки и васильки у дорог. Не звенели жаворонки над балками. На далекий запад, в сероокую, затаенную чужбину мчались Тимошевы тысячи. И когда поил коня в сожженном до тла хуторе, не вытягивая запыленных сапогов из стремян, подала дивчина и ему жбан. Выпил, а джуры за ним запели, пересмехаясь:

...козак коня напував
Дзюба воду брала,
козак коня напоів,
Дзюба заплакала...

А Тимош, не глядя, пил, не отрываясь; мокрые стали выгоревшие усы; вытер пятерней щеку в оспе, опаленный ветрами, грозный и злой поглядел на нее: девка не зарделась как другие, на которых засматривался. Светились ее глаза, блудили ухмылкой губы, может быть проклятой дьяволицей явилась ему, здесь, в этих руинах, на пожарище странной розой расцветши. Так и связалась с полком. В первую же ночь знал как глядится высокая заря в этих ее губящих глазах, как смех ее, словно соловьиный вздох, затихает в шатре, как на губах умирает звон васильков в стоптанной ржи. Мятой-рутой пахла ее разметанная коса. Выгоревший пурпур шатра горел в степи словно парус фелуки, пропавшей в море. В травах пели стрекозы. На ветвях шиповника шептались капли росы. Наклонялось алеющее по краям небо и вздыхала, тяжело дышала сухой грудью высохшая земля.

И тогда коротко, каменно спал Тимош, спал, лежа навзничь, у входа в шатер, головой к багрянеющему восходу. В ярах уже пели дрозды. Синие косатни пили росу, поднимая тяжелые, побледневшие короны. Курухтаны рвались к лёту, били крыльями. Спутанные кони весело ржали в высокой траве, чуя водопой. «Девка словно роса — думал Тимош, — солнце встанет и она исчезает тонкостанная, меркнет словно поздняя зарница, а мне всё равно, шут с ней. Может быть, как ночь над пропастью манит, а днем — околдованная, невидимая. Может быть, зелье-любисток дает пить, ларва-летавица эта, странная такая...». И шел к рыцарям, ступал в стремя и бунчуки реяли над ним.

Дорога, дорога: десять тысяч конников Лупулу в ответ. Грозно гневался отец Богдан, набегала жила на лбу. Стереть бы их молдавских гадов, саблями распахать бы им их Молдавию.

И день за днем переходы и переправы, день за днем гудят дороги, бурей выплескиваются сабли, а за спиной — пожар; мечем и огнем, пламенем и железом их лукавых учить. Тимош, пригнувшись в седле, первым переходил Буг и Днестр, где не было ни переправ, ни мостов, конской грудью разрезал тихий

плёс. Хрустальные брызги разлетались звонко на все стороны. Волна боролась с всадником, русально-зеленая, тянула его в пропасть. А когда выступали на берег, мокрый, словно изваянный из бронзы, ржал жеребец, подарок Тугай-Бея и чмыхал нежными ноздрями. А потом, шли — в галицкую темную ночь, где шепот зорь, где крик сычей. И опять, словно летавица, появлялась Марина. Еще горели обозные костры, еще бандуры весело бренчали, а архипоэт Олизар, наслаждаясь саламахой и оковитой в сулее, плел росказни о золотом фалерне.

В бездну синей ночи катились звезды. Умирали за холмами. Становилось сыро, а тогда расцветала ненасыть Маринина. Разверзалась сожженная днем земля, обрывы и яруги открывались под ногами. В свистящей черноте бездны клокотал искрокол-водоверть. Железными, мутными бурунами лунного потока лилась щедрая юность. Зеленоватые кудри сыростью пахли по полуночи. Нетерпеливые пальцы срывали шелест ткани. Водоверть клокотала. И еще раз, минуя шопот луны, проложившей узкую тропу через черную бездну, плыла русальная волна длинной ночи, пока не блеснет ей за поворотом, не выйдет навстречу улыбающаяся, чистая заря. Тимош вставал; ранний холодок светился на его орлином лице, изрытом оспой, резко выступающем в голубизне утра. А дивчина исподлобья глядела на него. Даже днем дразнил его ее насмешливый взгляд, эта улыбка, порхающая на губах, проклятая, дьявольская усмешка. Тимош шептал заклинания против ведьм-летавиц. Наказывал ему архипоэт: Зенекстон — талисман аугсбургских чернокнижников, Безоар — снадобье против меча, пули и чорта, цидулки из Пассау, хоронящие от навождения. Талисманы были и у отца-Богдана и у полковника Перебыйноса и у многих знатных воинов. Отрывки Евангелия от Иоанна, цвет Эфдаманиллы, Альрауны, капсули с аспидской смесью: глаз волка, козлиная борода, первая девичья кровь, голова летучей мыши, всё по рецепту колдуна Себастиана Шертлина, всё служит против бесовщины.

— Мели, Емеля, — говорил Тимош, — а где взять такое снадобье? Разве чорту душу продать, а она ведь у меня

цепкая, суровая; сам я — железовяз, смерти не боюсь; если мой-выигрыш, так мой, а если костлявая косой зазвенит, то и талисман не поможет...

Архипоэт смеялся:

— Душу ты ведь и так дьяволу продал, а наипаче — дьяволице, околдовала ведь тебя она — вампирица, душу из тебя прочь вынула...

— Молчи — наливался кровью Тимош, — на груше тебя, у дороги битой повешу...

Но талисман долго ему еще морочил голову.

А солнце палило всё жарче. Белее стелились шляхи Покутья, а в голубой дали, когда встать в стременах, видно было как непогасимо горят снеговые вершины — буковинские горы. Шумели зеленые боры. Конные разъезды добывали уже из берендеек патроны, перекусывали патроны, заряжали мушкеты. Выжидали угров и янычарских подъездов.

— Рыцари, мужи — оборачивался Тимош в седле — вот мы Лупула словно кабана осмолим, так теперь козацкая кость наша с боярской, с серебряной ударится, чья тверже — увидим. Неужели ж отцу моему — Богдану, здесь на порубежьях сраму присовокупим?

— Не дождет того враг — кричали из рядов — русской мы земли дети или немецкой? За кованые сабли не бойся, были б головы, чтоб рубать...

И Тимош похлопывал жеребца по лебединой взмыленной шее и глядел, как тропами, над безднами буковинскими, над ущельями растягивается его полк.

А на досуге говорил поэт Олизар ему:

— В начале был Глагол то-есть Логос. Глагол это вечная правда. Что же Жизнь без Глагола? Только тление и гниль. Жизнь без духа это призрак, а дух без Глагола это ложь. На оси сей — Глагола как мудрого духа и Жизни, то-есть, страсти безнадежной вертится весь мир...

II

...Вечна субстанция любви — говорил архипоэт Олизар — ибо, пока на планиде этой пребывает Жизнь, прекрасной химерой рыцарского досуга будет Женщина. Пусть никто не клянется чортом, что не искусит его более видение о сладкой неге плоти. Горечь греха человеку райская радость...

— Всё ведь врет бисов пиит, — говорил Тимош, — ибо мизерная душа льстеца и враля в нем, но что бы он ни говорил, говорит занятно и слушать его не худо...

Ритор киевской Академии, странствующий пиит, архипоэт Олизар, искушенный в слове и в философии, вынув из-под седла истрепанную книжицу любимейшего мастера Альбиуса Тибулла, читал ее на бивуаке, а воины-козаки слушали кругом молча, в звонкой меди латыни силясь уловить смысл субстанции вечной.

— Верьте античным, — говорил, отпивая из сулеи пиит; — никто кроме них не познал мудрости жизни проходящей тенью возле нас. Верь и ты, полководец, ибо хотя и далек ты от щедрости великого Антония или Помпея, жалуя меня лишь полушками и дешевой оковитой вместо золотого фалерна, но суровая душа твоя со временем могла бы окрылиться и проглядеть за мишурой суетного нашего века правду бесконечную, иже в нас самих, тщетно добивающихся совершенства...

— А кто же ты такой, пиит?

— Никто иной как свинья из стада Эпикурова, Epicuri de grege porcus sum, но велением граций и муз видящий дальше и больше чем вы — смертные... Любите жизнь, ибо она вертоград чудесный. Любите вино, ибо в нем искра небесного огня. Любите женщину, ибо в ней тайна...

И так до зари нес бы архипоэт всячину, но тревожно вспыхивали сигналы в горных ущельях и козаки заряжали мушкеты. Взлетали в лунной тишине свистящие клинки и рвались передние лавы к ущельям: гремели, катясь по скалам сброшенные с верхов каменные глыбы, горели подожженные села, звенели, зазубриваясь, сабли и в пышных, шитых тяже-

лым золотом доломанах, с крыльями за плечами, окованными сталью, нападали на козаков отряды польской и венгерской гусарии и схватывались с ними в глубоких ярах или на королевском шляху. Пули свистели, не задевая Тимоша, сабли тупились о его броню под черной буркой, а он врезался во вражеский отряд и сам-треть, сам-четверт, по правую руку имея верных джур, по левую — Марину-летавицу, ужас и смерть нес польским и венгерским панам, турецким янычарам.

Падали возле него бранные друзья, сечевые панцырные товарищи, буйными головами кланяясь сырой земле, засыпая вечным сном в буковинском вертепе; сраженные буздыганами валились из седел молодые сотники и хорунжие, тяжко вздыхали под копытом дикого венгерского коня именитые козаки и отдавали душу Богу; с серебряной, заговоренной пулей во лбу умирали лучшие из тысячи верных, а Тимош, скаля белые, конские зубы, рубил наотмашь панские башки и, словно ястреб, в своей черной бурке, мчался на плечах панов и махал уже дамасской саблей своим конникам, чтобы окружали вражеское племя, заходили с той стороны и рубили в пень, чтобы ни один не вырвался из цепкого козацкого кольца.

Всё дальше и дальше на юг уходя, Тимошево войско всё чаще рубилось с отступающим врагом, рассеивало его в горах и в балках, гнало до поздней ночи под стены старинных турецких крепостей. А содрав с гусарии перья и леопардовы шкуры, золоченые чепраки и медвежьи шубы, навьючив обозных коней магнатским и турецким добром, теряя по дороге цехины и флорины, выпадавшие из прорех, выводили козаки звонкие степные песни и тешились старым вином токайских винниц. Играли, расстелив епанчи, в кости и слушали, строя бандуры, бренчавшие серебряным звоном, думы о Байде и о Дженджуре. Танцевали до упаду и пили, полыхающее синим огоньком вино из михайликов и сулей, растабаривали до зари о грозных походах и сечах, о славном из славных батьке Богдане и о смелом сыне его Тимофее.

Соловей же пел о любви, что неутолима. Марина, в широкой, ушитой цехинами малиновой юбке, прислонясь к шатру,

рассказывала о своем: как стояла Подолия в заревах и татары убегали, волоча с собой ясырчанок, как выли собаки на руинах сожженного села и как цвели вишневые сады в ярах, как пролетала крылатая конница возле колодца с журавлем, а в колодце стонали брошенные и живьем засыпанные ляхами дети и матери, как шел с Полонного страшный народный батько Перебыйнис, как гулял подольскими полями славный Морозенко и как шли кобзари, калики перехожие и старцы, шли на север и на запад поднимать народ против польских панов-кровопийцев.

И еще говорила, как сиротой сидела над прудом, где старый млын и в пруд гляделось озаренное пожаром небо и как венки пускали дивчата по реке, вдоль за быстрым течением и как каждую ночь прилетал к ней змей-перелестник испивать девичью кровь и шептать ей странные слова о зеленой любви.

— Стала и ты сама летавицей-мавкой, — прибавил Тимош, — и сама летаешь, поди, каждую ночь на Лысу гору, тонкостанная ты, кареокая. Не забыть тебя, хотя ветер ты сама и смеешься словно цвет облетает васильковый, а гляжу и думаю: приворожила ты меня, ведьма...

— Не ведьма я, а доля твоя, — сказала Марина, — со мной весь свет перейдешь и не пожалеешь. Доля твоя молодецкая, доля, что ни огня ни клинка не боится, доля, что орел, что молния в летнюю ночь...

Снова загорались огни в полонинах и, приложив ухо к земле, слышали козаки, как гудели тракты от кованых телег, А то уходили венгерские обозы и литыми подковами гремела по камню гусарская конница Ракочия. Тогда отстранял Тимош дивчину и вступал снова в стремя, а архипоэт Олизар, сидя на продранном жупане и чиня гусиное перо, поднимал вверх свои слезящиеся глазки и провожал пролетающих всадников, исчезающих как тени громадных степных орлов в зареве. Пока девка была с полком, не боялся и он ни плена, ни смерти.

III

В Ботошанах, подъехав по улице, выстеленной коврами к дому дуки Василия Лупула, Тимош сошел с коня. Был весь в пыли, обвешанный оружием, в панцыре и в байдане, с рукой на эфесе дамасской сабли. Не снимая шлыка с соколиным пером, взошел на крыльцо. Встреча и приветствие с тестем и Роксандой были кратки и суровы. Что мог сказать им ласковое — лукавому, изменническому семени? То, что вместо верности и союза, вместо хрустального сердца к козакоукраинской матке-отчизне, ко всей русской нации, наконец, к батьку, гетману-самодержцу всея Украины по обе стороны Днепра, извечную подлость купеческих душенок своих изъявляют.

— Вспашем, вспашем вам всю Волощину от Сучавы до Ясс и дальше — к самому Дунаю. Вспламенится, взгорит вся ваша Молдавия. И вспомните тогда, дуки, нашу руку молодецкую. Захотите откушать козацкого хлеба, да поздно будет. Разве не знаете, что здесь порубежья наших владений, что отсюда клином врежемся в Семиград? Вырвемся в широкий мир, европейским нациям подадим руку? Не даром вот уже четвертый год льем кровь нашу козацкую за народное дело, за свободу. Только за то, думаете, чтобы вы нам на дороге стали, кровопийцы? Разве не гремит на весь мир наша республика Вольных, что наравне Риму? Да разве найдется в мире такой заков, такие кандалы, чтобы мы их не разорвали?

— Нет, не на гульню пришло нас сюда десять тысяч конницы, собачьи вы дети, а на то пришли мы сюда, чтобы с вами, подлые душонки, лад сделать.

— И сделаем, — встрепенулся Тимофей чубом, — рука у нас твердая...

Лупул пробовал было раскрыть рот. Тучный, желтый от желчи, наклонив голову в сторону, смотрел исподлобья, неспокойно, на Тимоша. Видно, что-то шевелилось в душе у змеи, но вернее всего — испугался на-смерть, также как и все, стоявшие на крыльце волошские бояре. «Ваша милость...», начал было Лупул, но Тимош нетерпеливо отстранил его ру-

кой. Взошел на высшую ступень, на которой стояла жена Тимоша — Домна Роксанда. Она стояла, отяжелев от броката и парчи, потупив очи. Черные узоры на ее рукавах напоминали о ее монастырской, тихой юности, пунсовый орнамент говорил о грешных девичьих мыслях. Мерно гудели колокола. Георгина выпала из ее белой руки на ковер, когда Тимош взял ее за руку. Домна Роксанда подняла очи и гнев Тимоша прошел, как проходит летняя гроза. Тесть говорил уже смелее, теребя шлык. Что он ничего не знал и не гадал, что он бьет челом господину Богдану и всему воинству козацкому. Дуки и бояре, покраснев от натуги, зашептались в рядах. По ковру бегали желтые зайцы, снежные вершины гор заблестели вдали, колокола гудели.

Тысячи Тимошевых всадников, в панцырях и мисюрках, словно скала, сидели, не шевелясь, на конях, отпуская лишь поводья. Солнце, уходя за горы, заглядывалось в медные шлемы, в кованые брони. Тихо колыхались бунчуки. Каменные заборы налились жаром. Народ вышел, запрудил улицу, подворье, но не шумел: Тимош взял Домну Роксанду за руку и рубины зловещим отсветом заиграли на пальцах в перстнях. Домна Роксанда подняла изумленные брови и улыбнулась:

— Скажи же, пани, — сказал терпко Тимофей, — жданный ли я тебе или нагрянул словно татарин. Скажи правду, не рассержусь...

— А кто же другой более жданный?

— Может быть и найдутся такие.

— Не в этом краю, не в этом подворье — зарделась Домна — хоть и не весьма тобой любима, а на твой зов на конец света пойду, до конца жизни ждать буду... Такой и ты верный?

Тимош усмехнулся и глянул на дорогу, в сизый вечер. Обозы шли за конницей, поднимали пыль, гремели по каменным шляхам —может быть в обозе где то его Марина, эта тонкостанная... А эта — Домна — белоручка, пышнокровная, кажется, не первый раз ее увидел и уже оторопел, присмирел. Да, ну ее к шутам ту, валежную.

...А потом, когда горы и бескиды засинели и расступились, завыли тулумбасы и тонко запели скрипки; замирал цыган-скрипач и тончайшим звучанием бренчали цимбалы. Молодой месяц вышел из-за гор, был по краям алый, налитый кровью. Пир шел горой. Надднестрянское вино — словно из искорок, легкое и прозрачное. В обозе зажгли огни. Облака поплыли словно галеры по фиолетовым раздольям. О сосны бился тысячный гул, а войска подходили и уходили, подтянув подпруги и напоив коней, на Сучаву. Ветер с гор колыхал сосны, в горах же, далеко-далеко, под Выжницей, играли трембиты...

Домна Роксанда сказала:

— Будет уже этого степного гулянья, хватит с меня разлуки; кто один другому дан, вместе живет.

— Такая твоя воля?

— А твоя нет? — хитро, по молдавански, спросила Домна — а может быть, я вам не люба, господин?

— Бачили очі, що купували, — засмеялся Тимош и сдавил ее руку так, что завяла, — скучала ли ты по мне?

А Домна, не глядя на него, только на далекие, огневые горы, в синие леса, ответила: — Земная любовь — только отблеск, обман, сегодня — горит, завтра — ничто. А есть другая любовь, та — высокая, наравне с небесной, та любовь нерушимая, той любви ветер не развеет. Снился ты мне, когда я еще малой была: козак мне судился. Так я и знала, что это моя доля. Может быть доля — горькое вино, что же, и горечью, говорят, пьянеют и тогда горечь сладкой кажется...

— Вещая ты, пани.

И поглядел на нее иначе, не так, как прежде.

Пьяненькие порыкивали бояре, жмурили масленые глазки. Молча сидели козаки, обняв руками сабли и шепшары. Шрамы наливались на лице у товарища Орефы Зарецкого. Иван и Герман Дьяченки — близнецы, хмурились от боярских прибауток, не любили они непристойных речей, ходили словно два монашенка. И Демьяну Федоровичу — писарю и обозному Кирику Архипенко не по душе были лукавые гостинцы, в

глазах у них то и дело вспыхивали огоньки: чего доброго, молдавские змеи и в вино яду подсыпать могут. Столько лет ведь лежали, гады, здесь на солнцепеке, войны и походов не знали, продажные купцы-хитрецы. Ведь они так же любезно и турчинов и ляхов и угров принимали и не станет теперь светлее их подлая душа. Но молчали все, ибо Тимош сидел по правую руку Роксанды.

IV

Архипоэт Олизар не был на пиру. Он лежал на телеге, свесив худые ноги и беседовал с Мариной. Она вышла из полутьмы, из обозного клекота и усмешка ее была словно ветер с гор.

— Вот скажи ты мне, — проговорила тонкостанная, — хорошо ведь играют там скрипки и бандуры. Не плачь, не жалей, что сердце они тебе мучат, ты и сердцу можешь приказать быть каменным. А с каменным сердцем и эту музыку слушать сладко, не правда ведь, ты — юродивый?..

Смеялась, словно плакала и пускала цветочки на быструреку. Не смотрит, нет-нет, а то глянет туда, где подворье и музыка, где пируют бояре с козаками. Шепталась и с конем Тимошевым, а конь лишь прядал ушами и заря скатилась в обрыв, а девка побледнела. Плакали вербы-ивы над шляхом, шумели поля далече, а девка всё по саду ходила.

— Острая дивчина ты, — сказал архипоэт, — а я бы никогда в твою любовь не поверил. Ты — ларва, ты — огонь, ты — русалка, ты — летавица. Прожжешь и полетишь и нет тебя, а что на душе?

— Пепел, скажу.

— Возможно, что из пепла мог бы выпорхнуть Феникс, птица парадиза, — задумался поэт, — но я ведь не верю в парадиз на сей земле. Впрочем, не верю я ни в рай ни в пекло. Я верю только в безнадежную страсть. В человека верю, одержимого демоном, в человека, которому дано небывалое совершить...

— Совершишь и ты, бродяга подзвездный?

— Может быть и совершу — сказал архипоэт, — я ведь чорта давно зову, хотя и шепотом и с тревогой, потому — затопчут, забьют меня святоши. И если не кончу на виселице, то напишу поэму поэм. Кроме этой, нет у меня другой страсти: ни к мечу, ни ко власти державной, ни к любови...

— А что такое любовь? — спросила летавица-ларва и дукаты загремели, запели на ее высокой груди.

Архипоэт посмотрел искоса на серебрянорогий месяц.

— Любовь — заскрипел он, — это флейта ветра, это вздох цветка. Любовь это верность ночи...

— Верность — звонко засмеялась дивчина, — ты веришь в верность?

...Тулумбасы, бубны гудели издалека. Все щедрее разливалось золотистое вино. Когда-то в винницах тяжелели от распаленного солнца, от луча, что как меч, золотые гроздья.

Козаки шли садом-виноградом, растабаривали:

— Свадьбу не справлял в Яссах, так теперь зато гуляет, загуляет еще может быть?

— Этот не такой, у него не Нечаев норов. Нечая, того пьяного в Красном ляхи окружили и так пьяного и накрыли шапкой. Этот не такой, этот в отца пошел: пей, да дело разумей.

— Да, душа не такая...

— А всё одно, говорит, приручила его эта полнокровная. Волошская девка, говорит, уста — сахар, руки белы что твой пергамент, говорит, поведет бровью — умрешь, не устоишь, друже...

— Девка что ни есть хитрая, может прикрутить...

— Он не увязнет...

— Вот дукой в Яссах сядет, тогда и прикрутит. Девка умная, хитрая, орла себе взяла, а с орлом, говорит, на всю Украиноньку паней будет. Не то что в Молдавии. Ого-го, она за умом не пойдет к соседу...

— Да, это не та, с которой в походе забавлялся, упырица эта, тонкостанная...

— Эге ж, не такая она...

И пошли козаки, растабаривая, бряцая оружием, дамасской, венецианской свистящей стали...

— Домна Роксанда — вздохнул снова архипоэт — это Лотос Логоса, ты же, о дивчино Марино, только лишь Роза Жизни...

Хотел еще что-то сказать, но Марины не было возле него и архипоэт, а вместе с ним и Тимош, пышно сидя возле Домны, вспомнил прошлогоднее венчание в Яссах.

...Сладко было в церкви от синего ладана, а с хор текли голубые потоки весеннего полдня, плыло и басовое: Исайя ликуй.

Торжественно служили волошские, светловзорые попы, диаконы и певчие в стихарях вдохновенно выводили канты, а храмина, словно галлион, раскрыв крылья парусов, мерцала яхонтами, золотом, перлами. А Тимофею, стоявшему возле этой девушки, хотелось зевать. Может быть после вчерашней гульни, может быть потому, что лицо девушки проступало из под густого слоя белил и румян смугло-прозрачное и прожилье синело на ее узкой, словно не ее руке. От кадильного дыма тошнило. Хотелось поскорее в поле. Там уже пели жаворонки. Там рос молочай, цвели панычи, чорнобрывцы. Гудением басов содрогались хоры на тонких колоннах. Осыпались голубые дорожки лучей из окон, ближе к алтарю. Холодные были губы Домны. Очи полузакрытые, вся она, эта господарская дочь была сонная, вот почему не мог разгадать, что в ней: презрение, ненависть? Тяжелое платье и нежное кружево чуть слышно шелестели на ней, а сама она, очарованная столетьями царевна, дремала, как и все здесь, на порубежьях, в гневном зное оттоманского солнца.

Не дожидаясь конца свадебного пира, Тимош своевольно, как разбойник, вырвался тогда из Ясс. Играла волна на Пруте, брод был под рукой — лицо загорелось в степном

вихре, отцовская воля была исполнена, а товарищи уже ждали под Бершадью. Опять война и вспыхивают бляхи на конской сбруе и опять дамасская сталь горит в пылу битв. Еще бы только талисман, чтобы пуля не брала, чтобы меч не рассекал.

V

Господарь Василь Лупул пьянел осторожно. Желтоватым казался ему свет, желто мерцали лица охмелевших бояр, желчь кипела в господаре, когда поглядывал на гостей. Водил своей ящеричьей головой и думу думал. Что будет из всего этого? Успокоит он своего зятя, оспой порубцованного, этого козака, который завтра ему, может быть, и Яссы и Сучаву сожжет, как сжег уже буковинские ланы и винницы? А что с уграми будет, с семиградцами? Придет ли обещанная польская гусария в подмогу? Пришлет ли великий визирь своих анатолийских конников или пропадет он здесь — господарь Василь Лупул, на отцовщине своей погибнет, одинокий, всеми покинутый на добычу этой козацкой каре? Хотел не хотел, должен был отдать Роксанду этому андыберу, этому увальню, обгоревшему в суховее и в зное, посеченному в битвах... этому разбойничьему сыну, а ему, брат, пальца в рот не клади: порубал и пострелял немало на своем веку... Это ведь сын того степного орла, что в Чигирине — своем граде сидит, брови сдвинул, кулаком по столу стучит, если не нравится ему что-либо, принимает как властелин, послов венецианских и цесарских и шведских и московских... Да, тверд орешек то, домнулэ Василь Лупул. Есть над чем лоб нагреть, чтобы обе матки сыты были, чтобы со всеми в миру, хотя бы и плохом, жить: и со сватом в Чигирине и с Ракочием в Семиградском Шароспатаке и с султаном Мухаммедом...

...Страшно бояре, круто, дуки. Ведь то, что на Украине крыльями страшного пожара зашумело, вот-вот и здесь загудит, словно огненная хлынь. То, что там, от земли, от плуга

поднялось и здесь поднимается. Рабская кость там смелее стала, будет смелой и здесь. И еще зарокочет на всю округу, на весь регион европейский полыхнет, как вот уже даже под Краковом, в Татрах и на Литве полыхает и не будет силы никакой, дабы сдержать этот вихрь. Ибо валит валом эта мужицкая сила, а ее ведь — океан, вихровей, буря...

Заря упала. Может быть мгновенье еще рдела где-то в ущельи, на лесной тропинке, под ногой у горца-разбойника. Из чащи вышел барс. А сюда ближе, к реке, горели костры гайдаров. Ночь разомлела в гулкой тишине. А пир еще затянется до рассвета. Еще много в подвалах бочек и бутылей...

Пышно вводили в альков, в брачную ночь молодых. На белом запястьи Домниной руки билась синяя вена. Изогнулась черная дуга хитрой брови. Чаровницыны очи блеснули властным отсветом. «Теперь уже не вырвешься, не убежишь, степной бес», шепнула. «Закабалю тебя досмертно» — сказала, а Тимош галантно, словно лях, ответил ей: «В ногах твоих до конца дней моих останусь, пани». И откидывал гневный чуб, оглядывался, может быть, кто-нибудь из товарищей позовет его, а сам не мог идти прочь, такая, видно, пора на него пришла, тяжкая пора для козака и упали силы его, волошской этой девкой плененные.

Темнела ночь. Колыхались ковры. Серебряные тропинки осыпались вдоль Млечного Пути.

— Бесовски играют кочевые цыгане, — сказал Тимош.

— Наученные так уж играть — тихо сказала Роксанда, — сладость же страшная их музыки.

— Пропаду, — вдруг сказал Тимош, — ох, каким же я невольным стал, словно тогда, в Крыму, бывши ханским заложником...

И еще хитрее и еще зазывнее и еще светлее глаза чаровницы загорелись, а там, где остались скрипачи-цыгане, за окнами, за крыльцом тёсаным, вздохнула августовская ленивая ночь.

(И тогда вспомнил Тимофей юность свою. Черные годы, страстные годы, а кровь — полымя. Словно лебединое крыло — плечо у пани Гелены-мачехи, бывшей Чаплинской, той «степной Гелены», за которую, как уже писали рифмоплеты, началась вторая троянская война... Как ревностью кипело его сердце, как дрожал, чуя отцовское подозрение на себе, как крал у него короткие встречи, оставаясь с паней наедине в Чигирине. А она ведь изменила и ему и отцу. Тогда, карая ее, был страшнее отца, даже дивились люди. Собственной рукой повесил любовника пани Гелены на воротах, мстя якобы за позор, учиненный отцу, а ее лукавую, сам за черные косы привязал к дикому коню. И не дрогнуло сердце его, когда молилась, вспоминала и ему любовь его страшную, не знал пощады для нее, хотя могла когда-то одним заломом брови свести его с ума пани-мачеха Гелена Хмельницкая...

А в Роксанде ведь тоже, верно, таился лукавый. Верно еше хитрее была бы она в измене. Тень гаремной тоски дремала в ее ресницах. Вырывалась иногда странная страсть одалиски. Вековая, змеиная мудрость темнела в затуманенном взоре. Кто же разгадает тебя, ангелица?..).

Полузакрытые глаза следили за ним. Слова плыли тягуче, лениво, словно янтарный мед. Молочные плечи целовал месяц. «О чем же ты мне еще раскажешь, друже?» — сонно проговорила Домна. Но Тимош молчал, как и тогда, в зеленые ночи похода. Не та это вороная коса шелестит в пальцах, словно шелковое руно. Не те это очи, темнеющие карими глубинами, эти — чужие, далекие, зеленистые. «Сон к очам моим — лениво проговорила Домна — сон розами пахнет». И сквозь эти розоватые сны, откидывая от себя и так обманную явь, но всё еще чувствуя жар его тяжелых рук, улыбалась, словно увядающий цветок.

В тихой-тихой комнате пахло мёдом. Трещали накаленные во время дневной жары тесовые стены. Мягко вздыхали ковры. Тишина тлела мириадами искр, ткала стены пестрыми орнаментами и не могла вытлеть. И, отпев свое, замолк сверчок.

Домна Роксанда спала. Ковры роняли звездный шопот. Атлас шелестел черным, блестящим вздохом. Калиновые губы целовали уже рдеющие зарницы, падая через щели ставень. Покрывало вышито было златоглавом: выходили оттуда барсы, единороги, львы, зияя пастями-пещерами и уходили в бархатную тишину.

Беззвучно шумели райдеревья и тамариски. Протекал хрустальным руслом, бил бирюзовый ключ. Сквозь стеклянную паутину фонтанов пролетали, радугой просвечивали тяжелые бабочки. За оградой, возле минарета, выплывшего из-за синей дымки, ворковали белоснежные голуби. Домна Роксанда спала.

Тогда внезапно, из тумана опять запахло пьянеющим мёдом. «Э ф д а м а н и л л а,» — прошептал Тимош; его глаза были раскрыты, он не спал. «Это не мёд пахнет, тот ведь прозрачен, а это бесов цветок мутит — дурманит — Эфдаманилла»... «Кто-то ходит по комнате», — сквозь сон сказала Домна. «Нет, здесь никого нет, только мы с тобой», — сказал Тимош. «Кто-то вздыхает и плачет», — сказала Домна. «Нет, это тебе так мерещится. Никто здесь не вздыхает и не плачет». Роксанда заснула, а Тимош вспомнил поэта Олизара. Ведь еще вчера говорил ему о талисмане. Недаром перед походом три монаха перешли ему дорогу. Быть беде. Быть дню. Светало. Тимош поцеловал Домну Роксанду, жену свою и только теперь вспомнил о Марине. Кто же как не она — ведьма, летавица была здесь, в опочивальне. Только она, хотя не видел ее, духом своим странным была и шептала ему: «Пока со мной ты, твоя доля с тобой». «Врешь, — тихо сказал Тимош, — ты — доля моя? Ты — летавица, ночной мотылек, русалка, песнь, ветер — прилетишь и отлетишь, с тобой мне не жить, за тобой не тужить, с тобой лишь пеплом изгореть. Коротка встреча в походе, коротка и разлука...».

Вышел из опочивальни на цыпочках. Не хотел будить Роксанду. Не хотел будить жену свою — пани.

VI

Дым пушек, целуя взрыхленную землю, стелился над канавами. Крепость же на высокой скале висела в синем воздухе, накаленном от зноя битвы.

Тимофей Хмельницкий ступил на контрэскарп, взрытый ядрами; копейные ощепья искололи его; люди лежали здесь густо, от подножья стен крепости до самой долины, до шанцев, люди лежали, цепляясь за острую порыжевшую траву, впивались в последнем издыхании скрюченными пальцами в сухую землю. Утром и до полдня отбили уже два отчаянных штурма. В дымном тумане, вблизи окопов гарцевали вражьи начальники, хриплые и злые их голоса доносились издалека.

Тимофей Хмельницкий взмахнул саблей и вглядывался сквозь дым. Высоко вверху, горело равнодушное солнце, пропекая насквозь байдану и сталь наплечников, до рубашки. Жарок был утренний бой. Тимош вытер с чела лившийся пот.

Не везло ему от самых Ботошан. Кривоприсяжец, хитрая гадина — тесть Лупул таки надумал свое черное дело. Дождался турчинов, угров и ляхов и пособил им ударить коварно в зятево войско. Нежданно напали на него легкие как стаи птиц конники, поджидала его в засадах испытанная янычарская пехота и, запершись в Сучаве, Тимош со своими верными и многими из здешнего простого люда, ставшего на его сторону, отбивался уже который день от врага. Доля ли изменила ему? Зашла ли заря за выжницкие вершины?

Дым пушек осел и канавы вокруг замка блеснули черным, вонючим плесом. Не терпел Тимош осад, не терпел отбиваться в курятнике, а всё равно ведь снимутся собачьи дети там внизу, не взять им никогда сучавской фортецы. Тимош оторвал мешавший ему, отбитый железный рукав и бросил наземь. В солнце сладко пела его сабля. Нет, ломились уже угры, мешкали что-то турчины. Может уже лупили толстому Лупулу спину нагайками лютые польские паны, солгал им, дескать, обещал Тимофея на аркане привести.

Сколько с ним мороки. И третьего штурма не выдержат, сломятся.

— Берегись, Тимофей, — крикнул стоявший со своими молодцами на бугорке Орефа Зарецкий, тоже всматривавшийся в поле, где чернели басурмане и мелькали белые конские бунчуки, — узнали ведь тебя, аспиды, видишь, наводят фальконеты...

— Пускай наводят, меня пуля от роду не берет... А где пиита наш, Орефа, тот что с талисманом мне обещался?..

— Нет и нет Марины в Сучаве, — поднялся из травы поэт Олизар, отдыхавший от полуденной жары под разбитым возом; повелась с цыганами, променяла, сударь, тебя на пана ляхского или на богатого дуку ясского или может быть на знатного пашу турецкого; променял ты ее на Роксанду, променяла и она тебя на другого; может краше, может вернее будет...

— Врешь, поэт — крикнул ему Тимош и опустил саблю; — трубите отбой, в третий штурм идут враги, снимается уже турецкая пехота, набили уже пушки пушкари...

Весело заиграли трубки: «С Богом вставай...».

«...Вставай...».

На стенах и в палисадах поднялись люди, затихшие было после битвы. В белых сорочках, изнывая от солнца, в почерневших кольчугах сверх голой груди, стеной двинулась славная запорожская пехота, а за ней и буковинская чернь, гуцулы в поясах с медными бляхами, в украшенных перьями и цветами шапках, подняв секирки и рогатины, вышли за палисады. Звонко покрикивали сотники. Добрый ответ хотел дать Тимош наступавшим.

А он, стоя с опущенной саблей и поджидая лавы, чтобы вместе с ними, с их песней, уже подрывавшей задние ряды, страшно и весело ударить навстречу снимавшимся с шанцев врагам, в это мгновенье, в этот тихий, онемевший полдень усмехнулся шальному ветру, скользнувшему возле его виска. В ветре был запах горных цветов, никогда не увядавших, цветов, что росли на скалистом уступе, был и запах странной

мути, чудесно дурманящей Эфдаманиллы. Полетел ветер дальше, в золотые степи Надднестровья, на дороги, по которым проходили их полки, в пурпурные, огневевшие ночи походов, в рассветы, что расцветали над яругами вместе с ржанием коней и с лётом стрепетов...

А тогда с валов под крепостью, с турецких шанцев, словно из горна вейнули огнем фальконеты и серпантины. И взрывая землю, простлав над полем сизый дым, загудели чугунные и каменные ядра.

**
*

Тимофей Хмельницкий лежал навзничь, цепко стиснув саблю. Очи его недвижимо глядели в высокую синь неба, а губы под поблекшим усом раскрылись. От странной усмешки лицо его, покрытое порохом, забившимся в шрамы и в ямы от оспы, просветлело.

Поэт Олизар оглянулся. Может быть вблизи была Марина? Но не было ее нигде.

— Не говорил я, — уныло сказал Олизар, — что его элементом был не Глагол, а Жизнь, страсть без конца и надежды. Разве не знал он этого, предав Жизнь самое?..

Тогда жалобно и тоскливо заплакали жоломиги, глухо завыли литавры по погибшем в бою Тимоше Роксандином, Тимоше Хмельницком — герое Сучавы.

А поэт, вздохнув, раскрыл наугад Альбиуса Тибулла элегии — неизменчивый свой талисман.

Юрий Косач

ДНЕВНИК ХУДОЖНИКА

Несколько лет тому назад я переезжал здесь Сену. Стояла необычная для Франции стужа. В оранжевой ауре червонное солнце, уже плавясь, садилось за крыши домов. Среди каменных набережных река медленно текла через Париж из далекого и неясного загородного простора. Казалось, я видел всё это в вечности.

С тех пор меня всегда тянуло вернуться сюда, но всё както не выходило. Теперь, зная, что скоро уеду, я наконец собрался. Июльский день. Забыв о всей опорочившей ее помойной грязи города, преображенная солнцем в драгоценную серебряную лаву, Сена шла, грозно и радостно сверкая, и длинные здания складов на том берегу белели празднично ярко. За ними ровный строй деревьев совсем загораживал дома. Только купол Пантеона виднелся вдали будто среди уже дачной отрады.

В небе цвета океанов на глобусе почти не двигались серые, как перед грозой, но с белоснежными хребтами облака.

Я спустился к реке. После глади асфальта ногам непривычно и неловко было ступать по булыжникам широкой набережной, покрытой сквозной тенью листвы. Разрывая каменную броню, могучие столпы огромных вязов уходили в вышину.

Всегда ноющая мысль о золотушной хрупкости жизни по сравнению с тяжестью и твердостью вещества, и вдруг это чудо дерева — растет из земли такое большое, крепкое. Радуясь неожиданному для меня самого чувству, я с нежностью, точно это был кто-то близкий, уперся ладонью в стоявшую передо мной живую колонну, завернутую в шершавую кору.

На середину реки каменным кораблем выдвигался мыс Святого Людовика. С его высокого парапета свисали космы зеленого плюща. Вздрагивая на струях течения, там стояли

на якорях плоскодонки удильщиков. На них сверху смотрели зеваки.

Справа заслонял полнеба мост. На освещенном солнцем подножии быка спал на спине человек. Жаркие лучи отвесно били в его багровое от пьянства лицо, заросшее так густо, что казалось — это какое-то щетинистое животное вылезло из воды и, по-крысиному осмотревшись, улеглось у него на подбородке; и вот, как с мифологическими героями, со спящим бродягой произошла метаморфоза: низ его лица начал превращаться в бурого ежа. Но блаженно улыбаясь, он продолжал спать, сложив руки на мирно дышавшей округлости живота. Его шея была обмотана грязной, чудесного рубинового цвета тряпкой.

Вдоль набережной стояли баржи и буксиры с высокими черными трубами, опоясанными красными кольцами. Пахло крашеным, нагретым на солнце железом.

Уже разомлев от светлого жара, я шел около воды, чувствуя сожаление о моей неудачной жизни и какую-то бесконечную унылость и счастье безумного ожидания, что здесь, на берегу реки, мне откроется таинственное объяснение всего.

Навстречу мне, крича и смеясь, двигалась шумная квадрилья по-воскресному принаряженных молодых лавочников с их подругами. Подвыпившая смазливая девица, в узкой юбке и в задорно заломленной над белокурыми локонами шляпке, с хохотом отбивалась от норовившего ее облапить кавалера и ломая в коленях ноги, неверно, как на ходулях, бежала на высоких каблуках по булыжникам набережной.

На них и на меня из рубки катера, скучая, смотрел кочегар в грязном тельнике, с худыми вымазанными сажей руками.

Скоро за сгибом реки стал виден другой мост, а за его железными арками, еще один, по которому высоко в небе, катили игрушечные вагончики метро.

Дойдя до конца набережной, я поднялся по лестнице в крохотный садик, где сидели няньки с детьми, и старый араб внимательно наблюдал, как, забыв весь мир, целуется парочка. Обнимая милого за шею, бедная толстоногая изольда так вос-

хищенно тянулась к нему, что ее тяжелый, плотно обтянутый черной юбкой зад приподнимался одним боком над скамейкой.

Скашивая садик, проходило под мостом метро. Было даже видно начало выгнутого перона станции, казавшейся, несмотря на близкое расстояние, какой-то маленькой, словно я смотрел в перевернутый бинокль.

Ниже, под обрывом берега, в реку выходило устье канала. У самой воды, как Фидиева Парка, опершись на локоть, лежала, похожая на цыганку женщина. Синий цвет ее дырявого платья очень хорошо сочетался со смуглостью кожи голых рук и шеи. Над ее лбом курчавилась нечесанная копна перепутанно-свившихся коротких черных змей. Положив ей на колени голову, спал молодой бродяга. Под его локтем блестела пустая бутыль.

Я перешел на другую сторону моста. Отсюда канал был виден во всю длину, до самой площади Бастилии. Бронзовая колонна, увенчанная золоченым летящим гением, восхитительно изящно зеленела там в бледнолиловом небе.

У плотины тяжело хлюпала вода, еще более грязная чем в Сене. Казалось невероятным, что здесь могла водиться рыба. Между тем всюду сидели удильщики. А какая-то старуха даже черпала эту прокаженную воду ведром и выливала ее в бидон, стоявший рядом в облупленной детской коляске. У ног старухи жались друг к другу две старомодные, на тонких ножках, худые и грязные моськи.

Я отвернулся и стал смотреть, как корму баржи, причаленной у другого берега канала, обтекает вода, совсем желтая и всё-таки еще в какой-то степени прозрачная. В ее колыхании, полощась широкой оранжевой лентой, просвечивало в глубине под черным бортом красное брюхо баржи.

Когда я опять посмотрел на старуху, она уже кончила набирать воду и, толкая перед собой коляску, с остановившимся взглядом, поразившим меня выражением отчаяния и ненависти, шла к выходу. Обе собаченки сидели теперь в коляске, рядом с бидоном.

Не доходя до Бастилии, я свернул налево в незнакомую

пустынную улицу, добела освещенную солнцем. Передо мной шли двое. На женщине был пиджак, вроде мужского, и суконная юбка, не закрывавшая голых кривых икр, а на мужчине белый картузик, американская солдатская куртка, штаны в полоску. Обутый в рваные парусиновые туфли, он ступал легко и бесшумно. На мгновение обернувшись испитым с извилистыми серыми губами лицом — тюрьма, дисциплинарный батальон — он внимательно посмотрел на меня неулыбающимся, по-звериному простым, спокойно настороженным взглядом, потом бровью показал женщине на что-то лежавшее на земле, и она нагнулась и подняла окурок. Тогда, чуть толкнув ее локтем, он перешел на другой тротуар, и так они шли дальше, подбирая окурки каждый на своей стороне.

Скоро я вышел к заколоченному готическому особняку, где когда-то веселилась королева Марго, неверная жена Генриха 4-го, которого я любил больше всех других французских королей.

Здесь, на «Болоте», между Сеной и прелестнейшей в мире Королевской площадью, жила в те времена французская знать, а теперь на пустырях между обвалившихся стен, гортанно перебраниваясь, стояли кучками арабы с беспокойным взглядом темных глаз.

Погибшие дома, жизнь людей...

Нелепый воображаемый разговор происходил между нами. Они просили меня спасти их. Спасти от чего? От прихода большевиков, от гибели вообще, неизбежной со временем под этим пустынным небом, а я собирался ехать, бежать, оставить их, бросить на произвол. Я говорил: «ведь это глупо, в этом огромном городе, с его вековой славой и где столько ученых, писателей, министров, банкиров, почему именно меня, нищего, рассеянного, они просят. (Я даже по-французски плохо говорю). Мне очень жаль, но как я могу избавить их от смертельности существования».

Я видел Париж будто спящим на какой-то немыслимой меже. Казалось, там, за самым краем, начинало брезжить что-то, но было трудно рассмотреть, а от стен домов, от каменных плит

набережных и светлых, с ободранной кожей платанов, с дрожащими на ветру и солнце листьями, из-за каждого угла, из неясных далей поперечных улиц веяло такой тоской, что я не мог дальше думать — мысль странно размякала.

Вдруг я вспомнил, что в прошлую пятницу было 14-ое июля, и, значит, сегодня еще праздник. Я поехал в Латинский Квартал. Там будет весело: студенты, танцы.

На Сан-Мишеле еще стояли помосты для музыкантов и висели цветные фонарики. Но танцующих не было и музыка не играла. Праздник кончился.

Мне хотелось осмотреть перед отъездом весь Париж. Вернусь ли еще когда-нибудь? В свободные дни я бродил по городу с утра до наступления сумерек. Во время этих прогулок ничего не происходило. Но, по мере того, как я всё дальше углублялся в заколдованный сон безлюдных по праздникам улиц Сен-Жерменского Предместья, их тишина неприметно входила в меня, и я возвращался домой умиротворенный, полный грусти и восхищения. Здесь, во дворах за высокими воротами, было много старинных, желтых, и бледно-лиловых, и из серого камня особняков, занятых теперь посольствами, музеями, разными учреждениями. Когда мне встречались старые дамы в нитяных перчатках и в шляпках с вуалями, я каждый раз думал: это какая-нибудь обедневшая мадам де Германт, и я ждал, что сейчас проедет в своей виктории бессмертный прустовский Сван, с лежащей у него на коленях, «как любимое животное», мыслью о свидании с Одетт.

Однажды я вошел во двор незнакомого монастыря. За этим первым двором был сад, отделенный от города высокой каменной стеной. Между газонов, расшитых пестрыми крестиками цветов (издали на зеленом отчетливо выделялись только кораллы гвоздик) в золотой славе заходящего солнца, будто уже в раю, прогуливались по дорожкам монахи. Я не посмел войти.

Я даже съездил в Фонтенебло. Еще издали завидев неровные постройки дворца, я почувствовал волнение. Торопливо и жадно оглядывая дома и лестницы, я прошел через внутренний двор. Дальше, за оградой дворцового сада, открывался вид исполненный невообразимого очарования, — зеленый луг, зеркальная светлость воды в прямоугольном пруде, деревья, облака. Я чуть не заплакал от щемящей радости. Точно там была другая действительность, всегда снившаяся мне, но которую я не мог вспомнить.

Что я делаю, зачем я уезжаю отсюда — подумал я с тревогой, — нигде не будет такого неба, как над Францией.

Мне часто вспоминался потом этот сновиденно-прекрасный пруд. Я даже хотел поехать туда с мольбертом и красками. Но я знал, что мне не под силу будет написать, как нужно. Вот Амброзио Лоренцетти, мне думалось, тот смог бы. А у меня всё получится грубо и мертво.

Однажды Багрянов, хорошо продававший свои картины (он сам про себя говаривал: «я не неудачник»), спросил меня: «почему вы всё пишете воду?» В замешательстве, я стал что-то невнятно объяснять. Тогда он глумливо усмехаясь: «Да, но уже один художник, Айвазовский, этим занимался». Я и сам понимал, что у меня нет таланта, особенно, когда с завистью думал о картинах Багрянова. Правда, сквозь их поэтичность проглядывало что-то мошенническое, но с какой неистощимой находчивостью он сотворял всё новые оттенки зеленого и красного, и какого-то жемчужносиреневого. А я ни одной картины не кончил по-настоящему. И всё-таки я всегда думал о себе — художник. Залог тому я видел вот в чем. Я гуляю по набережным или в городском саду, и внезапно всё вокруг кажется освещенным каким-то особым магнием, то есть ничто не менялось внешним образом (только, пожалуй, трехмерность объемов становилась ощутимее), но раньше я смотрел, и всё это мне ничего не говорило, а теперь в странном головокружении я видел существова-

ние ландшафта, как видишь лицо женщины, поднявшей вуаль. Было что-то ошеломляющее, невместимое, нечеловеческое в его безразличном к моей жизни сне, и в то же время там присутствовало неделимое на молекулы и атомы, одушевленное единство, и красота, и таинственный благостный покой.

Мне даже чудилось иногда, что мир полон ожиданием кого-то любящего, кто должен был явиться, или, вернее, уже пришел, всегда был.

Я испортил себе карьеру, пытаясь написать красками всё, что я чувствовал в эти мгновения. Получалось неразборчиво, размазанно. Но я надеялся: усилие сосредоточиться поможет мне увернуться от небытия. Нужно только внимательно всматриваться, ничего не выдумывать, только стараться, как можно точнее писать, что видишь.

Но я быстро уставал. Сначала мешало волнение и какая-то торопливость, а потом вдруг рассеянность, полуобморочная слабость. Я больше ничего не мог.

Рассудок говорил мне, что мое мечтание ни на чем не основано и лучше бы заняться чем-нибудь полезным, но я знал, что без этого, пусть и не сбывающегося предчувствия, всё стало бы бессмысленным и страшным.

Потому-то я так и боялся, когда думал о возможной большевистской оккупации Парижа. Не только допросы и концлагеря, но устроят их ненавистный мир без отдушин, и будут мучить до тех пор, пока больше не останется сил надеяться, что есть что-то другое.

Мне часто снилось, что я попадаю в лагерь к немцам или к большевикам. Эти сны всегда сопровождались чувством ужаса и страстным желанием освободиться, спастись, проснуться.

Один из таких снов я хорошо запомнил. Мглистый свет, как в подземельях метро. Но мне доставляло удовлетворение, что даже на моих снах отражались влияния искусства. Улица, в которую я свернул, напоминала городские пейзажи Эдуарда Мунка.

Я знал, что на этой улице идет какой-то замечательный, непохожий на все другие, фильм. А вот и кинематограф. Слава Богу, не заблудился в этом незнакомом городе, куда я только что приехал, но где я жил когда-то давно. Это был Константинополь, Пера, и в то же время, всё-таки, Париж.

Я вошел, забыв посмотреть на афишу у входа. Вдруг сомнение — туда ли попал? Вернуться проверить? Опасно. Пока буду ходить, образуется большая очередь, и я не получу хорошего места — у кассы толпа. Но к моему удивлению, когда я приблизился передо мной оказалось всего три-четыре человека. Я посмотрел почем билеты: дешевле ста не было, а самые дорогие, балкон, за 220. Верно, и вправду фильм необыкновенный, что так цены повышены. Я решил взять за 200, в партере. Только кассирша дала мне почему-то стофранковый. Я пошел в зал, тревожась, будет ли хорошее место и в то же время радовался, что сберег 100 фр.

Зал был огромный, плохо освещенный. В вышине стены и потолок терялись в полумраке. Во всех рядах сплошь бледные пятна лиц и темные плечи — ни одной пустой ячейки. По моей просьбе билетерша посадила меня у прохода. Но оказалось, проход был вовсе не по средине зала, как я думал, а сбоку. Я подозвал билетершу и заявил, что хочу пересесть. Она сделала недовольную гримасу: «Тогда нужно доплатить».

Пока она ходила за добавочным билетом, я высматривал где были пустые кресла. Я боялся, что все еще свободные места займут или сеанс начнется, прежде чем она придет обратно.

Наконец, она вернулась и со смехом протянула мне билет. Но что-то дешево, за 30 франков. Значит, всего я заплатил столько-то, а хорошие билеты стоили... Но я ничего не сказал. Она повела меня и, к моему возмущению, показала место в первом ряду, у самого экрана. Когда она ушла, я самовольно пересел и только тут понял мою ошибку. Тот ряд, в котором она хотела меня посадить, был вовсе не первый, а последний — экран находился, на самом деле, с другой стороны. Тогда я заметил еще одну странность: кресла первого и второго ряда стояли друг к другу спинками, и так же кресла рядов третьего

и четвертого и всех остальных. При этом, сидевшие в нечетных рядах, первом, третьем и дальше, могли поворачивать свои кресла и смотреть вперед и назад, но кресла четных рядов не поворачивались, и занимавшие их зрители должны были весь сеанс оставаться спиной к экрану. Но они не протестовали: сидят спокойно и неподвижно, в торжественном молчании (один — худой, высокий старик).

Впоследствии, когда мне представлялись их поднятые лица, я вспоминал, что они сидели так в тишине, ожидая начала вовсе не фильма, а события несравненно более важного: кто-то должен был придти и показать им, как будет после смерти. Но тогда меня не это занимало. Я говорил себе: я-то сижу лицом к экрану, а как они сидят, это их дело. Только экран для такого большого зала был слишком мал, и я сидел сбоку. Нужно бы в середку, но там были все места заняты, и как раз против экрана растет большое дерево. Его черный виловатый ствол должен заслонять сидящим около почти весь экран. Я в первый раз видел, чтобы в кинематографическом зале росли деревья. Но это был особый кинематограф — огромный ангар. Когда его строили, решили не рубить деревьев. Его надстроили над ними, как оранжерею.

Электричество в зале еще не погасло, а уже заиграла музыка. На засветившемся экране стали сменяться заглавные надписи, напечатанные, как это часто делается, на кадрах фильма: жандармы в джунглях, преследуя каких-то повстанцев, бегут, стреляя, и на смерть затаптывают ногами лежащих на земле людей. Я смотрел с беспокойством и удивлением. Не ожидал, что будут показывать такое, эту недопустимую безжалостность убийства — ведь нельзя поправить. А погодя открылся вид на внутренний двор тюрьмы. Посредине двора проходила канава, кишевшая маленькими и большими крокодилами. Другие крокодилы проворно, как ящерицы, лазили по деревьям и висели на ветвях, отвратительно шевелящимися гроздьями. В одном фильме я уже видел тюрьму, окруженную рвом с крокодилами. Но там не было такого множества. Я не знал, что так бывает.

Всё время открывалась дверь и тюремщики выпихивали на двор совершенно голых заключенных. Это были еретики, преследуемые инквизицией, или, кажется, политические преступники. Тюремщиков было трудно рассмотреть. Как всегда в моих снах — не то немцы, не то большевики. Вернее, немцы, при более внимательном вглядывании, превращавшиеся в большевиков, или, может быть, наоборот, большевики, превращавшиеся в немцев.

Преступники должны были пробежать по доске, переброшенной через канаву. Многие срывались и падали, и было хорошо видно, как крокодилы их пожирают — на дне была не вода, а только черная, разжиженная, липкая грязь. Те же, кому удавалось перебежать, проносились через двор и одним духом вскарабкались, почти вбегали по стволам деревьев, испуская сумасшедшие, будто торжествующие вопли. Но напрасно они думали спастись. Их там разрывали на куски крокодилы, висевшие на ветвях.

Я смотрел в неприятном смущении. Голос диктора вещал: «Вот закон жизни: надежда, борьба, всё уничтожающая, беспощадная смерть, и ничто не может этого изменить».

Нет, так не должно быть — говорил я себе со страхом, и словно в ответ голос другого диктора стал рассказывать.

— Но рядом в монастыре жил католический священник и 28 молодых девушек. Они решили, что нельзя допустить торжества зла и смерти, и они сделали, что смерти больше не стало.

Это было замечательно, но и сквозь сон я чувствовал недовольство готовой поэтичностью образа девушек, и почему священник католический, да и крокодилы... К тому же со сновидением начало что-то делаться: оно неудержимо распадаясь и дервенея, бледнело теперь, как высохшая на песке медуза. Я знал по опыту, что насильно не вернуть его прежнюю жизненность. Тогда священник, продолжавший руководить действием, — теперь он не был таким старым — не оборачиваясь в мою сторону и не открывая рта, сказал мне, пробегая мимо, что всё это было условно, приблизительно, взяли первое по-

павшееся (нужно было спешить), но вовсе не в этом дело...

Тут вдруг произошло необыкновенное. Экран теперь был вовсе не маленький и не далекий, а раздвинулся в стороны и вверх, и одновременно я плавно двинулся на моем кресле ему навстречу и въехал в него, и вот уже лежу грудью на стене монастыря, где жили этот старый аббат и девушки, и оттуда смотрю на двор тюрьмы. Эта перемена местонахождения сопровождалась ощущением прохлады и радости, почти блаженства. Я теперь понимал, почему говорили, что этот фильм особенный, и почему так дорого стоили билеты. Но как же это было устроено? Ведь не я один, а каждый из тысяч сидевших здесь зрителей, должен был так переехать в экран.

А монастырь был старый, тех веков, когда в Европе еще умели строить. В чудной радости я смотрел как по моей воле возникают прекрасные и строгие, достойные Мансара, очертания монастырских зданий.

Но сон о тюрьме продолжался. Теперь уже женский голос говорил: «Я родилась в Одессе и видела ужас немецких и советских концлагерей. Это не люди, не было меры их жестокости».

На этом я проснулся, почему-то думая о том, как страшно должно быть человеку, которого раздавливает что-то чудовищно тяжелое. Ведь и со мной это может случиться: буду переходить улицу и наедет автобус.

После таких снов во мне еще больше укреплялось решение ехать, вернее бежать в Америку.

Уже была глубокая осень и давно кончились мои прогулки по парижским улицам и окрестностям, когда в одной новой книге о живописи я увидел воспроизведение картины Ренуара: "La Grénouillère".

Солнце. Река. От опрокинутых тополей вода совсем зеленая, и в этой зеленой густой воде, в колыхании золотых бликов купаются люди и плывут лодки.

Над книгой чудесным миражем вставало всё счастье загородного рая, вплоть до памяти о запахе теплой воды, чуть плещущей у покрытых тиной свай.

Я смотрел с восхищением, как в распахнувшееся окно. Родимое, желанное лоно света и воды. Там, на круглом помосте, толпились мужчины в котелках набекрень и женщины в голубых и розовых, освещенных солнцем платьях. Я сразу узнал, с первого взгляда (летом с детства поездки на дачу и столько раз снившийся сон о каком-то празднике на берегу реки или моря).

В тексте под картинкой говорилось, что Мопассан не раз описывал "La Grénouillère", знаменитое в то время увеселительное место на Сене, на острове против Круаси. Я нашел один из таких рассказов. «Над этой толпой плыл запах пудры и любви». Правда, дальше Мопассан прибавлял: здесь смердело глупостью, приказчичьей галантностью, чем-то полупочтенным, и здесь дрались из-за одного неосторожного слова, но удары шпаги и пистолетные пули только еще больше продырявливали сомнительные репутации.

Как грустно было читать. Значит и тогда, даже в этот летний, светлый, благословенный день люди готовы были убивать друг друга с такой же, как и теперь, подлой безжалостностью. И, всё-таки, это был сказочный золотой век, когда Европа не знала, что ее ждут впереди чудовищные войны и чудовищные революции, газовые печи, концлагеря и рабство. Это было еще до Франко-Прусской войны.

Однажды, в ожидании автобуса, я рассматривал карту на стенке станционной будки, и вдруг, по близости от Тургеневского Буживаля, увидел на длинном узком острове надпись "La Grénouillère". Неужели существует еще и теперь? Такое же невероятное, чудесное открытие, как если бы мне сказали, что рядом с моей комнатой в отеле находится вовсе не другая, такая же нищенская комната, а сказочный дворцовый зал,

и там устраиваются по вечерам костюмированные праздники.

Этот остров я должен был бы хорошо знать: несколько лет тому назад каждый день проезжал мимо в автобусе.

Но, странно, мне вспоминались места совсем непохожие на картину Ренуара. За обваливающимися оградами, среди кустов и деревьев парка, беспорядочно разросшегося по склону горы, редкие, большею частью заколоченные дома. По другую сторону дороги — Сена. Деля ее на два рукава, там долго и скучно тянулся, будто сопровождая бег автобуса, невысокий остров. Это и был, оказывается, тот самый, а я ничего не знал.

Тогда только что кончилась война. Я был демобилизован из французской армии, и не решив еще, что делать в жизни, служил ночным сторожем в гараже недалеко за Буживальской плотиной, около которой постоянно были причалены баржи и пароходики, совсем как у Сизлея.

Я хорошо помнил этот гараж. Тусклая лампочка под потолком, столпившиеся в полумраке огромные грузовики, железные бочки, стены без окон. Снаружи ночь, тишина, будто все умерли, а по средине, освещенная этой лампочкой, захлебывается от лая собачка. Отдача звонкого отрывистого тявканья дергает ее голову кверху, и ее тельце упруго подскакивает сразу на всех четырех лапах. Я смотрю и думаю, что если любовь, сознание, всё доброе разлито в мире подобно солнечному свету, то это прыгает на каменном полу маленькое четвероногое солнышко. И, всё-таки, я досадывал на нее, не понимая, почему она так лает и при этом всё смотрит в потолок. А потом оказалось — это воры пытались в ту ночь влезть через крышу.

Еще мне вспомнилось: вот я встаю и иду в обход. Муся, так звали собаку, вздохнув вылезает из картонки, в которой мы устроили ей постель, и покорно плетется за мной. Она семенит немного сзади и сбоку, и я ее не вижу, но мне слышно сопровождающее меня легкое постукивание ее шажков.

По утрам она просыпалась раньше меня, но не смела встать, пока я спал. (Нам, ночным сторожам, это не полагалось, но мы украдкой «отдыхали»). Открывая глаза, я видел,

как подняв голову она выжидательно на меня смотрит. И едва я пошевелюсь, начинала вылезать из коробки. Но по тому, как при этом у нее были виновато прижаты уши, я чувствовал, она понимает, что я не собираюсь еще вставать, а только так пошевелился. И всё-таки, несмотря на страх каждую минуту услышать мой сердитый окрик, она, сгорбившись с несчастным, необыкновенно смешным видом, упорно продолжала продвигаться сторонкой к выходу, и только у самой двери, почему-то считая, что теперь выиграла, распрямлялась и, независимо махая хвостом, оглядывалась на меня с таким веселым и дружеским выражением, что мне приходилось вставать с койки и идти отворять ей дверь.

Мечта о "La Grénouillère" и воспоминание о Мусе странно соединялись в неотступном желании опять побывать в тех местах, попрощаться перед отъездом. Стоял холодный дождливый ноябрь. Я всё-таки поехал.

Слез с автобуса у Буживальской плотины, и с бьющимся, как перед свиданием, сердцем, перейдя по мосту на остров, стал осматриваться. Вот сквозь кусты виднеется что-то вроде фермы, даже дым идет из трубы, и тем не менее какая во всем забытость и как печально здесь было и сыро, пахнет перегнившими листьями.

Я долго брел вдоль берега. Моросил дождь, ноги разъезжались по размокшей глине тропинки. В ветвях вязов и в зарослях лозняка с унылым и грозным гудением проносится ветер. По пням, торчавшим на обнесенной колючей проволокой поляне, было видно, какие большие деревья росли здесь прежде. Верно тот парк, о котором писал Мопассан.

Наконец, я дошел до места, где тогда находился перевоз. У самой воды, желтой и мутной, покрытой у побурелых камышей накипью грязной пены, выступала из-под обрывистого берега заплесневелая каменная плита. Я смотрел с неясным волнением. Вот всё, что осталось от "La Grénouillère", от

всей беспечной, празднично шумевшей здесь жизни. А недалеко от этой плиты, похожей на кладбищенскую, с ветки наклонившегося над рекой вяза, свисал, раскачиваясь на ветру, толстый оборванный канат, непонятно для чего повешенный тут какими-то людьми.

Вода шла быстро, будто торопясь куда-то, журча и петляя кругами, и мгновениями казалось, что остров тоже движется, плывет, и я, как на спине огромного змия, поднимаюсь на нем против течения к сердцу средневекового Парижа — к далеким отсюда башням Нотр-Дам.

Мне было грустно. Обернувшись я увидел на левом берегу туманный за кисейной завесой дождя холм Святого Валерьяна. Там в 42-ом году немцы расстреляли моего друга. Своим бесстрашием он вызвал восхищение даже немецких судей. До сих пор я не мог привыкнуть к мысли, что больше никогда его не увижу. Случалось, в толпе мелькнет светло-русая, как у него, голова. Это он. Но сейчас же я вспоминал: его нет в живых, и он больше никогда не сможет научить меня, как перестать бояться.

Обойдя весь остров, я вернулся в Буживаль и уже в сумерках дошел до гаража. Заколоченный, неосвещенный он поджидал меня, сутулясь одинокой неясной громадой. Вокруг ни домов, ни огней, только сады, тонувшие в приливе наступавшей темноты. А на повороте шоссе трагическим хором стояли деревья. Испуганные убийством, которое, казалось, должно было здесь совершиться, они скорбно поднимали к небу оголенные ветви. Как в романе приключений времен Рокамболя, тело бросят в воду, никто не узнает. Внизу, под скатом берега, укрытая белесым туманом, словно остывая и дымясь, Сена текла глубокая, холодная и страшная.

Всё было тихо, пустынно. Только автомобили, вдруг вспыхивая желтыми глазами, возникали из глубины ночи и, как яростные псы Актеона, с протяжным воем неслись по дороге. В качании стремительно бегущих перед ними снопов неживого света, мелькали, призрачно на мгновение озаряемые, обломки сонного ландшафта.

Я подошел к дверям гаража. Он оказался приземистее, чем в моих воспоминаниях, а по бокам фронта вовсе не башенки, как я думал, а цементные цилиндрические вазы. Я знал, что, если я войду, мне не бросится навстречу Муся. Как она радовалась, когда я приезжал. Почти ползла на животе, повизгивая от любви и счастья. А между тем, я не сделал ей ничего хорошего.

Этот гараж я стерег по очереди с моим приятелем Жоржем. Одну ночь он, другую я. Вокруг гаражи часто грабили. Вот мы и решили обзавестись собакой, чтобы нам было спокойнее.

Собаку привез Жорж поздно вечером. Я почувствовал разочарование, когда ее увидел. Нам был нужен волк, защитник, сторож, а не такая, величиной с фокстерьера. Правда, плотнее, вроде свинки. По чистенькой белой шерстке бархатные черные пятна. Я спросил Жоржа, как ее зовут.

— Муся.

В то время я еще не отошел от впечатлений военных лет. Да уже и раньше мне приходили в голову дурные мысли. Однажды, еще до войны, я был летом в Монако и осматривал музеи. В археологическом на полках, какие-то обглоданные головы с длинными, точно приклеенными войлочными космами. Из пустых сгнивших глазниц будто бы еще следил злобный взгляд, подстерегающий в зарослях врага или жертву. В отдельном стеклянном ящике мумия ребенка. Болезненно наморщенный лобик, щель кривого рта, полного больших желтых зубов. А в аквариуме лентообразные пятнистые рыбы проплывали, виясь по змеиному, или высовывались из гротов, качая головами, увенчанные омерзительными наростами, и всё время открывали пасти.

С тех пор мне часто мерещилась чудовищная скука какой-то кромешной ночи, где всё живое кишело в свирепом сладострастии убийства и пожирания.

Но всё это никак не вязалось с простодушным существом, стоявшим на полу у моих ног.

Муся вопросительно смотрела на меня, чуть наклонив голову набок, и в ее сплошь темных глазах, ярко блестевших под желтыми бугорками бровей, всё задорнее разгорались веселые точки света.

Забыв о моем разочаровании, я, присев на корточки, с благодарностью стал обеими руками гладить ее крепкое, мускулистое, ходуном ходившее тельце. Тявкая от радостного возбуждения, она теперь прыгала на меня передними лапами, упиралась детскими ручками.

От нее пахло отсыревшей в ночном тумане шерстью.

Муся недолго с нами прожила. Это случилось в дежурство Жоржа. Когда он сходил с автобуса, Муся бросилась через дорогу ему навстречу и попала под колеса вылетевшего из-за поворота грузовика. Жорж мне рассказывал потом, что когда он подошел, раздавленная Муся потянулась к нему головой и умерла, смотря на него со своим всегдашним выражением любви.

Мы завели другую собаку, но я не мог к ней привыкнуть. Вскоре после этого я бросил службу в гараже.

Печальное возвращение в Париж. Почти пустой автобус, раскачиваясь, мчался по плохо освещенной дороге, тянувшейся среди заборов и черных под дождем садов. Я убедился теперь, что "La Grénouillère" давно не существует, было глупо надеяться, и мне всё вспоминалась Муся. Я не мог понять. Ведь все собаки преданы и любят своих хозяев, это у них родовое. И значит, никакой заслуги тогда у Муси не было, вообще ничего личного в ней не было. Но вспоминая, с какой радостью она меня встречала, я чувствовал очевидную неле-

пость этой мысли. Или другое мусино выражение, какое-то робкое, когда она снизу, исподлобья на меня смотрела, точно прося прощения, что не умеет говорить. Не был же этот полный любви взгляд только отражением механической игры условных рефлексов? Нет, это смотрела именно Муся, всё ее обособленное, маленькое, живое существо. Я не мог в этом сомневаться.

В марте я уехал в Америку.

Чайки летели совсем близко, их можно было хорошо рассмотреть. Лапки аккуратно поджаты, туловище — клювастый болид. Они, то гнали, отчаянно махая крыльями, и горбясь, то вдруг, не шевеля раскрытыми крыльями, неслись в планирующем полете с такой же быстротой, как когда махали. Зорко высматривая добычу, поворачивали голову направо и налево.

С парохода, откуда-то снизу, из камбуза, выбрасывали остатки еды, кожуру, коробки. Всё это уносилось в бурлении пенистой дороги, до самого неба тянувшейся за кормой широким царственным шлейфом, и чайки, рябя хлопанием множества крыльев, садились там на воду. Они не дрались, но часто, когда одновременно две устремлялись вниз, одна толкала другую крылом.

Севших на воду чаек быстро относило вдаль, а другие с криком продолжали гнаться за пароходом, налетая почти на самый флагшток. Я заметил, что у одной на крыле, как на старом вытертом веере, почти совсем не было перьев. Она махала этим скелетом крыла, но верно ей было трудно летать. А больные и старые чайки, которым больше не под силу добывать еду? В суровости холодной бездны воды и воздуха не было места, где они могли бы отдохнуть, где кто-нибудь пожалел их, накормил, перевязал раны. Они ничего не могут друг для друга и их ждет только смерть.

Вечером, уже в сумерках Англия. Не подходя к пристани, остановились на рейде принять пассажиров. Потом пароход прошел обратно между двумя какими-то древними башнями-маяками. Волны, теснясь, плескались, ожесточенно бились вокруг их подножий. Пароход шел всё быстрее. Справа тянулась брильянтовая нить огней берега, скрытого туманной чернотой ночи. Мы покидали Европу, несчастную, преступную, погубившую свою христианскую цивилизацию в ужасе тотальных войн и тоталитарных режимов.

Волны и чайки. Безумные предприятия людей. Безумное предприятие жизни на земле.

Почти всю дорогу, как пьяный разговаривая с самим собой, я в волнении ходил по палубе. Чем больше я вглядывался в волны, тем сильнее чувствовал, что никогда...

Завтра мы приедем. Мне вдруг стало страшно. Зачем я еду, что буду там делать? Я видел теперь ребячество надежды, что в Америке я смогу продавать мои картины. Нет, нужно будет работать как все, «устраиваться», зависеть от каких-то людей, бросить живопись. Но я не могу жить без живописи...

Было жалко: путешествие уже кончается.

Что гнало меня? Страх «их» прихода. Да, в Америке не будет этого страха. Но чего я хочу в самом последнем счете? Чтобы мир имел человеческое значение. Этого мне ужасно хотелось, это мне обязательно нужно было. Как София гностиков, моя душа терзалась неведеньем, болью, страхом и отчаянием.

Непривычная после шести дней тишина. Машины больше не работали и вовсе не было качки. Пароход, бесшумным привидением, сонно и медленно влекся по чуть рябившей глади тихого, вернувшегося домой моря, почти стоял на месте.

Совсем близко серый в сумерках берег, дома, — один огромный. Земля Нового Света, таинственная, как если бы мы приехали на Марс или луну.

Спрашиваю американца, знакомого по табль д'оту: «Это Нью Йорк?».

— Нет, Бруклин.

— А что это за большое здание?

— Это вовсе не большое здание, а маленькое.

Вдали, в горле сужавшейся бухты, еще неясно синея сквозь предрассветный туман, были видны теперь тесно стоящие, странные, вроде восточных минаретов, высокие башни.

Показывая пальцем, американец сказал:

— That's New York!

Владимир Варшавский

ЛЕРМОНТОВ У СПИРИТОВ

Во вторую половину прошлого и в начале этого века люди много увлекались спиритизмом. Увлекались люди разных кругов: и интеллигенты, и аристократы, и ученые, и даже философы (Владимир Соловьев). Я тоже некоторое время занимался столоверчением, но это у меня довольно быстро прошло. Сознаюсь, ирония и насмешки в «Плодах просвещения» Толстого сыграли не малую роль в моем охлаждении к этому всё-таки таинственному явлению. Обыкновенно я его не осмеивал, но один раз был у меня такой необычайный случай, что я не мог удержаться, чтобы не посмеяться и даже чтобы не поиздеваться над одной спиритками.

Однажды под вечер я работал у себя в комнате, как ко мне входит жена и говорит, что пришла какая-то незнакомая дама и спрашивает, можно ли меня видеть? Я пошел в переднюю и увидал довольно симпатичную, хорошо одетую даму средних лет.

— Я хотела бы с вами поговорить по одному делу, — сказала она.

Я пригласил ее в свою комнату.

— Конечно, я давно вас знаю, — начала она, — и люблю ваши произведения, особенно романсы, их любят все, кто любит музыку и пение. У меня в известные дни собираются мои друзья, среди которых есть несколько с очень хорошими голосами и мы наслаждаемся пением. Но кроме музыки нас всех очень занимает, — не удивляйтесь — и спиритизм. Простите за нескромный вопрос: вы верите в таинственные явления природы?

Я ответил утвердительно.

— А в спиритизм?

Нашему знаменитому композитору А. Т. Гречанинову недавно исполнилось 88 лет. Редакция «Нового Журнала» поздравляет Александра Тихоновича и с удовольствием печатает присланный им небольшой отрывок из его воспоминаний. Ред.

— Спиритизмом одно время я увлекался, но давно уже о нем забыл.

— Жаль. Общение с теми, кто ушел, особенно с близкими, которых мы любим, ведь это такое счастье! Общение это укрепляет нас в сознании, что смерти нет, а есть только переход в другую, лучшую жизнь. Мы, верующие, можем даже узнать голоса наших близких, голоса таких людей, как Чайковский, Римский-Корсаков, Толстой, сколько радости приносит нам это! И почему я к вам пришла? Потому, что на последнем нашем сеансе к нам явился Лермонтов и не просто, а с поручением. Он прочел свое стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива» и сказал, что это самое любимое его стихотворение и ему бы хотелось, чтобы на него была написана музыка... Гречаниновым. Вы можете себе представить, как это нас всех удивило. Кто-то сказал, что на эти слова уже есть музыка Чайковского. «Да, я знаю, ответил Лермонтов, но она меня не удовлетворяет. Я уверен, что именно Гречанинов напишет то, что мне понравится». Вам трудно этому поверить, но присутствовавшие на этом сеансе все могут вам это подтвердить.

Когда она сказала, что всё их общество надеется, что я не откажусь исполнить желание нашего великого поэта, мне захотелось немножко над ней поиздеваться.

— Что ж, — сказал я, — я согласен исполнить просьбу Лермонтова, но ведь я очень горд и хочу, чтобы он сам лично выразил мне это свое желание.

— О, я уверена, что он охотно это сделает. Приходите ко мне на следующий сеанс.

— Нет, зачем, я хочу, чтобы он пожаловал ко мне, разве дух его не может этого сделать?

— Но ведь у нас для сеанса так хорошо всё приспособлено, а если бы вы пришли ко мне, ваше присутствие вдохновило бы всех еще более, чем обыкновенно, для принятия тайн общения с потусторонним миром.

— Нет, уж позвольте, я соглашаюсь писать музыку ре-

шительно только при условии, что он появится со своей просьбой у меня, вот в этой комнате.

Тут моя барыня поняла, что я над ней издеваюсь.

— О, как жалко, что вы мне не верите и смеетесь надо мной, а ведь у нас большое общество верующих и все вам могли бы подтвердить, что я ничего не выдумываю: да, дух Лермонтова нас посетил и сказал то, что я вам передала. Да и не один Лермонтов к нам приходит, мы добились, что одно время нас посещал, как я вам сказала, и Чайковский.

— Чайковский? — с изумлением переспросил я.

— Да, сам Чайковский, и он даже продиктовал нам одно свое сочинение.

— Не может быть. Да как же он это сделал?

— Я могла бы вам это показать, если это действительно вас интересует.

— Да, меня это очень интересует.

— Тогда позвольте, я к вам приду еще раз, принесу, что нужно, и вам всё покажу.

Мы назначили день свидания и, уходя, дама выразила уверенность, что если бы я побывал у них, я бы увидел чудеса. «К вам вернулась бы, — добавила она, — прежняя вера и вы сделались бы счастливейшим человеком в мире».

Прошло несколько дней и точно в назначенный час она вновь была у меня. В руках у нее была папка, из которой она вынула большой картонный лист бумаги и тут же разложила его на рояле. На листе я увидел множество музыкальных знаков, начиная с пятилинейной системы и тактовых черт и кончая обозначениями Allegro, Moderato и пр. Дама мне объяснила, что Дух приводит в движение сделанный из толстой бумаги трехугольный челнок, за который держатся двое присутствующих, и где челнок остановится, то и записывается третьим действующим лицом на нотную бумагу.

Объяснив всё это, дама вынула из папки небольшое, в две страницы, фортепьянное сочинение и с гордостью ска-

зала: «А вот, что нам о т т у д а продиктовал наш незабвенный Чайковский!»

Я посмотрел немного на это сочинение, посмотрел еще. «Ну, и плохо же, говорю, стал писать на том свете Петр Ильич. Если бы с этим он пришел в консерваторию, его бы не приняли: до того безграмотно написано».

Дама была очень сконфужена.

— Уж очень строго вы критикуете, г-н Гречанинов. А нам всем это Meditation очень нравится и мы думаем, не напечатать ли его?

Я не находил слов, да сознаться, и не очень искал их, чтоб ее утешить, и она ушла от меня разочарованной.

Прошло много времени, я должен был покинуть родину и навсегда переселиться заграницу, сначала в Париж, потом, когда началась вторая всемирная война, в Америку. Живя в Париже, я задумал однажды написать цикл песен на слова Лермонтова. Среди намеченных стихотворений у меня было и «Когда волнуется желтеющая нива»... О даме-спиритке, с которой когда-то в Москве у меня было два свидания, касающиеся Лермонтова и Чайковского, я давно забыл: расставаясь с ней тогда, я не спросил даже ее фамилии.

В эмиграции, в разных городах Европы я довольно часто давал вечера своих песен со многими русскими певицами. В одном из таких вечеров в программе у меня была — в первый раз — группа песен на слова Лермонтова. Пела Нина Кошиц. Как всегда, пела она всё великолепно, но исполнением ей посвященной «Когда волнуется желтеющая нива» она прямо превзошла себя: это было спето с таким вдохновением, с таким увлекающим подъемом, что зал был потрясен. Сидя за роялью, я тогда вдруг вспомнил: да ведь это те слова, о которых когда-то в Москве так хлопотала моя дама-спиритка по поручению, якобы, с того света самого Лермонтова, чтобы я на них написал музыку. О, какое душевное спасибо я почувствовал тогда его памяти. Я вспоминаю теперь, с каким вдохновением я писал эту песню. С таким вдохновением я писал еще, когда был учеником консерватории, свою «Колы-

бельную» на слова того же Лермонтова. «Колыбельная» эта родилась в сорочке: ни одно из моих сочинений не получило сразу такого распространения. Можно сказать, что ее тогда запела вся Россия, а потом она завоевала весь мир. Руководила же мною тогда не тень Лермонтова, а моя первая большая любовь, любовь к той, которая была моей невестой, а потом стала верной и неизменной спутницей жизни на многие годы. Лермонтов же после этого концерта стал как будто моим еще более близким и любимым поэтом.

А. Гречанинов

ДЫМ

Серый дым прогуляться вышел.
Он сначала пошел по крыше,
А потом всё выше и выше.

Серый дым потерялся в синем.
— Вы дым не видали? деревья спросили.
— Мы бы его на руках носили,

— А теперь мы остались одни.
И черные руки опустили вниз...
А в окнах зажигались огни.

ВЕТЕР

Ветер крылья в реке обмакнул,
Брызнул каплями прямо на солнце,
Человечью погладил спину,
Что прошла — недовольной и сонной.

А потом — он по крышам гулял
И с бельем отчаянно дрался;
В нем запутался, с крыши упал,
Испугался — но не сломался.

Ирина Легкая

НЕИЗДАННАЯ ПОЭМА МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА

Эта поэма Максимилиана Волошина, разумеется, не могла увидеть света в Советской России. Не была она до сих пор напечатана и за рубежом. Вот в двух словах история имеющегося у меня текста поэмы.

В конце 1920-х годов лицо, приехавшее из Советской России, передало мне несколько стихотворений, написанных поэтами в России. Этим лицом все они были переписаны в Крыму. Среди них была и печатаемая ниже поэма М. Волошина «Дом Поэта». Под ней стояла дата: «Коктебель 1926 г.».

Почти четверть века эта поэма пролежала в моем архиве. Мне и в голову не приходило, что имеющаяся у меня запись, быть может, единственная, нашедшая путь за пределы России. Но проходили годы, и ни в одном зарубежном журнале, ни в одной антологии я не находил этой поэмы. Ни в одной статье о М. Волошине я не встретил о ней даже упоминания. Только недавно я познакомился с одним из друзей Волошина, советским эмигрантом, бывавшим в «Доме Поэта» и знавшим о существовании этой поэмы, но запомнившим из нее лишь отрывочные строки. Другие почитатели поэзии М. Волошина, с которыми я встречался, тщательно собиравшие всё им написанное, об этой поэме не слыхали.

Первое упоминание о ней в печати, вместе с несколькими — явно неточными, приведенными, вероятно, на память небольшими выдержками — появилось в очерке Д. Новоселова «В Коктебеле» в журнале «Грани» (№ 5, 1949 г.). Одна из этих выдержек в передаче Д. Новоселова такова:

«И красный вождь, и белый офицер,
Фанатики непримиримых вер,
Искали здесь, под кровлею поэта
Убежища, защиты и совета.
Я ж *сделал* всё, чтоб *людям* помешать
Себя губить, друг друга истреблять».

На этом выдержка кончается. Между тем далее следуют потрясающие строки:

«И сам читал в одном столбце с другими
В кровавых списках собственное имя».

Эти строки, так же как и строку — «И *красный вождь,* и белый офицер...» — есть возможность расшифровать.

Известно, что в начале 1923 года заграницу лицом, близким к М. Волошину были привезены некоторые его рукописи. Все они были переданы старому другу М. Волошина проф. А. С. Ященко, редактировавшему тогда в Берлине библиографический журнал «Новая Русская Книга». Среди привезенных рукописей был цикл знаменитых стихов М. Волошина — «Стихи о терроре», которые впервые и были напечатаны в «Нов. Русск. Книге» (№ 2, февраль, 1923 г.). Кроме этих стихов М. Волошин прислал А. С. Ященко письмо, страниц в 40-50, содержавшее страшное описание дней красного террора в Крыму, когда руководитель этого террора, известный коммунист Бела Кун, жил в «доме поэта» — у М. Волошина. Рукопись эта не предназначалась для печати, но А. С. Ященко читал ее многим литераторам, жившим тогда в Берлине, а теперь живущим в Нью Йорке. В этой рукописи М. Волошин рассказывал, как в дни этого террора он день и ночь молился и за убиваемых и за убивающих; как между ним и Бела Куном установились какие-то странные отношения, как он вел с ним бесконечные разговоры, и как Бела Кун разрешал М. Волошину вычеркивать из «проскрипционных списков» одного из десяти людей предназначенных к казни, и как в этих списках М. Волошин видел «собственное имя».

М. Волошин умер естественной смертью в 1932 году, в Крыму. Его страшный гость, Бела Кун, сам несколько позднее попал в «проскрипционные списки»; во время «ежовщины» он был арестован и исчез в подвалах НКВД; по слухам, он был расстрелян.

Поэма «Дом Поэта» представляется мне одним из самых благородных и человечных произведений, написанных за весь период советской литературы. Совершенно естественно, что оно не могло быть напечатано на страницах сталинской печати. Я считаю своим долгом предоставить эту поэму для опубликования на страницах «Нового Журнала».

Александр Браиловский.

ДОМ ПОЭТА

Дверь отперта. Переступи порог.
Мой дом раскрыт навстречу всех дорог.
В прохладных кельях, бе́леных известкой,
Вздыхает ветр, живет глухой раскат
Волны, взмывающей на берег плоский,
Полынный дух и жесткий треск цикад.
А за окном расплавленное море
Горит парчей в лазоревом просторе.
Окрестные холмы вызорены
Колючим солнцем. Серебро полыни
На шиферных окалинах пустыни
Торчит вихром косматой седины.
Земля могил, молитв и медитаций,
Она у дома выростила мне
Скупой посев айлантов и акаций
В ограде тамарисков. В глубине
За их листвой, разодранной ветрами,
Скалистых гор зубчатый окоем
Замкнул залив Алкеевым стихом,
Ассиметрично-строгими строфами.
Здесь стык хребтов Кавказа и Балкан
И побережьям этих скудных стран —
Великий пафос лирики завещан
С первоначальных дней, когда Вулкан
Метал огонь из недр глубоких трещин
И дымный факел в небе потрясал.
Вон там — за профилем прибрежных скал,
Запечатлевших некое подобье, —
(Мой лоб, мой нос, ощечье и подлобье),
Как рухнувший готический собор,
Торчащий непокорными зубцами,
Как сказочный базальтовый костер,
Широко вздувший каменное пламя,
Из сизой мглы над морем, вдалеке,
Встает стена... Но сказ о Карадаге
Не выцветить ни кистью на бумаге,
Ни высловить на скудном языке.
Я много видел. Дивам мирозданья
Картинами и словом отдал дань,
Но грудь узка для этого дыханья,
Для этих слов тесна моя гортань.

Заклепаны клокочущие пасти,
В остывших недрах мрак и тишина,
Но спазмами и судорогой страсти
Здесь вся земля от века сведена.
И та-же страсть, и тот же мрачный гений
В борьбе племен и смене поколений.
Доселе грезят берега мои
Смоленые ахейские ладьи
И мертвых кличет голос Одиссея,
И киммерийская глухая мгла
На всех путях и долах залегла,
Провалами беспамятства чернея.
Наносы рек на сажень глубины
Насыщены камнями, черепками,
Могильниками, пеплом, костяками.
В одно русло дождями сметены
И грубые обжиги неолита,
И скорлупа милетских тонких ваз,
И позвонки каких-то древних рас,
Чей облик стерт, а имя позабыто.
Сарматский меч, и Скифская стрела,
Ольвийский герб, слезница из стекла,
Татарский глет зеленовато-бусый,
Соседствуют с венецианской бусой.
А в кладке стен кордонного поста
Среди булыжников оцепенели
Узорная Арабская плита
И угол Византийской капители.
Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата,
От римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата.
Здесь, в этих складках моря и земли
Людских культур не просыхала плесень,
Простор столетий был для жизни тесен,
Покуда мы, Россия, не пришли.
За полтораста лет, с Екатерины,
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли,
По скатам выкорчеваны сады,
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды.

Но скорбный лик оцепенелой маски
Идет к холмам Гомеровой страны,
И патетически обнажены
Ее хребты, и мускулы, и связки.
Но тени тех, кого здесь звал Улисс,
Опять вином и кровью напились
В недавние трагические годы.
Усобица, и голод, и война,
Крестя мечем и пламенем народы,
Весь Древний Ужас подняла со дна.
В те дни мой Дом, слепой и запустелый,
Хранил права убежища, как храм,
И растворялся только беглецам,
Спасавшимся от петли и расстрела.
И красный вождь, и белый офицер,
Фанатики непримиримых вер,
Искали здесь, под кровлею поэта,
Убежища, защиты и совета.
Я ж делал всё, чтоб братьям помешать
Себя губить, друг друга истреблять.
И сам читал в одном столбце с другими
В кровавых списках собственное имя.
Но в эти дни доносов и тревог
Счастливый жребий дом мой не оставил,
Ни власть не отняла, ни враг не сжег,
Не предал друг, грабитель не ограбил.
Утихла буря. Догорел пожар.
Я принял жизнь и этот дом, как дар.
Нечаянный, мне вверенный судьбою,
Как знак, что я усыновлен землею.
Всей грудью к морю, прямо на восток
Обращена, как церковь, мастерская,
И снова человеческий поток
Сквозь дверь ее течет не иссякая.
Войди, мой гость, стряхни житейский прах
И плесень дум у моего порога,
Со дна веков тебя приветит строго
Огромный лик царицы Таиах.
Мой кров — убог, и времена — суровы,
Но полки книг возносятся стеной.
Здесь по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы.
И здесь их голос, властный, как орган,
Глухую речь и самый тихий шопот,

Не заглушит ни зимний ураган,
Ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот.
Мои ж уста давно замкнуты. Пусть!
Почетней быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.
И ты, и я, — мы все имели честь
«Мир посетить в минуты роковые»
И стать грустней и зорче, чем мы есть.
Я не изгой, а пасынок России.
Я в эти дни немой ее укор.
Я сам избрал пустынный сей затвор
Землею добровольного изгнанья,
Чтоб в годы лжи, падений и разрух
В уединеньи выплавить свой дух
И выстрадать великое познанье.
Пойми простой урок моей земли:
Как Греция и Генуя прошли,
Так минет всё — Европа, и Россия.
Гражданских смут горючая стихия
Развеется. Расставит новый век
В житейских заводях иные мрежи.
Ветшают дни, проходит человек,
Но море и земля — извечно те же.
Поэтому живи текущим днем.
Благослови свой синий окоем.
Будь прост, как ветр, неистощим, как море,
И памятью насыщен как земля.
Люби далекий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе.
Весь трепет жизни всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.

Максимилиан Волошин

Коктебель, 26 г.

***

Поэзия: искусственная поза,
Условное сиянье звездных чар,
Где улыбаясь произносят — «Роза»
И с содроганьем думают «Анчар».

Где, говоря о рае, дышат адом
Мучительных ночей и страшных дней,
Пропитанных насквозь блаженным ядом
Проросших в мироздание корней.

***

Мне больше не страшно. Мне томно.
Я медленно в пропасть лечу
И вашей России не помню
И помнить ее не хочу.

И не отзываются дрожью
Банальной и сладкой тоски
Поля с колосящейся рожью,
Березки, дымки, огоньки...

...Я вижу со сцены — к партеру
Сиянье... Жизель... Облака...
Отплытье на остров Цитеру,
Где нас поджидала че-ка.

***

Торжественно кончается весна
И розы, как в эдеме расцвели.
Над океаном блеск и тишина
И в блеске — паруса́ и корабли...

...Узнает ли когда-нибудь она,
Моя невероятная страна,
Что было солью каторжной земли?

А, впрочем, соли всюду грош цена
Рассыпали — метелкой подмели.

***

Меняется прическа и костюм,
Но остается тем же наше тело,
Надежды, страсти, беспокойный ум
Чья-б воля изменить их ни хотела.

Слепец Гомер и нынешний поэт,
Безвестный, обездоленный изгнаньем,
Хранят один — неугасимый! — свет,
Владеют тем же драгоценным знаньем.

И черни, требующей новизны,
Он говорит: «Нет новизны. Есть мера,
А вы мне отвратительно-смешны,
Как варвар, критикующий Гомера!»

1952 *Георгий Иванов*

РОССИИ

I

Между нами — двери и засовы.
Но в моей скитальческой судьбе
Я служу тебе высоким словом,
На чужбине я служу — тебе.

Я сейчас не мил тебе, не нужен,
И пускай бездомные года
Всё петлю затягивают туже —
Ты со мной везде и навсегда.

Как-бы ты меня ни оскорбила,
Ни замучила, ни прокляла,
Напоследок пулей ни добила —
Ты себя навек мне отдала.

Пусть тебя еще неволит ворог
И еще нескоро ты поймешь,
Как тебе желанен я и дорог,
Как меня жалеешь ты и ждешь.

Душное минует лихолетье,
Милая протянется рука...
Я через моря, через столетья!
Возвращусь к тебе издалека!

Не спрошу тебя и не отвечу,
Лишь прильну к любимому плечу,
И за этот миг, за эту встречу,
Задыхаясь, всё тебе прощу!

II

Странно: в ненависти иной
Больше близости, чем любови.
Ненавидя тебя, я твой
Всем немолчным биеньем крови.

Ненавидя тебя, я весь,
Без остатка, тебе обещан,
И всегда ты со мною, здесь,
Безответной моею вещью.

Эта ненависть солона
Раскаленной и едкой солью,
Выедает глаза она,
Жалит горло щемящей болью.

И не смотришь и не поёшь,
Только, шаря рукой в кармане,
Режешь пальцы о ржавый нож,
Не тебя, а себя им раня.

Если как-нибудь в трудный час
Суждена мне с тобою встреча —
Только бельмами мертвых глаз
На твой пристальный взгляд отвечу.

Проведешь ты по ним рукой
И поймешь, что не мог иначе,
Что пред ненавистью такой
И любовь ничего не значит.

И, впервой приоткрыв уста,
Молвишь, тем же, чем я томима:
— Чтоб меня ненавидеть так,
Как ты любишь меня!.. — любимый!

КОГДА ВЕРНУСЬ

Мачеха в дом мой родной вошла,
Свела наговором отца в могилу,
С жабьей начинкой пирог спекла
Лампадку задула и котят утопила.

С ней мне не жить! И подался прочь
Нищим мальченком, босым и рваным,
В черную, злую, глухую ночь,
В черные, злые, чужие страны.

Жизнь моя с виду не так плоха:
Днем — с земляками играю в прятки,
Ночью... — кто ночью меня слыхал?
Зубы в подушку — и всё в порядке.

Дома, известно, беда и стыд,
Чахнут меньшие, что лён в бурьяне.
Мачеха косится и сопит,
Ножик поточит и в щелку глянет.

Верится только — не век страдать,
Правды хоть мало, но есть на свете.
Как ни живуча карга, а глядь,
Переживут ее всё-же дети!

День подойдет — и вернусь назад.
Знаю: найду лишь забор да стены.
Взглянут меньшие с тоской в глаза...
Чем накормлю их? Во что одену?

Нету для милых мошны тугой,
Пряников сладких, цветных нарядов...
Перекрестясь на угол пустой,
С ними за стол их убогий сяду.

Корку предложат — и той я рад.
Сам же, коль нет ничего другого,
Тем поделюсь, чем одним богат:
Светлой улыбкой и чистым словом.

Д. Кленовский

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ*

Весной 1929 года Москва доживала последние дни НЭП'а. У белой Китай-городской стены, отремонтированной и выкрашенной в 1925 году, еще ютились частные лавченки-балаганчики, в каменных нишах сидели старики-букинисты, по грязи ползали на деревянных колодках нищие. Неподалеку оттуда, на Никольской улице, помещался ГИЗ, в витринах которого пестрели обложки журналов: «Красная новь», «Новый ЛЕФ», «Литература и марксизм», «На литературном посту», — журналов, издававшихся одним (государственным!) издательством, но ведших междуусобную войну и никак не укладывавшихся в одну линию. Кроме ГИЗ'а в Москве существовали еще кооперативные издательства: «МТП» — Московское Товарищество Писателей, «Земля и Фабрика», «Федерация», при основании которой, в январе 1927 года, было определено что «Федерация была бы вредна, если бы она искусственно затушевывала и стирала те разногласия, которые имеются между отдельными литературными группировками». И впрямь, разногласий издательство «Федерация» не затушевывало: в 1929 году оно выпустило такие резко противоположные книги, как «Поиски Галатеи» перевальца Д. Горбова, «Поэзия как смысл» кон-

---

* Эта статья — отрывок из более обширной работы, которая является хроникой литературной жизни в советской России 1929-1934 гг. В этой работе автор сделал попытку представить весь спектр общественных настроений, как они отразились в литературе рассматриваемого периода. Настроения того времени отличались особенной сложностью. Тогда резко усилился террор на всех участках «идеологического фронта» («дело» Замятина и Пильняка), но возросло и духовное сопротивление, которое развивалось, главным образом, по двум линиям: деревня (Клюев, Орешин, Клычков, Платонов, И. Катаев, Макаров и др.) и творческая свобода (Пастернак, Шкловский, Каверин, Форш и др.). Был, однако, и пафос строительства. Очень остро так же стояла тема Запада. В настоящем отрывке показана лишь одна полоса этого спектра. *Автор.*

структивиста К. Зелинского, лефовский сборник «Литература факта».

НЭП длился семь лет. И при конце его в культурной жизни столицы всё-таки еще чувствовалось дыхание свободы. Начало 1929 года ознаменовалось выдающимся театральным событием: москвичи валом-валили на Тверской бульвар, где — по соседству с Домом Герцена — Камерный театр давал «Багровый остров» Мих. Булгакова. Блестящий комедийный актер В. Ганшин, играл там репортера, который под псевдонимом «Жюль Верн» написал пьесу «Багровый остров». Пьеса принята к постановке, и вот — генеральная репетиция, просмотр для реперткома. На сцене Камерного театра зрители видели другую сцену, а на той сцене — Багровый остров. О берега острова бились волны океана, мерцали вспышки кратера, по склонам горы стекала огненная лава... — декорации художника В. Рындина были полны выдумки, изобретательности. На Багровом острове происходило следующее: красные туземцы, угнетаемые белыми арапами, свергали царя, устраивали революцию против захватившего власть диктатора Кири-Куки, отбивались от интервентов. Красные туземцы одерживали полную победу над врагами; белые арапы, сперва бежавшие в эмиграцию, возвращались на родину «служить трудовому народу»... — на этом заканчивалась пьеса «Жюль Верна». Но пьеса Мих. Булгакова дальше развивалась так: представитель реперткома заявлял — «К представлению воспрещается!» — «Как так?! Почему?» — «А матросы? — спрашивал представитель реперткома, — Матросы-то что же делают? Смотрят, как туземцы революцию устраивают? Разве же в этом международная солидарность, чтобы смотреть? Это не пьеса, а издевательство над мировой революцией!». «Жюль Верн» быстро принялся переделывать пьесу, и через минуту на маленькой сцене шла новая репетиция — с новым «международным» концом, где иностранные матросы присоединялись к восстанию туземцев Багрового острова. Веселый, живописно-яркий спектакль Камерного театра таил под покровом шутки острое политическое жало: высмеивалась глупость советской цензуры, отстаивалась свобода художественного творчества.

Весной 1929 года такие спектакли еще были возможны. Но, как говорилось в напечатанном тогда стихотворении Осипа Мандельштама: «а небо (уже было) будущим беременно». Вот уже два года, как собиралась гроза. В декабре 1927 года, на XV съезде ВКП(б), были утверждены директивы о составлении пятилетнего плана; к апрелю 1929 года первый пятилетний план был составлен и утвержден на XIV конференции

ВКП(б). Два года, ушедшие на составление плана, были годами ожесточенной внутрипартийной борьбы: в 1927 году — разгром троцкистской оппозиции, в 1928 году — разгром правой, бухаринской, оппозиции. Внутрипартийная борьба будоражила лишь поверхность, не захватывая глубин народного океана. Но вот, теперь кончался НЭП и начиналась новая эпоха. Начинался «день второй» советской России — период, когда из хляби и хаоса революции должна была возникнуть твердь, твердыня нового, невиданного в мировой истории, тоталитарного государства, в котором не найдется места ни частнику из-под Китай-городской стены, ни «индивидую» в деревне, ни индивидуальности в искусстве, где всё будет унифицировано и огосударствлено, начиная от подойников на молочных фермах и кончая перьями писателей.

**
*

Процесс развития советской литературы противоречив и парадоксален. Были в советской России писатели, которые не только не сожалели, что наступил конец НЭП'а, семь лет назад принесшего им некую творческую свободу, но радовались, что пришел «год великого перелома» и началась новая революция, которая должна была всколыхнуть всю Россию до дна и потрясти весь мир до основания.

Вспомним, что многие писатели с самого начала отрицательно относились к «новой экономической политике». Ненависть к торгашеству, мещанству, буржуазии и в прошлом объединяла таких, во всем остальном несходных, русских писателей, как, скажем, Герцен и Константин Леонтьев; теперь эту ненависть выражали тоже самые далекие друг от друга писатели, как Демьян Бедный и Осип Мандельштам, Юрий Олеша и Николай Асеев, Илья Эренбург и Иван Катаев... Если Демьян Бедный в поэме «Хрюкающий НЭП» с отвращением описывал «упитанных свиней в енотах и бобрах», то Осип Мандельштам, изображая Батум, «маленький, почти игрушечный городок, вознесенный условиями нашего времени на высоту русской спекулятивной Калифорнии», добавлял, что это — «грязный котел хищничества и обмана», «сомнительное окно в Европу для советской страны», что «воздух современного Батума пропитан неуважением к будущей пролетарской России, к ее строительству, ее нравственному облику, ее страданию». Всё творчество Юрия Олеши окрашено мечтой о новом мире, «главной особенностью которого будет отсутствие денежных отношений». В кровавых зорях военного комму-

низма многим писателям померещилось начало нового дня, и когда, с наступлением НЭП'а, заря побледнела, потухла, по России распространились настроения, которым Бухарин дал название «интеллигентского пессимизма». Настроения эти ярче всего были выражены в «Лирическом отступлении» Николая Асеева:

«Как я стану твоим поэтом
Коммунизма племя,
Если крашено рыжим цветом,
А не красным — время?!»

Асеев писал это в 1924 году. Прошло пять лет, и порыжевшее было время начало снова краснеть. На смену «интеллигентскому пессимизму» у некоторых возник некий «интеллигентский энтузиазм», который мешал понять, что флаг революции краснеет потому, что пропитывается кровью, и что сотни писателей, приветствовавших начало «развернутого социалистического наступления», сами погибнут в кровавой пучине.

Впрочем, сознание непомерности жертвы тогда не имело большого значения. Была мечта и — требовалась жертва. Тема мечты и самопожертвования громко звучала в советской литературе периода первого пятилетнего плана. Маяковский «себя смирял, становясь на горло собственной песне». Множество других поэтов «расстреливало свои души» (В. Лозин, «Звезда», август 1930 г.). Иосиф Уткин заявлял, что если стройкам не хватит топлива, то —

«Мы сами готовы
горючим лечь
в плавильную печь».

У некоторых писателей эта мечта принимала даже отчетливо выраженную религиозную окраску. Поэт Борис Лихарев, обращаясь к иностранцу, приехавшему в 1930 году туристом в СССР, — и, ввиду отсутствия гидов Кука, предлагая его вниманию «сопроводительные стихи», — пояснял:

«Великий йскус, великий пост
Властвует над страной».

Первый пятилетний план представлялся началом «великого поста», за которым наступит «Пасха» преображенной России. Речь шла, разумеется, не о Христовой Пасхе и не о Святой Руси. Мечтания начала XX века были давно забыты. Старики, помнившие времена религиозно-философских собра-

ний, споров в башне у Таврического сада, ныне жили по темным углам, вымирали. Новая интеллигенция не имела решительно никакого понятия о той — пленительной своей праздностью, но и высокой духовной настроенностью — эпохе, о культурно-религиозном ренессансе, пережитом Россией в 1900-х годах и оборванном революцией 1917 года. Да и само название «интеллигенция» она носила только по привычке, по косности языка: двадцатые годы, годы НЭП'а, были периодом глубокой — внутренней, скрытой, химической — трансформации русского общества, от которой едва-ли не больше всех пострадала интеллигенция. К началу тридцатых годов почти уже выветрилось традиционное, столь русское, понятие «интеллигенции», а в годы «великого перелома», в период первой пятилетки, интеллигенция, как таковая, как явление, некогда составлявшее исключительную особенность русской общественной жизни, окончательно исчезла.

Не то, чтобы она была истреблена. Нет, просто такое растение зачахло и выродилось в психологическом климате новой России. Теперь, по слову В. Казина, «профессией повеял человек». Большевизм создавал государство нового типа, в котором амальгамировались политика и экономика, и это государство, отрицая общечеловеческий, надклассовый характер культуры, властно ставило себе на службу науку, искусство, литературу. Требовались не «жрецы культуры», не «витии», а мастера, призванные играть служебную роль в пятилетних планах, вообще — в системе государства. Пришел конец интеллигентскому индивидуализму; мастера должны были «слиться с коллективом», работать «бригадными методами».

Не случайно, что годы «великого перелома» в советской литературе начинаются именно разоблачением, высмеиванием старой интеллигенции. В повести Н. Тихонова «Анофелес» изображен такой вредный комар, старик-учитель географии Кучин, который хочет еще быть неподкупным, честным, бедным «рыцарем культуры». Н. Браун написал «Слово к интеллигенту», в котором с презрением вспоминал эсхатологические мечтания русской интеллигенции начала XX века:

«Когда ты говорил «Россия»,
Перед тобой, как столп огня,
Проходило слово «Мессия»,
Надоедливой рифмой звеня:
«Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня».
Это были слова, слова...»

Пятилетка требовала не слов, а дела. Не «болтунов» (не «трепачей», на жаргоне той эпохи), а спецов. Не раздвоенных, не искривленных, не одолеваемых сомнениями, а простых, решительных, цельных.

«Повелось (и ничего не скажешь),
Чтоб интеллигент моей страны
Даже в битве, в поцелуе даже,
На себя смотрел со стороны.

Где ты был? Что делал ты тогда-то?
Отчего не в меру был горяч? —
Сам себе всегдашний соглядатай,
Сам себе предатель и палач.

Эта неусыпная опека,
Разговор ехидный двойника,
Даже и большого человека
Связывает по рукам...

Грусть ушла, метели отшумели,
На постройке перекличка молотков:
В бодрых буднях деловой артели
Некогда глядеть на двойников!»

Напечатанные в журнале «Октябрь» (1929 год, № 10), эти стихи Вениамина Жака имели характерное заглавие: «О последнем двойнике», что означало — о последнем интеллигенте. Такие стихи были весьма характерны для того времени, когда на смену религиозному мистицизму начала XX века, космизму и мессианизму первых лет революции пришел прагматизм, интеллектуализм, направленный на то, чтобы, как писал Олеша, «сделать мир объясненным — объяснить его и перестроить». Новая вера имела такую заповедь: «Верую в науку, як мати-покойница в Троеручицу», и «Пасха», о которой мечтали писатели в 1929 году, была не Божественная, а человеческая, не небесная, а земная. Религия утверждалась утилитарная, прагматическая. О ней писал Александр Яковлев в своей автобиографии, в конце двадцатых годов: «Летом (каждое лето) ходил по России, смотрел. Видел Россию поверженную, вижу поднимающуюся. И похоже, Россия, человечество и человечность становятся моей новой религией». «Религия России» включала понятие гуманизма, и сама Россия представлялась неким будущим «земным раем», «Государством Разума», или, по слову Ивана Катаева, «ледяной Элладой».

«Поднимающаяся Россия», однако, была бедна, неопи-

суемо бедна! Людей у нее было много, машин мало. Естественно, что у писателей, исповедывавших «религию России», должен был возникнуть культ машины, культ вещи — хорошо, мастерски сделанной вещи. Много дикарского было в этом культе. В одной повести — «Записки Джолдыбая Буроханова» Г. Дедова — некий киргиз-кайсак приезжал в Ленинград, устраивался на хлебозавод и на десятках страниц восторженно описывал автоматическую выпечку хлеба. На машину, однако, был готов молиться не один этот киргиз-кайсак, а чуть-ли не вся русская литература того времени. В сентябре 1929 года поэт А. Миних, называя шофера такси — «Торговец быстротой», так описывал самое машину:

«Склонивши тяжесть корпуса
На прочное шасси,
Стоит, немного сгорбяся,
Заморский гость — такси».

Николай Дементьев написал стихотворение «Велосипед», а Николай Ушаков посвятил оду мотоциклету:

«Крутовороты
и виражи —
Певучие стволы руля.
Я не прислушиваюсь даже
К тебе, звенящая земля.
Иная музыка — услада
(а не виола
и кларнет).
О, жесткокрылая цикада,
Стрекочущий мотоциклет!»

У Владимира Нарбута — стихи о микроскопе, у М. Зенкевича — о самолете, а Илья Сельвинский в 1931 году, проработав некоторое время на Электрозаводе, написал поэму: «Как делается лампочка». В рассказе «Происхождение мастера» Андрей Платонов говорил про своего героя, что «его ничто особо не интересовало — ни люди, ни природа, — кроме всяких изделий»; так можно было сказать и про многих писателей периода первой пятилетки. В рассказе Платонова культ машины достиг высшей точки: писатель рассказывал про машиниста-наставника, который «так больно и ревниво любил паровозы, что с ужасом глядел, как они едут. Если бы его воля была, он все паровозы поставил бы на вечный покой, чтобы они не увечились грубыми руками невежд. Он считал, что людей много, машин мало; люди — живые, и сами за себя постоят, а машина — нежное, беззащитное, ломкое вещество;

чтобы на ней ездить исправно, нужно сначала жену бросить, все заботы из головы выкинуть, свой хлеб в олеонафт макать — вот тогда человека можно подпускать к машине».

«Великий пост» первой пятилетки в том и состоял, чтобы выкинуть из головы все личные заботы, покинуть жен и детей, если потребуется, хлеб в олеонафт макать, есть тюрю, но — строить, строить и строить. Традиционно-интеллигентское неприятие торгашеского, мещанского НЭП'а у одних, пафос строительства у других... — таковы два цвета в пестром спектре русских общественных настроений в «год великого перелома». Немного было тогда писателей, которые не прославляли бы начинавшуюся эпоху «развернутого социалистического наступления». Никогда еще писатели так много не ездили по стране, и не следует думать, что всех их силком посылали на новостройки.

Писатели разъехались по стране. Какую Россию они увидели? Россию нищую, разутую и раздетую, душа которой была темна и скрытна: трудно было понять, что в ней от обломовщины, бескультурья, неумения работать и что от глухого, неясного, но упорного сопротивления «социалистической перестройке». В глаза бросалось то, что на поверхности — «обломовщина».

«В России всегда существовал культ глупости и лени, — писал Н. Асеев в «Записках писателя» в 1929 году. — Юродивые, блаженненькие, убогие и дурачки почитались и окружались суеверным вниманием. Отсюда принципы нашей этики: «бедность не порок», «лежачего не бей», — хотя бы этот лежачий всю жизнь провалялся на боку, усвоив всю выгодность такого положения. Богатыри у нас сиднем сидели до тридцати лет, а Иванушка-дурачок в одно ухо коню влезал, а в другое вылезал и сразу становился красавцем и умником. Этот культ недорослей, наивная вера во внезапное преображение, в случайную удачу типичны для восточной подчиненности судьбе. Это — остатки длительного рабства, ржавчина на воле всего народа. Нам необходимо пересмотреть все наши этические залежи подсознания. Нет, бедность — порок, огромный и тяжкий, от которого следует избавиться усилиями миллионов воль».

Наиболее знаменитым выступлением против «обломовщины» явилось стихотворение Демьяна Бедного «Слезай с печки», напечатанное в «Правде» в 1930 году, распространявшееся в массовых изданиях и даже инсценированное для эстрады. В нем Демьян Бедный нападал на «расслабленье волевой мускулатуры», на «идеал русской лени», на «сладкий храп»

на печи. Новая эпоха, начавшаяся в 1929 году, обещала не только материальную перестройку России (машины! веши!), но и переделку «нашей гнилой, нашей рабской, наследственно-дряблой природы». Начиналась «культурная революция», которую многие писатели принимали по сердцу, а не по директиве.

«Культурную революцию» можно было рассматривать поразному и по-разному к ней относиться. Одни делали ударение на «революция», другие — на «культурная». Немало было писателей, далеких от большевизма, от «партии Ленина-Сталина», но увлеченных просветительством или, как тогда говорили, «культурничеством». Наиболее ярко идеи просветительства представлены в творчестве Мариэтты Шагинян, которая в начале тридцатых годов, будучи уже автором «полного собрания сочинений», автором таких книг, как «Путешествие в Веймар» и «Гёте», пошла сама учиться в... институт планового хозяйства.

Вполне естественно, что в атмосфере начала тридцатых годов — атмосфере технического прогресса, динамизма («Даешь темпы!», «Догнать и перегнать!»), прагматизма, культурничества — должна была расцвести идея американизации России. Идея не новая: поэты еще и до революции видели звезду новой Америки, разгоравшуюся над русской степью, а в начале революции велось немало разговоров об «американизме в нашей работе», американской системе образования, педагогических установках Дьюи, посетившего Россию в 1928 году. Никогда, однако, в России не было такого культа Америки, не только уважения ко всему американскому, но даже преклонения перед всем американским, какое наблюдалось в годы «великого перелома».

Пишущий эти строки принадлежит к тому поколению советских людей, которые тогда вступали в жизнь. Пафос преодоления материальной и культурной отсталости России подымал нас, порождал такое активное отношение человека к действительности, какого не знала Россия Обломовых, Рудиных, «лишних людей». Мы хотели быть «советскими американцами».

Мечта о «русской Америке» отражена в советской литературе периода первой пятилетки. В романе А. Лебеденко «Тяжелый дивизион» одна глава так и называется: «Черниговская Америка», и разговоры там идут такие: «Мы тут у нас, на Черниговщине, такую Америку разведем! На поле — машину! Молочные фермы! Да мы!!!». Вячеслав Шишков, еще раньше написавший колоритную повесть «Мериканец», теперь

писал об американском инженере, обучающем работниц-комсомолок на заводе. В популярной тогда поэме Джека Алтаузена «Безусый энтузиаст» старый мастер Антоныч объяснял мистеру Стоуну, почему Россия непременно должна догнать и перегнать Америку. Александр Яковлев показывал, как русские люди американскими методами покоряют пустыню. Книга Бориса Галина «Люди Сталинградского Тракторного» — подлинная апология американизма. В этом ряду стоит и неоконченная повесть молодого, на редкость одаренного писателя Виктора Дмитриева, к несчастью, покончившего самоубийством в 1930 году. Дмитриев был романтик, писал лирическую прозу. Тем более характерно подчеркнуто-деловое название его повести: «К вопросу об индустриализации СССР». Такая сухая строка из протокола тогда для многих звучала, как подлинная поэзия.

«Почтение к технике! Внимание к ней!» — восклицал Виктор Дмитриев. Он описывал «Сельмаш» — завод сельскохозяйственных машин в Ростове-на-Дону, первый завод первой пятилетки. Вокруг Ростова, в донских и кубанских станицах, украинских селах, в то время уже вспыхивали крестьянские бунты, рыскали хлебозаготовительные отряды, на север и на восток уже двигались эшелоны, опутанные колючей проволокой, — писатель, однако, не слышал плача, не видел горя. Лирической, радостной прозой он описывал ленточный конвейер и сушильные камеры в деревообделочном цеху...

Нельзя понять советскую литературу периода первой пятилетки, не поняв того, что «год великого перелома» не только залил страну кровью, пóтом и слезами, но и внес в психологию советского человека ту детски-радостную черту, которая столь характерна для Америки. Настроение человека техники родственно настроению ребенка, а также настроению колониального человека, какого-нибудь киргиз-кайсака Джолдыбая Буроханова, — это радость открытия мира, путешествия в неведомые края.

Недаром в начале тридцатых годов в России усилился поток романтической литературы. Так, несмотря на то, что большевистские критики определяли Александра Грина, как «эпигона Гофмана с одной стороны, Эдгара По и английских авантюрно-фантастических беллетристов — с другой», советская молодежь стала зачитываться «Алыми парусами», «Бегством в Америку», рассказами Грина об Одессе, Баку, Севастополе. В журналах появилось множество воспоминаний о Грине. Выдвинулись ученики Грина, самый талантливый из них — Константин Паустовский, который вслед за «Блиста-

ющими облаками» (1929 г., первая его книга) написал «Кара-Бугаз» (1932 г.), одну из лучших книг о первой пятилетке. Наряду с культом Александра Грина, возник колоссальный спрос вообще на книги о путешествиях и экспедициях.

Пожалуй, никогда еще русская литература не знала такого расцвета колониального жанра, какой наблюдался в начале тридцатых годов. Колониального жанра в том смысле, как его выражал в западной литературе Киплинг, а в русской Гумилев. Николай Гумилев был расстрелян большевиками в 1921 году, и советские критики называли его не иначе, как «поэт-конквистадор». Прошло десять лет. Москва, составив пятилетний план и замкнув на замок границы, двинула полки «строителей социализма» покорять просторы советской России. И вот, из-под пера советских писателей стали выходить произведения, полные волевого напора, колонизаторского, «конквистадорского» пафоса.

Начало положил, кажется, Александр Яковлев двухтомным романом «Человек и пустыня», опубликованным в 1929 году. В своем романе он развивал теорию, что Россия находится в постоянном и непрерывном движении на юго-восток, где она вытесняет, заставляет отступать пустыню. В романе, написанном с художественной изобразительностью и охватывающем сорок лет русской жизни, был представлен купеческий род Андроновых, — не «Тит Титычей», не «Колупаевых и Разуваевых», а культурных пионеров русского капитала. Молодой Виктор Андронов по окончании университета едет даже в Америку и, вернувшись на родину, убеждает старообрядцев-купцов перейти на новые методы хозяйствования. Прежде они занимались только скупкой хлеба, теперь они становятся организаторами сельскохозяйственного производства — входят в пустыню, поднимают целину, побеждают пески и суховеи. Война и революция приостанавливают дело Виктора Андронова, и оттесненная человеком пустыня перешла было в наступление, ударила по вековому делу Андроновых, по аванпостам русской культуры. Приостановила, но не оборвала: писатель давал понять, что как только революция войдет в берега, опять начнется мирное строительство, возобновится наступление на пустыню. Кто возглавит это наступление — купцы ли Андроновы, большевики ли в кожаных куртках — неважно с точки зрения многовекового исторического процесса.

Не прошло года, как предсказание Александра Яковлева сбылось: такие книги, как «Кочевники» Н. Тихонова, «Саранчуки» Л. Леонова, «Большевикам пустыни и весны» В. Луго-

ского, «Пустыня» П. Павленко, «Повесть о стране Памир» Б. Лапина и З. Хацревина, «Человек меняет кожу» Бруно Ясенского, «Горы и ночи» В. Козина и др. отобразили новое наступление на пустыню, отнюдь не бескровное. Были победители и побежденные. Один сибирский поэт писал:

«Поднимем стакан за того басмача,
Который зарублен нами».

Нет спора, в годы «великого перелома» появилось множество книг-однодневок, полных политической трескотни, пропаганды. То не был только дым, однако. Порою, в дыму прорывались и языки огня. На долгие годы еще останется, по крайней мере, пять книг, запечатлевших пафос первой пятилетки: преодоления «обломовщины», американизма, волевого покорения стихии: 1930 г. — «Соть» Л. Леонова; 1931 г. — «Гидроцентраль» М. Шагинян; 1932 г. — «Время, вперед!» В. Катаева; «Энергия» Ф. Гладкова; 1934 г. — «День второй» И. Эренбурга. Пожалуй, к этим книгам следует добавить незаконченный, литературно плохо обработанный, но замечательный по волевой напряженности, роман «Большой конвейер» покойного Якова Ильина.

**
*

В мае 1927 года на одной из южных железных дорог произошло событие, породившее десятки эпиграмм, карикатур, сатирических скетчей. Дело было в вагоне-ресторане поезда, следовавшего в Минеральные Воды. Некий пассажир — толстый, с покатыми плечами — потребовал, чтобы другой пассажир, сидевший за соседним столиком задернул занавеску у окна. По тону это была не просьба, а именно требование, приказ, — выполнить приказ пассажир отказался. Тогда толстяк поднялся из-за стола, подошел к соседу и ударил его по лицу. Как зачинщика, толстяка хотели арестовать, но он с победным видом выложил сафьяновое удостоверение личности: «Член ЦИК СССР Рухула Алы Оглы Ахундов».

В стихотворении «Помпадур», посвященном Ахундову, Маяковский набросал портрет советского вельможи:

«Победу
масс,
позволивших
ему
надеть
незыблемых
мандатов латы,

немедля
приписал он
своему уму,
почел
пожизненной
наградой за таланты.
Со всякой массою
такой
порвал давно.
Хоть политический,
но капиталец —
нажит.
И кажется ему,
что навсегда
дано
ему
над всеми
«володеть и княжить».

Порода советских помпадуров, однако, размножалась с невероятной быстротой. Напрасно троцкисты поднимали тревогу, крича о том, что СССР угрожает опаснейшая из всех опасностей — партийный режим; напрасно бухаринцы боролись против усиливавшейся власти «партийного секретариата». Ни троцкисты, ни бухаринцы не могли остановить процесса, в который была вовлечена Россия. Два момента, порожденные революцией 1917 года, играли роль в этом процессе — тоталитарность власти и плановая экономика.

В русской литературе, быть может, только Достоевский проникал в самую суть проблемы власти: «В чем счастье-то?» — спрашивала Соня Раскольникова, и он отвечал: «Счастье есть власть». Понимания власти, как сатанинского обольщения, метафизической воли к могуществу, не найти у писателей новой, советской России. Впрочем, был один писатель, задумывавшийся над вопросом власти: юный Лев Лунц, умерший в 1924 году. Он был идеолог «Серапионова братства», отличался независимостью и смелостью мысли. В 1920 году этот 19-летний юноша написал пьесу «Вне закона». В этой пьесе некий испанский каменотес по имени Алонсо Энрикес подымает революцию, пообещав народу упразднить все законы: «...Не будет насильников и не будет рабов! Не будет дворян и не будет налогов! Не будет стражей и не будет тюрем! Все будут — вне закона!».

Революция торжествует, но при этом обнаруживается, что все никак не могут быть «вне закона». В стране, где объ-

явлена полная свобода, принцип «вне закона» стал законом, и вождь народа тотчас же понял, что он — во власти этого нового закона. Тогда он решает:

«...Но я снова могу быть вне всякого закона. Я буду над законом! Я дам толпе законы, я же буду опять свободен и счастлив. ...Законы были, законов нет, но — законы будут! ...Я знаю, меня возненавидят. Пусть! На ненависти народа я построю великое государство. Пусть кричат на меня, проклинают, бросают камни из-за угла. Придет время, и они будут петь обо мне песни и целовать мои ноги. Разве народ понимает что-нибудь? В три раза увеличу налоги и трижды умножу законы. Но — сделаю народ великим! Железные прутья, железные законы народу. И он станет бессмертным! Просыпаться утром и знать, что ты властелин, засыпая — чувствовать свою власть! Работать без конца, но работать — для себя, никому не повиноваться, ни человеку, ни Богу, быть вне всего, вне закона! ...Я буду королем! ...Я буду императором! Над всей землей!...».

К сожалению, пьеса «Вне закона» была единственной попыткой поставить проблему власти. Однако, советская литература не могла совсем не заметить процесса становления и отвердевания тоталитарного государства. Не могла прежде всего потому, что в народе (и в партии) не выветрилось еще революционное сознание, и неминуемо должен был возникать протест против советских помпадуров, бюрократизма, партийно-государственого чиновничества.

В литературе дух протеста, естественно, выражали те писатели, которые, как, например, Артем Веселый, были подняты революцией из глубин народа — и поплыли «вольницей» по «рекам огненным»; партизанили, большевичили, потом стали фронтовыми агитаторами и через партийную газетную работу пришли к писательству. В марте 1929 года журнал «Молодая гвардия» напечатала рассказ Артема Веселого под многозначительным заглавием: «Босая правда».

Написан рассказ в форме письма: бывший пулеметчик Семен Горбатов, командир эскадрона Афанасий Сычев, боец Егор Марченко пишут жалобу в Москву — старому своему командиру, Михаилу Васильевичу. В имени командира — намек на Фрунзе, умерщвленного, как передавали, на операционном столе по приказу Сталина; то была жалоба «на тот свет», безответная. «Горе заставило нас писать, — заявляли бывшие бойцы революции. — Надо открыто сказать правду — в жизни нашей больше плохого, чем хорошего». Беда у них была вот какая:

«...Было время, мы протаптывали для дорогой советской власти первые кровавые тропы, а теперь она забывает нас. ...Где-то и кто-то разъезжает по санаториям и курортам, а у нас в станице в этом году на лечение 28 красных инвалидов совет ассигновал 47 рубликов. Прикинь, дорогой наш командир, поскольку это выйдет на голову. Для нашего излечения жалеют кубанской грязи, а ведь мы ее, эту грязь, своей кровью замесили. ...Не мимо говорит пословица: «Лаял Серко — нужен был, а стар стал — со двора вон».

Не нужны стали бойцы революции. На авансцене появились новые герои:

«...Посиживают они в холодочке, чаи гоняют, о массе не думают, сами себя выбирают, сами себе жалованье назначают. ...Дети их лезут в комсомол, а внуки в барабанщики. ...Взять хотя бы секретаря нашей ячейки Маркина. Деляга парень — плакаты рисует, лозунги пишет, диаграммы составляет, уголки организовывает, на всех собраниях выступает, полы в ячейке и то сам моет: расходам экономия, — а на бархатное знамя и на приветственные телеграммы за год израсходовал больше двухсот рублей. Попадешься Маркину на глаза и сейчас он сноровит разграфить тебя и занести в какой-нибудь список. ...Или вот другой наш вождь — заведующий кооперацией, бывший кузнец Евтихий Воловод. Закрыл глаза портфелем, прибил, гад, на кабинетной двери лозунг: «Без доклада не входить». ...За что мы, Михаил Васильевич, воевали — за кабинеты или за комитеты?».

Вопрос трагический. К «полурассказу» Артема Веселого редакция журнала добавила примечание: «Ответ командира будет напечатан в одном из ближайших номеров «Молодой гвардии». Вместо «ответа командира», однако, в майском номере «Молодой гвардии» появился документ, который навсегда останется в анналах советской литературы:

Постановление ЦК ВКП(б). 8 мая 1929 года.

Объявить строгий выговор редакции «Молодой гвардии» за помещение в № 5 «Молодой гвардии» «полурассказа» Артема Веселого «Босая правда», представляющего однобокое, тенденциозное и в основном карикатурное изображение советской действительности, объективно выгодное лишь нашим классовым врагам.

Нет, власть не любит «босой правды»! Вокруг Артема Веселого закружила метель-свистопляска: вслед за постановлением ЦК ВКП(б) в том же журнале появилась статья — «О правде слепой и однобокой», Иосиф Уткин написал автору «Босой Правды» письмо в стихах с угрозой: «Мы шлёпнем

тебя...». Артем Веселый, один из талантливейших художников революции, так и не оправился от этого удара: в 1933 году он прошел чистку партии, а в 1936 году — исчез без следа.

«Босая правда», однако, заявляла о себе не только в книгах Артема Веселого. «Живой дух протеста в человеке» отметил Ф. Гладков в повести «Кровью сердца»; в рассказах «Головоногий человек» и «Вдохновенный гусь» он нарисовал типы приспособленцев, услужающих новой власти. Теме власти неизменно сопутствует тема приспособленчества. Насколько крепка духовная сопротивляемость человека? Нет спора, она не оборвалась и поныне, на тридцать пятом году революции. Вера в человека всё же понизилась. В 1931 году в Москве появилась книга Петра Ширяева: «Четверг Наташиной жизни» — сборник рассказов, объединенных общей темой о небрезгливости и приспособляемости человека, о нравственной забывчивости, доходящей до цинизма. В рассказе Е. Габриловича «История дня» был нарисован портрет 24-летнего беспартийного агронома, который приспособлялся не потому, что хотел пробраться в местком, вступить в партию, устроить свое благополучие. Нет, новый приспособленец, по-Габриловичу, является «образцом замечательного общественного явления», сущность которого в том, что «революция создала огромное психомоторное давление на человека, особенно повысившееся именно сейчас» (рассказ написан в 1930 году). Под влиянием огромного и притом постоянного в своей направленности общественного давления изменяется вся психофизиология человека, происходит «мимикрия организма, сложнейшая из всех общественных мимикрий».

Государственная власть всегда давит на человека, но никогда это давление не было столь всеохватывающим, тотальным, как в советской России после «великого перелома». Тоталитарная власть не позволяет человеку уйти в свою маленькую жизнь: она или порабощает его целиком или уничтожает. «Нейтралитет — это скрытое вредительство», таким эпиграфом Дм. Четвериков снабдил свою повесть «Записки контры», о жизни маленького корректора в одном «висящем на волоске» издательстве. Новое государство не терпит нейтралитета. В повести Ал. Макарова «Путь секундной стрелки» даже ничтожному курьеру, не знающему ничего, кроме беготни с пакетами и разливания чая, приходится выслушивать упреки: «Вся беда твоя — государственности в тебе нет».

В сознании писателей конца двадцатых, начала тридцатых годов не могли не возникать страшные видения будущей — полностью обюрократизированной и огосударствленной — жиз-

ни. Писатель-сатирик М. Роги в 1930 году написал роман «Черепахи в автомобиле», действие которого развертывалось вокруг полуфантастического учреждения — «Треста жизненных затруднений». Трест этот помещался в здании, повсюду увешанном ограничительными надписями, и заседали там люди-автоматы, похожие не то на черепах, не то на портфели, набитые до отказа бумагами. Они разрабатывали такие вопросы: «О мерах содействия к созданию радужного настроения среди ожидающих приема и дикого восторга при отказах». Кроме «Черепах в автомобиле» М. Роги, отметим «Величие и падение Андрея Полозова», а также «Сложный ход» Я. Рыкачева и «Иван Вадимыч, человек на уровне» М. Кольцова.

Вслед за темой власти и приспособленчества, стандартизации и унификации, осуществляемой в тоталитарном государстве, в советскую литературу начала тридцатых годов вошла тема тюрьмы и концлагеря. Тема тюрьмы зазвучала сперва в поэзии. В октябре 1929 года читатели журнала «Октябрь» прочли такие стихи:

«Над рекой стоит, навеки сгорбясь,
Полуночный одиночный корпус.
Может быть, годок пятидесятый
Он стоит, решетками распятый.
Как, мой друг, руками ни ворочай,
Замок наш замками закурочен.
Камень красный, камень рыжий, камень желтый...
До чего ж, товарищ мой, дошел ты?
Кровь свою ты пролил для того ли,
Чтоб нежданно мы лишились милой воли?»

Правда, стихи эти — по обнаженности тоски, по прямоте высказывания — представляют исключение, как исключительным было и судебное дело их автора, молодого поэта Вл. Аврущенко. В прозе такое исключение составляет повесть молодой писательницы Натальи Гирей — «Шестьдесят восьмая параллель», в которой с симпатией описаны кулаки, высланные с Украины, Алтая, Поволжья на стройку Хибиногорского комбината. Большинство книг о концлагерях: «Беломорстрой», «Аристократы» Н. Погодина, «Большая Печора» В. Канторовича, разумеется, восхваляли работу НКВД. Тем не менее, даже такие книги свидетельствовали, что в России начала тридцатых годов установился режим тюрьмы и каторги. «Каэры», «соцвреды», «тридцатипятники», — эти слова вошли в обиход. В книге В. Канторовича о Печоре, вышедшей просто-напросто в серии «Библиотека экспедиций и путешествий», имелась глава:

«Запечатанный район», открывавшая внимательному читателю, пусть маленький, но всё же краешек правды.

Беседуя со Сталиным 13 декабря 1931 г., Эмиль Людвиг поставил вопрос: «Мне кажется, что значительная часть населения Советского Союза испытывает чувство страха, боязни перед советской властью и что на этом чувстве страха в определенной мере покоится устойчивость советской власти. Мне хотелось бы знать, какое душевное состояние создается у вас лично при сознании, что в интересах укрепления власти надо внушать страх. Ведь в общем с вашими товарищами, с вашими друзьями вы действуете совсем иными методами, не методами внушения боязни, а населению внушается страх».

Неподражаемый мастер политического интервью, Людвиг так ставил вопросы, что Сталин вынужден был признать, что «политика устрашения... действительно существует». Теме тюрьмы и концлагеря в советской литературе того времени сопутствовала и тема страха. Юный Ярослав Смеляков тогда только начинал писать. Он был рабочим московской 18-й типографии, быть может, единственный из всех «ударников, призванных в литературу», обладавший подлинным поэтическим дарованием. В стихотворении «Страх» он писал:

«И так сквозь мой рост, совсем молодой,
Сквозь радость, сквозь полночь,
Сквозь мрак
Я быстро пронес непонятный, немой,
Почти первобытный страх».

Пять лет спустя, в 1937 году, этот юный поэт был объявлен «контрреволюционером» и отправлен в концлагерь... «лечиться от страха».

Никто не поставил тему страха с такой глубиной, как Александр Афиногенов в пьесе «Страх», которая в 1931 году одновременно шла в Художественном театре в Москве и Александринском — в Ленинграде. Главный герой пьесы — проф. Бородин, ученый физиолог, научный руководитель Института физиологических стимулов. В нем есть нечто от И. П. Павлова. Поведение человека, по-Бородину, определяется не «классовыми интересами», а вечными биологическими стимулами, каковы любовь, голод, гнев, страх. Высшая точка драмы — сцена доклада проф. Бородина, в котором он заявляет:

«Вместе с партийными товарищами, из которых я особенно отмечаю энергию Николая Петровича Цехового, мы провели объективное обследование нескольких сотен индивидуумов различных общественных прослоек. ...Общим стимулом пове-

дения 80% всех обследованных является страх... ...80% всех обследованных живут под вечным страхом окрика и потери социальной опоры... Молочница боится конфискации коровы, крестьянин — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партийный работник боится обвинения в уклоне, научный работник — обвинения в идеализме, работник техники — обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет отрекаться от матерей, подделывать социальное происхождение, пролезать на высокие посты. Да, да... На высоком месте не так страшна опасность разоблачения».

После доклада, заканчивавшегося призывом: «Уничтожьте страх, уничтожьте всё, что рождает страх, и вы увидите, какой богатой творческой жизнью расцветет страна!» — проф. Бородина арестовывают. Клара, старая большевичка, член контрольной комиссии, произносит трескучую речь. В тюрьме проф. Бородин раскаивается и признает «заблуждения». Но зритель... уходит из театра с тайной мыслью: да, мы вступили в эпоху великого страха!

Трагизм эпохи великого страха был, однако, не только, пожалуй, даже не столько в том, что утвердился тоталитарный режим, не терпящий нейтралитета, покрывший пространства России концентрационными лагерями и отрезавший ее железным занавесом от Европы. Власть, каким бы сатанинским динамизмом она ни обладала, как бы ни была она безжалостна и жестока, не смогла бы укрепиться посредством одного голого террора. Трагизм был в том, что и в недрах самого общества — наряду с вспышками революционного сознания, протестами против бюрократизма, приспособленчества, стандартизации и унификации, — действовали силы, способствовавшие утверждению тоталитарного строя.

Духовная свобода никогда не дает людям комфорта; она требует изнурительной непрерывной борьбы и чаще всего достигается ценою нужды, одиночества, даже изгнания. Прежняя русская интеллигенция выдвинула немало рыцарей свободы. Но в новой России интеллигенция выродилась, зачахла. Начало двадцатых годов еще было окрашено «интеллигентским пессимизмом»; после Есенина, в 1926 году, волна самоубийств прокатилась по всей стране. Поразительно, что Германия тогда тоже пережила эпидемию самоубийств, — факт, напоминающий, что всё происходящее в России является только частью общего мирового процесса. В Германии духовный разброд «преодолевался» на путях иррационализма, низменной мистики расы и крови; «преодолевался» в кавычках потому, что то

была только видимость преодоления. В отличие от немецкого нацизма, большевизм обоготворял не иррациональное, а рациональное. В России духовный разброд «преодолевался» на путях прагматизма, определившего климат эпохи «великого перелома». Понятие бедности, страдания, свободы, как духовного дара, чуждо прагматизму. Прагматизм ищет комфорта. Не обязательно комфорта диванных подушек, но во всяком случае — комфорта духа. Отвергая «интеллигентскую» раздвоенность, — мучительную, болезненную, — прагматизм стремится к цельности, простоте.

«Жизнь учила веслом и винтовкой,
Крепким ветром по плечам моим
Узловатой хлестала веревкой,
Чтобы стал я спокойным и ловким,
Как железные гвозди — простым».

Так писал Николай Тихонов в начале двадцатых годов. В литературу он пришел с фронта. В годы войны по его плечам хлестали ветры Прибалтики, где он скакал в кавалерийском эскадроне. Пройдя большую школу жизни и войны, он и впрямь, наверное, стал ловким и спокойным в опасности, но — отнюдь не простым. Первые книги Н. Тихонова называются: «Брага», «Орда». В них Тихонов — русский националист с закваской анархизма. В анкете «Серпионовых братьев» он писал, что за анархизм его большевики когда-нибудь повесят: «Пока не повесили — пишу стихи». Мотив виселицы звучал в его стихах того времени:

«Я из тех, которых, может, сто, —
О которых чуточку иначе
Ночью ветер плачет под мостом,
Да шатаясь виселица плачет».

Большевики не повесили Николая Тихонова, — они увешали его орденами. После «Баллады о гвоздях», дорога Тихонова шла к «Анофелесу» — повести, высмеивавшей старого интеллигента, рыцаря культуры, к «Кочевникам» и «Войне» — повести о гниющей и разлагающейся (не простой!) Европе, наконец, к положению советского генерала от литературы, душевная опустошенность которого прикрыта щитом золотых орденов. Возможность трансформации поэта-анархиста в вершеслагателя-большевика была заложена в соблазне простоты и цельности, выраженном в «Орде» и «Браге».

Николай Тихонов выражал то, что носилось в воздухе. Кончились времена, когда интеллигенция считала себя «солью земли». Неуверенному интеллигенту, склеенному из кусочков,

монтированному человеку, не находилось места в стране, подвластной волевому началу, активизму. Ольга Форш в «Символистах» столкнула два мира: мир Зои Кайдановой — французских стихов, ковров, сувениров, чувств трогательных и нежных, — и мир ее дочери Нины: — «У Нины стол, стул, железная кровать — вот и всё барахло. Конечно, Ленин на полке, три трапеции». Тут всё разграфлено по линейке: симпатии и антипатии четко разграничены, ненависть — по одну сторону, любовь — по другую; никаких промежуточных чувств, которые бы затушевывали антагонизмы, сглаживали противоречия. Такой мир действительно прост. На смену монтированному человеку пришли новые люди — «вырубленные, литые». Николай Браун, написавший в 1930 году «Слово к интеллигенту», тогда же в стихотворении «Вылазка в будущее» писал:

«Каждая доля — как лёд свежа:
Сверять инженеру куски чертежа,
Красноармейцу — границы беречь,
Агроному — борозды гнать по вехам,
А мне — командиру словесных сеч —
Переделывать заново человека».

Каков он, новый человек, в воображении поэта?

«Не выродка дряблого, не раба,
Я вижу его, новорожденного!
Весь он — как вырубленный, как литой!
Он идет по земле молодой пятой.
Торгаши разменяны, выкурены в дым,
С женами, с подметками, с ерундой подачек, —
Идет он, отары городов поводырь,
Норов природы к рукам присобачив».

Кайданова-мать в «Символистах» О. Форш справедливо говорит, что этот «вырубленный, литой» человек внутренне опустошен, что у нас нет больше человека, а — только «икра человечья». Кайданова-дочь, обидевшись, «встала прямая, жесткая», крикнула: «А коллектив, даже такой, всё же ценнее одного че-ло-ве-ка».

Коллектив! Масса, класс... Партия, государство...

Поразительный феномен нашего времени. Во всем мире, не в одной России, происходит процесс отмирания старых норм морали, предписывавших детям — почитать отца и мать, жене — повиноваться мужу, верноподданным — поклоняться королю, как Божьему помазаннику. Только один пункт старого морального кодекса не перестает расширяться и утверждаться в своем

значении: лояльность по отношению к государству. Теперь уже недостаточно «патриотизма»: каждый гражданин, обыватель, человек улицы должен иметь «государственное сознание». Не одни русские, но и англичане, французы, американцы всё больше и больше становятся «государственными людьми». Государство настолько вторгается в частную жизнь повсюду, что у человека неизбежно возникает, укореняется и растет чувство своей принадлежности государству.

Но, опять-таки, дело не только в нажиме со стороны государства. «Огосударствление» человека облегчается тем, что человек сам отдается государству. Лишившись внутренней опоры — религиозной веры, он ищет внешней опоры — в массе, классе, партии, государстве. Он обоготворяет массу.

В пьесе немецкого коммунистического писателя Эрнста Толлера «Человек-масса» говорится: «Масса — это вожатый. Масса — это сгущенная сила. Масса — это дело. Масса — это плененная тяга. Масса — это молитвенная воля. ...Воля массы — закон. Масса священна. Да святится масса — меркнет человек». Быть может, русскому человеку не свойственна такая мистика коллектива, но несомненно, что новое прагматическое сознание требует от него слияния с массой. Принадлежать чему бы то ни было, но непременно могучему, крепкому, чувствовать себя как-бы влитым в скалу — «комфортабельнее», нежели быть открытым всем ветрам, духовно скитаться, жить в сиротстве и тоске.

В «Молодой гвардии» — журнале, предназначенном для юношества! — молодой поэт Иосиф Уткин (тогда ему было только 26 лет) напечатал в 1930 году стихотворение «Герой нашего времени. Художник и тема». Начиналось оно такими строками:

«В дырявых носках
Просыпалась Москва,
Глаза протирал рассвет,
С женой пошутив,
Дитю приласкав,
Встает за соседом — сосед.

Выходят соседи,
Просты и легки.
Завод их, как дом, зовет.
Как матери,
За руки взяв их — гудки
Ведут за собой
На завод.

И в черном трико
Балансирует дым
Над трубами,
Над трудом.
И смотрит поэт,
И завидует им,
Как нищий, зашедший в дом...
Что может быть хуже,
Ненужней, глупей,
Вот этой свободы — вот!
Вот этой свободы,
Вот этих цепей
Интеллигентских свобод!»

От этих стихов веет искренностью. Молодого поэта тяготит свобода: ему нечего с ней делать. «Мне хочется стать эпохе во фланг!» — восклицает он в конце стихотворения. Во фланг, т. е. в шеренгу. Так, чтобы его подпирало со всех сторон и несло. Куда, это неважно. Вл. Луговской тоже обращался к эпохе: «Возьми ты меня в переделку и двинь, грохоча, вперед!». Нужно быть свободным человеком, чтобы бороться против течения. Но свобода уходит — почти ушла — из мира. Даже поэты хотят, чтобы их брали за руки и вели, двигали. В примечательном диалоге поэта и прозаика, написанном А. Лежневым в 1930 году («Новый мир», 1930 г., № 1), так определялось направление советского искусства:

«Синтетичность. Энтузиазм. Коллективизм. Динамика. Под этим знаком будет развиваться искусство, если оно хочет сохранить себя, как великую социальную силу. Конечно, полного развития такое искусство сумеет достигнуть только при развернутом социализме. Но и сейчас эти вехи должны служить нам для того, чтобы по ним прочертить наш путь. И если синтез искусств — дело будущего, то культура энтузиазма, динамика — то, что нам нужно сейчас, для стройки сегодняшнего дня».

Возникает, однако, другой вопрос: найдет ли человек «комфорт» в многоликом — или безликом — потоке массы? Удовлетворится ли он таким «комфортом»? Нет, пройдет какое-то время и человеку, удушенному коллективом, захочется дать реванш коллективу. Возникнет другая тема — культ сильной личности — культ вождя. Во второй половине тридцатых годов в центре советской литературы и будет поставлена эта новая тема — тема Вождя, Большевика, «Хозяина жизни».

Михаил Коряков

З. Н. ГИППИУС

ЕЕ СУДЬБА

«Недолгий след оставлю я
В капризной памяти людской».

З. Гиппиус.

I

Всего семь лет прошло — а кажется вечность — со смерти Зинаиды Николаевны Гиппиус — (она умерла в Париже 9-го сентября 1945 года), и вот мы уже почти ничего о ней не помним. Да и как помнить: что мы о ней знаем? Кое-какие внешние, притом не всегда даже главные факты, о которых она рассказывает в своей книге о Мережковском. Но и в ней она старается говорить о себе возможно меньше, сознательно отодвигая себя на второй план. Она это делает, впрочем, не из скромности, — она себе цену знает, — а из какого-то, ей самой непонятного, желания оставаться в тени.

Об этом нельзя не пожалеть: как личность, как поэт и писатель, она явление не менее оригинальное, не менее значительное, чем затмивший ее своей славой Мережковский.

О ней можно бы написать книгу — неожиданную, захватывающую: судьба этой женщины необычайна. Да, между той Зинаидой Николаевной, какую мы знаем, и той, какой она была на самом деле, — пропасть.

Она оставила после себя записные книжки, дневники, письма. Но главное — стихи. Вот ее настоящая автобиография. В них — вся ее жизнь, без прикрас, со всеми срывами и взлётами. Но их надо уметь прочесть. Если нет к ним ключа, лучше их не трогать: попадешь в лабиринт, из которого не выбраться.

Она родилась 8-го ноября 1869 года в городе Белёве от чахоточного отца, семья которого переселилась в Москву из

Германии в XVI веке, и прелестной женщины, сибирячки, Анастасии Степановой.

«Не март девический сиял моей заре,
Ее огни зажглись в суровом ноябре».

Странная девочка, на других не похожая. Крошечная, крошечная, в розовой вязаной кофточке, с вечно растегнутой последней пуговицей. И какая серьезная!

Родителей она обожала. Ее привязанность к ним была такая страстная, что когда по настоянию отца ее отдали в киевский институт она не могла перенести разлуки, заболела и почти всё время провела в институтской больнице. Разлука для нее — хуже смерти.

«Живые, бойтесь земных разлук!»

Она как будто знает с рождения, что:

«Любовь не стерпит, не отомстив,
Любовь отнимет свои дары».

«Я с детства ранена смертью и любовью», отмечает она в 1922 году, в своем «Заключительном Слове». А в книге о Мережковском, рассказывая о своем отце, она пишет: «Я его так любила, что иногда, глядя на его высокую фигуру, на него в короткой лисьей шубке, прислонившегося спиной к печке, думала: «А вдруг он умрет? Тогда я тоже умру». Он умер, когда ей едва минуло одиннадцать лет. Но уже раньше, по поводу смерти в их доме одной дальней родственницы, она замечает: — «Смерть тогда на всю жизнь завладела моей душой». Смерть отца для нее как бы начало ее собственной смерти, которую она тогда ощутила впервые со всей ей доступной реальностью. Не успела родиться, как уже начала умирать. Не даром прозвали ее в Киевском институте «Маленький человек с большим горем».

После родителей она больше всего любит свою единственную «нянечку Дашу» — Дарью Павловну Соколову.

«Она никогда не узнает,
Как я любил ее,
Как эта любовь пронзает
Всё бытие мое.

Любил ее серое платье,
Волóс ее каждую прядь.
Но если б и мог сказать я,
Она б не могла понять».

Нянечка Даша зовет ее «Батюшка белый» и носит перед сном на руках вокруг зала. Она же водит ее гулять в Летний Сад. Отец З. Н. дважды пытался обосноваться в столице, но петербургского климата не выдерживал и переводился в провинцию, во второй раз в Нежин, город Гоголя, где вскоре и умер от острого туберкулеза.

«В первый раз мы жили там, когда мне было всего четыре года», вспоминает З. Н. о своем «первом Петербурге». «Мне помнятся только кареты, в которых мы ездили, да памятник Крылова в Летнем Саду, куда меня водила няня Даша и где играло много детей. Впрочем, еще Сестрорецк, лес, море и белые снежинки, падавшие на мое белое пальто (в мае)».

«Я претепло одета,
Под капором коса.
Иду — теперь не лето —
Всего на полчаса».

Но однажды няня Даша повела ее не в Летний Сад, а в Гостиный двор — покупать куклу. Был конец марта и не белые снежинки падали на ее белое пальто, а громадные хлопья мокрого снега, похожие на грязные носовые платки. Но «маленького человека» ждало разочарование — первое в жизни. Тот, по ее словам, «удар о стену, которую мы, может быть, перейдем только после смерти». Вместо куклы она пожелала живую девочку, находившуюся в магазине, да так настойчиво, с такой страстностью, что няня Даша с трудом увела ее домой.

«Желанья были мне всего дороже...»

В этом ее первом желании, как в фокусе, всё о чем она потом в жизни мечтала и от чего не могла, не умела (а, может быть, просто, в глубине души, не хотела) отказаться. За несколько недель до своей смерти, она, полупарализованная, на обложке книги, которую перелистывает — антологии русской поэзии «Якорь» — левой рукой, справа налево, так, что прочесть написанное можно только в зеркале, нацарапывает:

«По лестнице, ступени всё воздушней
И с каждым шагом сердце равнодушней
. . . . . .
И дальше от былого бытия...»

Эта беспомощная, последняя попытка себя преодолеть — одно из бесчисленных доказательств ее воистину необыкновенной живучести:

«Неугасим огонь души».

Но кто мог бы предположить, что в этом хрупком, эфемерном, не от мира сего, существе, какой она казалась, такая сила?

II

Первая исповедь. О ней — в «Заключительном Слове». Бедная, на деревенскую похожая, церковь. За высокими окнами — верхушки зеленеющих деревьев. Тишина. Весна... Кстати, как это до сих пор никто из критиков не отметил ее замечательный язык — ясный, острый, сверкающий, как чистейшей воды алмаз? По поводу этой своей первой исповеди она пишет: «Но искупленья я еще не понимаю» и прибавляет: «Я, очевидно, не понимаю и покаяния».

Теперь, когда ее «труды и дни» известны, это признание особенно поражает, чтобы не сказать потрясает. За всю ее долгую жизнь — ни одного факта, ни даже намека на факт, который свидетельствовал бы, что она хоть раз чистосердечно в чем-нибудь покаялась, смирилась, признала себя виноватой или хотя бы просто попросила у кого-нибудь прощения, извинилась. Нет — ни смирения, ни покаяния. Она словно боится, что смирившись, покаявшись, она потеряет тот внутренний «упор», ту от ее сознания скрытую «пружину», благодаря которой она, плохо ли, хорошо ли, но продолжает держаться на поверхности, когда другие, камнем идут ко дну.

«Но слабости смирения
Я душу не отдам...
. . . . . .
Не дам Тебе смирения,
Оно — удел рабов».

В своей книге о Мережковском, она вспоминает, что когда ее отец был ею недоволен, он переставал обращать на нее внимание, и она знала, что необходимо (ее слово) идти просить прощения. Но о том, каких ей это стоило усилий, она молчит. И что она шла и прощение просила свидетельствует о ее действительно безграничной к отцу любви. Безгранична ее любовь и к Мережковскому. Ради него она готова на любую жертву, на любую ложь. Но к спасению души, это конечно отношения не имеет никакого.

Стихи писать она начала семи лет. Вот ее первое стихотворение:

«Давно печали я не знаю
И слез давно уже не лью.
Я никому не помогаю
Да никого и не люблю.

Людей любить — сам будешь в горе.
Всем не поможешь всё равно.
Мир что большое сине-море
И я забыл о нем давно».

А вот, для сравнения, другое, написанное в конце жизни:

«Я на единой мысли съужен,
Смотрю в сверкающую тьму,
И мне давно никто не нужен,
Как я не нужен никому».

Та же тема, тот же размер с неизменным мужским родом, а главное — то же отношение к миру, обиженно-презрительное, как у лермонтовского Демона.

В своей книге о Мережковском она так определяет свою натуру: «У меня остается раз данное, всё равно какое, но то же. Бутон может распуститься, но это тот же самый цветок, к нему ничего нового не прибавляется».

Всё, что она знает и чувствует в семьдесят лет, она уже знала и чувствовала в семь, не умея этого выразить. «Всякая любовь побеждается, поглощается смертью», записывает она в 53 года («Заключительное Слово»). И если она, четырехлетним ребенком, так горько плачет после своей первой любовной неудачи («живая кукла»), то оттого, что с предельной остротой почувствовала, что «л ю б в и н е б у д е т», как почувствовала после смерти отца, что умрет.

Не менее интересно и ее второе стихотворение, написанное два года спустя, то есть — когда ей было девять лет.

«Довольно мне тоской томиться
И будет безнадежно ждать!
Пора мне с небом примириться
И жизнь загробную начать».

У Лермонтова:

«Хочу я с небом примириться».

Даже, если она в девять лет «Демона» читала, что очень возможно, — это не подражание. В 1905 году она пишет:

«Мне близок Бог, но не могу молиться,
Хочу любви, и не могу любить».

У Лермонтова:

«Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться».

Недаром ее так к Лермонтову влечет, к его стихам, из которых она многие даже наизусть помнит (свои, за редкими исключениями — никогда).

«Я видел прелесть бестелесных
И тосковал,
Что образ твой в чертах небесных
Не узнавал».

Или:

«Сады благоуханьем
Наполнились живым,
Тифлис объят молчаньем,
В ущельях мгла и дым».

С Тифлисом у нее, кстати, связаны лучшие воспоминания молодости. Ведь там 8-го января 1889 года она вышла замуж за Мережковского.

О ее детстве и первых юношеских годах мы не знаем почти ничего. Время, в каком она родилась и выросла — семидесятые-восьмидесятые годы, не наложило на нее никакого отпечатка. Она с начала своих дней живет как бы вне времени и пространства, занятая чуть ли не с пеленок решением «вечных вопросов». Она сама над этим смеется в одной из своих пародий, писать которые, кстати, она мастерица.

«Решала я — вопрос огромен —
Я шла логическим путем,
Решала: нумен и феномен
В соотношении каком?»

Вопросы общественные? Какая скука! И когда на ее горизонте появляется двадцатитрехлетний Мережковский со своим отвлеченным гуманизмом и своими, даже для того времени, слабыми стихами, она в первую минуту инстинктивно от него отшатывается. Ведь не только стихи его слабы, но он и верхом не ездит и не танцует...

Она — человек страстей, и страсти пробуждаются в ней рано. Властвовать собой она научится не сразу, но в совершенстве. Уже ребенком она лжет, притворяясь опасно больной. От этого страдает ее мать, которую она любит больше всего на свете. Но она ее мучит и мучится сама. О чем она мечтает? Так, ни о чем...

«Хочу того, чего нет на свете».

Строчка эта когда-то облетела всю литературную Россию и с нее начинается поэтическая слава Гиппиус. Но человеку живому, как она, с этим ни под каким соусом несъедобным, твердокаменным идеалом делать нечего. Нет, о чем она мечтает втайне?

Она в этом не признается. Лишь замечает вскользь:

«Сны странные порой нисходят на меня».

Странные — чем? Почему она молчит? Но за нее отвечает Лермонтов:

«К тебе я стану прилетать
. . . . . .
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать».

Но так это или не так, во всяком случае ее стихотворение «Гризельда», написанное приблизительно в ту же эпоху, что и «Хочу того, чего нет на свете» (хронология впрочем роли решающей в ее творчестве, как и в ее жизни не играет, а лишь вспомогательную) свидетельствует, что кто-то — во сне или наяву — ей являлся. Она даже знает, кто, ибо с нескрываемым изумлением спрашивает:

«О, мудрый Соблазнитель,
Злой Дух, ужели ты —
Непонятый Учитель
Великой красоты?»

Есть ли за этим какая-нибудь реальность — об этом дальше. Но в те годы, в дни ее ранней молодости, проблема зла не очень ее беспокоит. И когда она встречается с Мережковским, она еще не знает, не решила — Мадонна она или ведьма? И то и другое ее прельщает. С выбором она, впрочем, не торопится: оба начала уживаются в ней прекрасно. А Мережковскому сочетание противоположностей, главным образом, и нравится.

III

Эта встреча — событие в ее жизни единственное.

Она ее считает провиденциальной. И она права. Они были действительно созданы друг для друга. Но не в том смысле, в каком это обычно принято понимать, то есть — не в смысле романтическом. Сравнивать их с Филимоном и Бавкидой, Дафнисом и Хлоей или с Афанасием Ивановичем и Пульхерией Ивановной можно лишь по наивности или незнанию.

Происходит эта встреча в Боржоме, в одно из воскресений конца июня 1888 года на танцовальном вечере в ротонде. Кто-то из ее поклонников-гимназистов — в нее конечно все влюблены — представил ей Мережковского. «Я встретила его довольно сухо, — пишет она в своих воспоминаниях, — и мы с первого же раза стали... ну не то, что ссориться, а что-то вроде». Еще до встречи ей как-то попадается «Живописное Обозрение» с его стихами, которые ей не нравятся. А ему, уже в Боржоме, не нравится ее портрет, при взгляде на который он восклицает: «Какая рожа!».

«Однако, после первой встречи, мы стали встречаться ежедневно, — продолжает она. — Но почти всегда разговор наш выливался в спор».

Она это объясняет тем, что у обоих был характер по-молодому неуступчивый, у нее в особенности. Но дело тут не в молодости и не в неумении себя сдерживать. Причина — глубже. С ее стороны, это, конечно, борьба с судьбой. Она требует свободы выбора. Но эта свобода ей не дана и может-быть это не случайно. Может-быть, если бы она знала, что ее ждет, чем обернется для нее брак с Мережковским, она испугалась бы и вышла бы за другого.

Да, жених интересен, остроумен, талантлив, но...

«Месяц светит,
Мертвец едет.
«Милая моя,
Не боишься ли ты меня?»

В 1894 году, на пятом году брака, она пишет:

«Беспощадна моя дорога,
Она меня к смерти ведет».

Что она говорит «к смерти», а не «к жертве», доказывает ее слепоту, ее полное непонимание того, чему она могла бы послужить. Жертва! Но как она от нее еще далека, какое страшное оказывает ей сопротивление!

О нем, в ее воспоминаниях, можно и не между строк прочесть. Мережковский в них, кстати, идеализирован, особенно в начале. Не так уж он был неизменно интересен и блестящ. Бывал и скучен, а то и просто невыносим, на что есть намек в ее дневнике 1893 года. С гимназистами ей было куда привольнее, веселее, а главное — спокойнее. Не было того вечного напряжения и страха, который она, неизвестно почему, в его присутствии испытывала и который ее смущал. «Любопытно, что у меня была минута испуга, признается она.

Я хотела эти свидания прекратить, и пусть он лучше уезжает. Что мне с ним делать?».

Она уже бывала, и не раз, влюблена, знала что́ это, а ведь тут — совсем что-то другое. Она так и говорит: «И вот, в первый раз с Мережковским, здесь, у меня случилось что-то совсем ни на что не похожее».

Это «ни на что не похожее» происходит как бы само собой, без какого-либо участия ее воли. 11-го июля, лунной ночью, во время детского танцовального вечера в ротонде, она с Мережковским как-то незаметно оказывается вдвоем на дорожке парка, что вьется по берегу Боржомки. «Я не могу припомнить, как начался наш странный разговор, — описывает она эту ночную прогулку. — Самое странное — это, что он мне тогда не показался странным. Мне уже не раз делали, как говорится, «предложение», еще того чаще слышала я «объяснения в любви». Но тут не было ни «предложения», ни «объяснения». Мы, и главное оба — вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся и что это будет хорошо».

Так же, без участия ее воли, словно во сне, происходит «само собой», в Тифлисе, утром 8-го января 1889 года венчание. «Я была не то в спокойствии, не то в отупении, — говорит она. — Мне казалось, что это не очень серьезно».

Вечером Мережковский уходит к себе в гостиницу, а она ложится спать, забывая, что замужем. И только на другое утро едва вспоминает, когда ей мать, через дверь кричит: «Ты еще спишь, а уж муж пришел! Вставай!».

И она восклицает в тон Флоберу: — «Муж? Какое удивление!».

Но едва она приходит от «отупения» в себя — уже в Петербурге — как опять начинаются ссоры. Да какие! Она упоминает о них вскользь, — дело прошлое! Но по его тогдашним стихам — он их, по утрам, всё так же упорно пишет — видно, что ему, бедному, в этот первый год брака жилось невесело. Но он покоряется, с горечью восклицая:

«Кто любит, должен быть рабом».

А потом как-то всё само собой утрясается. Она, впрочем, от сопротивления не отказывается, но начинает понимать, что Мережковский перед ней неповинен ни в чем, что не он враг, а некая слепая сила, рок, с которой она продолжает вести борьбу — с переменным успехом.

«Кем не владеет Бог — владеет Рок».

Но одного она понять не может: это что, иногда борясь, как ей кажется, с роком, она на самом деле борется с Промыслом. А между тем, она каким-то «шестым чувством» угадывает, что бывают случаи, когда ее поражение — победа.

«Тебя приветствую, мое поражение,
Тебя и победу люблю равно́».

Тем же «шестым чувством» она угадывает, что ее сомнительный брак с Мережковским, на самом деле для обоих — несомненно спасителен: он их спасает от впадения в ничтожество окончательное, от метафизического небытия.

IV

Что было бы с ними, если бы они не встретились — вопрос праздный. Не всё ли равно, какую форму приняло бы восторжествовавшее в них небытие?

Он, наверное, женился бы на купчихе, наплодил бы детей и писал бы исторические романы вроде Данилевского. Она... о ней труднее. Благодаря ее мужественности и динамизму — возможностей у нее больше. Спортсмэнка, — она любит риск, игру и во всем старается доходить до конца. Он, да что он! Как сказано у него в паспорте: «к отбыванию воинской повинности признан негодным»...

Может быть, она долгое время находилась бы в неподвижности, как в песке угрузшая, невзорвавшаяся бомба. И вдруг взорвалась бы бесполезно, от случайного толчка, убив несколько невинных младенцев. А, может быть, и не взорвалась бы: какой-нибудь специалист-техник, вроде Рюрика Эдуардовича Оказионера, героя одного из ее рассказов, вовремя «спас» бы ее, разрядив духовно, и она продолжала бы мило проводить время в обществе гимназистов и молодых поэтов... В том же духе можно продолжать без конца; однако, не лучше ли поставить вопрос иначе: не что было бы с ними, если бы они не встретились, а как могли они прожить вместе... ну, скажем, больше недели, а не то, что пятьдесят с лишним лет, и не сойти с ума, хотя бы от этого зависело их спасение? Это — гораздо интереснее.

Впрочем, полной уверенности, что она осталась собою до конца — нет. Ведь ее «Заключительное Слово» (1922 г.) ничто иное, как попытка, правда — неудавшаяся, духовного самоубийства. Чтобы такой человек, как она, мог на это решиться, одних «супружеских сцен» недостаточно, необходимо

по меньшей мере какое-то сильное разочарование, минута отчаяния. Оно в ней, впрочем, таилось подспудно всегда. Стоит только прочесть ее стихи внимательно, — не узнать, не услышать его нельзя.

«И ноша жизни, ноша крестная,
Чем далее, тем тяжелей,
И ждет кончина неизвестная
У вечно запертых дверей».

Но это еще пустяки по сравнению, например, со «Змеиным яйцом» — одним из ее последних стихотворений.

Значит, кто-то из них любил недостаточно, чего-то главного в другом не понимал. И тогда не любовью союз их крепок, во всяком случае не нашей, человеческой любовью, а какой-то другой, неизвестной.

«Ты с бедной человеческою нежностью
Не подходи ко мне...»

Но вот что характерно: об этой безжалостной, сверхестественной любви у нее очень много, и в прозе и в стихах, до 1922 года, то-есть до ее попытки «погасить душу», как она говорит. И ни слова — после. Напротив: чем она ближе к своему «началу», тем «бедную человеческую нежность» ценит больше.

Через несколько дней после свадьбы они уезжают в Петербург, где устраиваются сначала в маленькой квартире на Верейской улице, а потом в знаменитом «доме Мурузи» на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской. Их совместная жизнь длится без малого пятьдесят три года — до его смерти.

Как это ни странно, по крайней мере на первый взгляд, в их браке руководящая, мужская роль принадлежит не ему, а ей. Она очень женственна, он — мужествен, но в плане творческом, метафизическом, роли перевернуты. Оплодотворяет она, вынашивает, рожает он. Она — семя, он — почва, из всех черноземов плодороднейший. В этом и только в этом смысле он — явление исключительное, небывалое, единственное. Его производительная способность феноменальна. Но идей — собственных, творческих — у него нет. Он питается духовными консервами, которые ни его самого, ни его собеседников — читателей у него еще слишком мало, чтобы о них говорить, — не питают. Его, еще до женитьбы написанная, пространная диссертация «О причинах упадка и о новых течениях русской литературы» так же слаба, как его стихи. Но З. Н. угадывает его настоящую природу, скрытое в нем

женское начало и лишь по неопытности — ведь ей всего девятнадцать лет — не чувствует внутренней пустоты за внешним блеском, которым он ослепляет «литературный» Боржом (его ослепить, кстати сказать, было не трудно). Его восприимчивость, его способность ассимилировать идеи граничит с чудом. Он «слушает порами», как она говорит, и по сравнению с ним она груба. Но у нее — идеи, вернее, некая, еще смутная не нашедшая себе выражения реальность, как бы ни на что не похожая, даже на рай, — новая планета: «Какие живые, яркие сны!» — это всё, что она может сказать.

Он к ее стихам прислушивается внимательно и не даром так дорожит утренними с ней прогулками по Боржомскому парку. Любит их и она. В этих прогулках, разговорах, даже ссорах — начало их сближения, того «духовного брака», потомство от которого будет «как песок морской».

В первый же год после свадьбы, в Петербурге, несмотря на непрекращающиеся ссоры, происходит одна важная перемена: он бросает стихи и начинает писать прозу. Она стихи не бросает, но тоже бóльшую часть времени посвящает прозе. Эта ее попытка — не первая: она уже писала прозой раньше — дневники, не говоря уже о письмах (их много, часто это образцы эпистолярного искусства).

Но теперь она прозу пишет главным образом из-за денег, чтобы дать Мережковскому возможность свободно работать над его первым романом «Юлиан Отступник». Откуда он, этот «Юлиан», а также его продолжение «Леонардо да Винчи» — вторая часть ставшей знаменитой трилогии? «Идея «двойственности», которую он развивал в романе «Леонардо»... казалась мне фальшивой, — пишет она в своих воспоминаниях... — И я принялась ему это доказывать». Напрасно: идея — ее, и у нее им взята.

«О, мудрый Соблазнитель,
Злой Дух, ужели ты —
Непонятый Учитель
Великой красоты».

И «Юлиан» и «Леонардо» вышли из этого четверостишия, случайно оброненного ею зерна. Но когда Мережковский был увлечен «двойственностью» («бездна вверху, бездна внизу»), она от этой идеи уже отошла, поглощенная другой, ставшей потом главной идеей его жизни.

Что она старается эти его «опоздания» объяснить, — а они понятны: так сразу ведь не родишь даже в плане духов-

ном, — доказывает, что она их, в сущности простых, взаимоотношений не понимает. Ей кажется, что те же идеи — в нем, но только до ее сознания они доходят раньше. У него, по ее теории. — «медленный и постоянный р о с т (курсив ее), в одном и том же направлении, но смена как бы фаз, изменение (без измены)». Смена фаз! Но дело ведь не в процессе беременности, а в обуславливающем этот процесс оплодотворении. И если бы она была в самозарождении его идей так твердо уверена, то не искала бы этому постоянно доказательств.

Конечно, сказать, что каждая его строка внушена ею — нельзя. Она дает главное — идею, а там уж его дело, он свободен оформить, развить ее по своему. Роль его не менее значительна и не менее ответственна, чем ее. Только это — не та, какую ему обычно приписывают... Чем мать — хуже отца? Ребенок принадлежит обоим, он един и неделим. А если трудно установить с точностью момент зачатия физического, то момент духовного оплодотворения — неуловим совершенно.

Изменяется и его внешний вид. Он приобретает постепенно тот «европейский» облик, над которым посмеивается В. В. Розанов: «Вот идет европеец». Как-то, в кругу близких, З. Н. рассказывала, играя цепочкой лорнета и пожимая презрительно плечами: «Ведь это я, первая, повела его к дантисту. А то у них в семье ведь как делалось: когда у кого-нибудь болели зубы, то клали на самовар... простите за выражение, подштанники, и когда они нагревались, их прикладывали к щеке»...

От этих «подштанников на самоваре» — закоренелого мещанства и сопутствующего ему дурного вкуса (а ведь он — сын царедворца!) Мережковскому вполне не освободиться никогда. Нет-нет, а мелькнет что-то в невольном жесте, в нечаянном слове, или, совершенно неожиданно, в прекраснейшей книге как, например, «Иисус Неизвестный». В последние годы своей жизни он, лежа по вечерам у себя на кушетке, исправляет свои старые стихи, — переставляет запятые, меняет слова, что-то вычеркивает, что-то прибавляет, потом отдает их в переплет. А их бы сжечь!

Да вот от чего она его спасает — даже не от подражания Данилевскому, не от «семипудовой купчихи», а от Прекрасной Дамы Графомании.

V

«Что касается меня, то я в это лето (1905 г.) вдруг погрузилась в одну мысль, которая сделалась чем-то у меня вроде idée fixe, и моя idée fixe была — «тройственное устройство мира». Эта и есть та идея, которая в ней зрела, когда Мережковский еще увлекался «двойственностью».

Он эту новую идею тотчас же подхватывает. Еще бы! Он ее «так понял подкожно, изнутри, — радуется З. Н., что ясно: она, конечно, была уже в нем еще не доходя пока до сознания». Как она скромна! Ведь за эту идею она чуть не заплатила спасением своей души и если не погибла, то лишь благодаря чуду. Но ей всё равно. Она свое дело — дело своей жизни сделала. Очередь за ним. И как свидетельствует ее запись, он оказался на высоте положения.

«Он дал ей (этой идее) всю полноту, преобразил ее в самой глубине сердца и ума, сделав из нее религиозную идею всей своей жизни и веры — Идею Троицы, Пришествия Духа и Третьего Царства или Завета (курсив ее). Все его работы последних десятилетий имеют эту — и только эту — главную подоснову, главную ведущую идею».

После такого апофеоза следовало бы эту, в сущности довольно банальную, историю поскорее кончить. А если она не кажется банальной, то по всей вероятности оттого, что речь не о простых смертных, а о Мережковском и Гиппиус. Ведь фактически настоящий очерк не меняет ничего. Всё остается на прежних местах. Ни один из шестидесяти томов сочинений Мережковского сочинением Гиппиус не становится. А что до «кухни творчества» — «кухни ведьмы» — то дело это личное, интимное и не касается никого. И слава Богу, что у писателя Мережковского такая умная жена.

Но тут-то самое интересное и начинается. Действие переносится в другой порядок, не в «мир неясного и нерешенного», по выражению Розанова, а наоборот — в мир очень ясного, но совершенно неуловимого — «impondérable», как сказал бы француз и для чего в русском языке соответственного слова нет. Как бы из «мира идей» в «мир запахов», если можно так выразиться.

«Блаженны нищие духом»...
Небо нагорное сине;
Верески смоленым духом

Дышат в блаженной пустыне;
Белые овцы кротки,
Белые лилии свежи...»

И вот среди этой, столь поэтически Мережковским описанной, благоуханной генисаретской идиллии —

«А Раввуни босоногий
Всё повторяет: «Блаженны»...

в смольный дух вереска и свежий аромат лилий вплетается вдруг, неизвестно откуда, невыносимое адское зловоние,

«Как будто тухлое разбилося яйцо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной».

Загадочно!.. Когда в 1903 году Победоносцев запретил петербургские Религиозно-Философские Собрания, то может быть одной из причин был этот неуловимый запах, который он почувствовал в царившей на собраниях атмосфере свободы...

Скажем сразу: Мережковский тут ни при чем, чертовщина от Гиппиус.

Для первого заседания Собраний, 29-го ноября 1901 года, в зале Географического Общества, она заказывает себе черное, на вид скромное, платье. Но оно сшито так, что при малейшем движении, складки расходятся и просвечивает бледно-розовая подкладка. Впечатление, что она — голая. Об этом платье она потом часто и с видимым удовольствием вспоминает, даже в годы, когда казалось бы пора о таких вещах забыть. Из-за этого ли платья или из-за каких-нибудь других ее выдумок, недовольные иерархи, члены Собраний, прозвали ее «белая дьяволица». Но это не дьявольщина, а дурной вкус и непростительное легкомыслие.

Верит ли она в Бога? Вопрос может показаться неуместным. Но при ближайшем знакомстве с ее «трудами и днями», он возникает сам собой. Так, сразу на него, однако, не ответишь. Одно можно сказать: в чорта она верит. Это — твердо. Вот, как верил Гоголь, Достоевский и как не верил Толстой. Чорт для нее — существо реальное, одно из ее главных, если не главное, действующих лиц. Впрочем, в ее произведениях он большей частью в тени, за кулисами и показывается лишь изредка, кроме тех случаев, конечно, когда рассказ или стихотворение ему посвящены. Но нельзя себе представить такого ее серьезного метафизического письма или разговора, где тема о чорте не занимала бы первого места.

«А он вдруг этак сочно, зычно,
Мужским ласкающим баском —
(Признаться даже неприлично,
И жутко было это в нем —)
Пророкотал...»

Что он пророкотал — не важно. Важно, что он с нею, что он —

«То ходит гоголем-мужчиной,
То вьется бабой вкруг меня.
А если дождик, — пахнет псиной
И шёрстку лижет у огня».

Важно, что она, превращаясь сама в чертовку, —

«Я сам в ненастье пахну псиной
И шерсть лижу перед огнем, —»

занимается тем, что крадет у «двух любовников любовь»:

«Сидят целуясь. А я украдкой
Как подкачусь, да сразу — хвать!
Небось друг друга теперь не сладко
Им обнимать да целовать».

Вот чему ее научил «Непонятый Учитель». Она сама рассказывала, как в молодости сделала себе однажды ожерелье из обручальных колец ее женатых поклонников. И с тем же легкомыслием, с каким она описывает свое для Религиозно-философских собраний придуманное кафешантанное платье, она в своих воспоминаниях приводит сказанную ею на паперти после венчания фразу: «Мне кажется, что ничего и не произошло особенного». На что один из свидетелей отвечает: «Ну нет, очень таки произошло, и серьезное».

В этом она, впрочем, и сама постепенно убеждается... «Нет, Дима, не могу так тебя любить, как я люблю Дмитрия...» (письмо Д. Философову, 1905 г.). «Ведь мы — одно существо», говорит она по поводу своих отношений с Мережковским, когда об этом однажды заходит разговор уже после его смерти. Это и непонятно и неприятно, но за этим определенная реальность. И если представить себе Мережковского, как некое высокое дерево с уходящими за облака ветвями, то корни этого дерева — она. И чем глубже в землю врастают корни, тем выше в небо простираются ветви. И вот некоторые из них уже как бы касаются рая. Но что она в аду — не знает никто.

VI

Лето 1905 года Мережковские проводят на даче в имении «Кобрино» по Варшавской железной дороге. Оттуда, в июле, она пишет Д. Философову длинное, на 32-х страницах письмо, — он живет с ними, но уехал на месяц к себе в имение в Псковскую губернию повидаться с матерью. Это письмо делает честь не только ее уму, но и мужеству, с каким она обнажает свою душу.

«Знаешь ли ты, или сможешь ли себе ясно представить, — спрашивает она Философова, — что такое *холодный человек* (курсив З. Гиппиус), холодный дух, холодная душа, холодное тело — всё холодное, всё существо сразу? Это не смерть, потому что рядом, в человеке же, живет ощущение этого холода, его «ожог» — иначе сказать не могу. Смерть лучше, когда она — небытие просто, и холод ее только отсутствие всякой теплоты; а этот холод — холод сгущенного воздуха, и бытие — как бытие в Дантовом аду, знаешь, в том ледяном озере...».

Вот когда она узнала, наконец, что такое «снеговой огонь», о котором ее душа с «вещей безудержностью» мечтала:

«Душа мечтает с вещей безудержностью
О снеговом огне».

Вот когда, на страшном опыте, она поняла, что сверкать «иглистостью» души — это одно, а в ледяной яме сидеть — другое.

«Я — черная вода пенноморозная
Меж льдяных берегов...»

И вот отчего веет иногда от Мережковских таким холодом — холодом междупланетных пространств, от которого льнущие к ним души замерзают, как на телеграфных проводах воробьи. Но того, каким страданием был этот холод для них самих, не представляет себе никто.

«Если и не поймешь — поверь мне, Дима, — продолжает З. Н., — очень это большое страдание... Я, холодная, — или мы, холодные, — мы чисто-холодные, уже без всякого призрака, подобия вечно-ощутительной и ощущаемой, движущейся вперед любви к человеку, к людям, к миру. Мы без жалости, без мягкости, без нежности. Оттого и страдание такое... Помнишь те «вечные муки» ада старца Зосимы, его слова о душе, уже сознающей, что избавление — любовь, понима-

ющей любовь, видящей ее — и не имеющей. Вот этот ад у меня теперь на земле...».

Можно только удивляться, как она действительно не сошла с ума. Ведь, если даже ограничить время ее пребывания в «ледяном озере» сроком с 1905 по 1922 год, когда она, наконец, сказала: «Нет, довольно!», то и тогда получается семнадцать лет. А на самом деле, может быть, не семнадцать, а вечность.

Но тут только ее необыкновенную силу жизни и понимаешь, так же как ее здоровый религиозный инстинкт. Казалось бы, когда как не сейчас думать о спасении личном? Именно сейчас, именно здесь, в аду, своя рубашка ближе к телу. Но нет, она в первую очередь думает не о себе. «Я чувствую, — говорит она, что об этом надо как-нибудь не словами, чтобы поняла чужая душа». Она — одна из многих: «Говорю о себе — но говорю смело, с правом, потому что и внутренним прозрением, и фактически, реально знаю, что не одна я такая душа, с таким страданием, а другие тоже, много, и сейчас есть, а потом еще больше их будет...».

Что дело спасения есть дело общее, «соборное», ей эта истина, конечно, известна. Но только здесь, в аду, она ей раскрывается и приобретает новый, неожиданный, единственно действительный, смысл. Вся тварь спасется, а раз в с я, то, следовательно, может спастись и дьявол, ибо и он — тварь, и он Богом создан. И она за дьявола молится:

«За дьявола Тебя молю,
Господь, и он — Твое созданье.
Я дьявола за то люблю,
Что вижу в нем — мое страданье».

Для добрых христиан эта молитва за дьявола — кощунство, так же как ее ад — выдуманный, ненастоящий: слишком много и умно она о нем говорит. В аду либо мычат, либо молчат. Но мы — плохие христиане и, в сущности, не ада боимся, а рая. Рай, при наличии, «вечных мук», хотя бы одного грешника, пусть даже осужденного справедливо — рай не вполне, как бы не рай. А от рая настоящего, «мировой гармонии», нас отделяет непреодолимый ужас: оправдание зла.

Но она бесстрашна и, как во всем, до конца идет и в этом. Пусть ее рассуждения об аде — длинны, однако, молчать, когда надо, она умеет. Мы знаем, что страдание у нее и у дьявола одно. И это — всё! Большего мы от нее не добьемся. Но если есть в нас хоть капля дерзновения, мы начатую ею картину дорисуем сами.

Дьявол в аду заснул и ему снится райский сон:

«И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой.
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим...
. . . . . .
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья».

Что он будет спасен — на это у нее прямых указаний нет нигде, может быть оттого, что всё-таки всего она не знает. Но она, вместе с ним, надеется:

«Всё решено от Духа Свята,
Он держит всех судеб ключи,
Он всех спасет...»

Мировая гармония! Вот какую она, сквозь дьявола свиной храп, слышит в аду музыку. И ее она не променяет ни на что на свете, ни на какие «белые одежды», ни на какие чудеса неба и земли.

Но, Боже, как от всего этого далек Мережковский! Что его прославленная идея Третьего Царства, — из которой он сделал религиозную идею всей своей жизни и веры, — есть мечта дьявола о мировой гармонии, он так до смерти и не догадался. Но именно этой своей глубокой, подземной и как бы «антихристианской» основой идея Мережковского и сильна, и перед другими строителями «Царства Божия» — отвлеченными идеалистами — дает ему громадное превосходство. Те строят как бы на песке, а то и с купола начинают, он же спускается на глубину, на какой «Царствию Божию» на земле только и может быть положено прочное основание, — на глубину ада, на дно «ледяного озера». Неудивительно, что для убежденных церковников книги Мережковского как бы под молчаливым запретом. От них пахнет серой. А что до самого автора, то ясно: еретик, хотя доказать это и невозможно.

Его расцвет, пышный и неожиданный, уже после бегства из России, длится около пятнадцати лет, приблизительно между 1920 и 1935 годами. За это время им, в числе других произведений, написаны: «Тайна Трех», «Атлантида», «Иисус Неизвестный», «Данте», «Наполеон». Но для Зинаиды Гиппиус — это эпоха упадка. На нее точно находит какое-то затмение. Она погружается в полную безнадежность, на самое дно «ледяного озера».

Еще в 1905 году у нее была надежда, или «надежда на надежду», как она пишет в своем письме к Философову: «...Не вечна мука, должно быть, — кажущаяся нам вечной: потому что за мгновением ощущения ее вечности, той же душе дается, в следующее — надежда на надежду на выход».

А теперь — нет даже этого. Время для нее как бы застыло на ощущении вечной муки.

«Единый миг застыл и длится,
Как вечное раскаянье.
Нельзя ни плакать, ни молиться,
Отчаянье! Отчаянье!»

Когда-то она легкомысленно объявляла во всеуслышание:

«Приемлю жребий мой — Победность и любовь».

И вот, вместо победы, освобождения, — ледяная тюрьма, в которой она, как общипанная райская птица, сидит и удивленно страдает. «Страдания нельзя простить иначе, как оторвавшись от жизни, — записывает она в «Заключительном Слове». — Ибо всё страдание — от любви. Всяческой — сознательной и бессознательной, притом потому, что всякая любовь (жизнь) есть потеря».

Да верила ли она, хотя когда-нибудь в любовь, хочется, наконец, спросить или затмение на нее нашло уже там, — в вечности?

«Кто-то из мрака молчания
Вызвал на землю холодную,
Вызвал от сна и молчания
Душу мою несвободную».

В своем первом, дошедшем до нас дневнике, она, в марте 1893 года, отмечает: «Да, верю в любовь, как в силу великую, как в чудо земли. Верю; но знаю, что чуда нет и не будет». Через тридцать лет, в «Заключительном Слове», она эту мысль доводит до конца: «Всякая любовь побеждается, поглощается смертью». Смерть — вот за какой, из глубин вечности идущей на нее, грозовой тучей скрывается солнце любви. Его редкие, тусклые, мгновенные лучи она, когда б они ее души ни касались, ловит с жадностью:

«Господь, Господь мой, Солнце, где Ты?
Душе плененной помоги...»

Но этой ее молитве не суждено быть услышанной. Впе-

реди еще почти 20 лет жизни. Но ей на земле делать больше нечего:

«Ни слов, ни слёз, ни вздоха — ничего
Земля и люди недостойны».

И она свой билет — «приглашение на казнь» — почтительнейше Богу возвращает.

И опять вспоминается Лермонтов:

«И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои
И вновь остался он надменный
Один, как прежде, во вселенной
Без упоенья и любви».

Владимир Злобин

ВЯЧ. ИВАНОВ В ЭМИГРАЦИИ

Тяжело пережив революцию, в особенности голод в начале ее, Вячеслав Иванов еще в 1921 году уехал с детьми на Кавказ, поселился в Баку и стал читать лекции по классической филологии в Бакинском университете, получив там кафедру ординарного профессора. Он занимал там эту кафедру с 1921 по 1924 год, когда ему удалось выехать с семьей за границу, в Италию. Последние пятнадцать лет он прожил в Риме.

Стихов, в эмигрантские годы, сочинялось им всё меньше. Поэт был занят (с 1926 по 1934 год) лекциями по русскому языку и русской литературе в Павии, в тамошнем университете, и преподаванием новых и древних языков при университетском Collegio Borromeo, — написал теоретическую статью о поэзии, ряд статей по разным вопросам литературы в иностранных журналах, но к рифмованной строфе возвращался редко.

И все-таки лет за пять до смерти в нем опять проснулся лирик; день за днем, с начала 44 года, написан им стихотворный цикл — «Римский Дневник». Между стихами «Дневника» нет прямой связи, они сочинялись без всякого плана, по мере того, как приходила в голову та или другая тема. Их связывает однако то, что все (сто двадцать) написаны одно за другим, без перерывов, и в них лишь изредка обнаруживается желание поэта сказать что-то герметически-пророческое. Эти последние стихи гораздо проще и по форме, и по смыслу. Они указывают на известную эволюцию самой поэтики Вячеслава Иванова.

После 1944 года стихов уже почти не было. Да и силы слабели, — всё, что осталось от них, поэт вложил в детище другого порядка: в очень длинную прозаическую поэму, которую задумал давно. В этом произведении (к сожалению недописанном даже до половины) должен был отразиться весь итог его духовного опыта; оно мыслилось поэтом как своя «Вторая

---

* См. статью С. К. Маковского «Вячеслав Иванов в России» в книге 30-й «Нового Журнала». *Ред.*

часть 'Фауста'»). И тут опять-таки сказался необыкновенно сложный творческий психизм Вячеслава Иванова: он решил написать эту свою «Вторую часть» в ярко-русском, почти былинном стиле. Названа поэма «Повестью о Светомире-царевиче».

Вячеслав Иванов умирал, окруженный заботой детей (дочери Лидии и сына Дмитрия) и верной своей спутницы в течение последней четверти века — Ольги Александровны Шор, писавшей о нем неоднократно под псевдонимом O. Deschartes. Поэт всецело доверял ей правду о себе и о своем творчестве. Я видел собственной его рукой написанные строки: «Только O. Deschartes может написать обо мне, настоящем, и как никто знает мою жизнь и все мои писания». С неизданными произведениями Вячеслава Иванова я познакомился благодаря ее любезности.

Любивший глубокой любовью Рим (как столько наших соотечественников до него) Вячеслав Иванов имел в виду ее, О. А. Шор, упоминая «двух спутников, двух неразлучных» в стихотворении, посвященном Риму, которое приводит в журнальной заметке З. Н. Гиппиус, навестившая поэта вместе с Мережковским в 1937 году. Заметка появилась тогда же в «Иллюстрированной России» под заглавием: «Поэт и Тарпейская скала» (с 1936 по 1940 год Вячеслав Иванов жил в старом доме на Капитолии как раз над продолжением Via Sacra, с тех пор откопанном).

Журчливый садик, и за ним
Твои нагие мощи, Рим!
В нем лавр, смоковница и розы,
И в гроздиях тяжелых лозы.

Над ним, меж книг, единый сон
Двух слившихся за рекой времен
Две памяти молитв созвучных, —
Двух спутников, двух неразлучных...

Сквозь сон эфирный лицезрим
Твои нагие мощи, Рим!
А струйки, в зарослях играя,
Поют свой сон земного рая.

«Много в Париже людей, — писала в своей заметке З. Гиппиус, — хорошо помнящих знаменитую петербургскую «башню» на Таврической и ее хозяина. Теперь всё изменилось. Вместо «башни» Тарпейская скала и «нагие мощи Рима». Вместо шумной толпы новейших поэтов — за круглым чайным столом сидит какой-нибудь семинарист в черной ряске или

итальянский ученый. Иные удостаиваются «а партэ» в узком, заставленном книгами кабинете хозяина. Всё изменилось вокруг, а он сам? Так ли уж изменился? Правда, он теперь католик; но эта перемена в нем мало чувствуется. Правда, золотых кудрей уж нет; но седовласый, он стал более походить на греческого мудреца (или на старого немецкого философа). У него те же мягкие, чрезвычайно мягкие, любезные манеры, такие же внимательные живые глаза. И обстоятельный отклик на всё.

Мы как-то отвыкли от встречи с людьми старой культуры. А это большое отдохновение. Вячеслав Иванов, конечно, и «кладезь учености», но не в том дело, а в том, что заранее знаешь: всякий вопрос в любой области он поймет, с ним можно говорить решительно обо всем, что кажется значительным...

Но особенно воскресала «башня», когда речь заходила о поэзии, о стихах. Мы привезли в Тарпейское уединение несколько томиков современных парижских поэтов. Утонченнейший их разбор, давший повод к длинным разговорам о стихах и стихосложении вообще, — как это было похоже на Вячеслава Ивановича тридцать лет тому назад! Скажем правду: в этом человеке высокой и всесторонней культуры, в этом ученом и философе, до сих пор живет «эстет» начала века. И он особенно любит в себе эстета».

Судить о том, как изменилось мировоззрение Вячеслава Иванова, по стихам «Римского Дневника» — трудно. Да и не говорит он в нем открыто о «самом главном»... Хотя всё время помнит о Боге — о росте своей веры молчит. И это не удивляет: религия не нуждается в поэтических метафорах. Зато стихотворная умудренность в этих стихах, сочиненных уже восьмидесятилетним старцем, поражает. Всё это — философские раздумья, полные вдохновенного смирения, во многих печаль старости граничит с ясновидением.

Я посох мой доверил Богу
И не гадаю ни о чем.
Пусть выбирает сам дорогу,
Какой меня ведет в свой дом...

.....

Когда, от чар земных излечен,
Я повернусь туда лицом,
Где — знает сердце — буду встречен
Меня дождавшимся Отцом.

Но всё-таки, в этих стихах главное — не предчувствие смерти и отдание себя на волю Божию... В старости становится ощутимее то, что больше всего связывает и с жизнью — любовь, «улыбка милого лица». Начинается «Дневник» с восьмистишья, которое сразу, после прочтения его, я запомнил:

Великое бессмертья хочет,
А малое себе не прочит
Ни долгой памяти в роду,
Ни слав на Божием суду, —

Иное вымолит спасенье
От беспощадного конца:
Случайной ласки воскресенье, —
Улыбки милого лица.

Это — уж не эстетское мастерство только, а живой человеческий привет уходящей жизни. И так чувствуется, хотя и не договорено, что поэт себя причисляет к «малому», а не к «великому», которое хочет земного бессмертия. Не об этом бессмертии грезит тот, кто посох свой «доверил Богу» и будет встречен, «от чар земных излечен», его «дождавшимся Отцом».

В духе этой примиренности с земным роком и предчувствий иного бытия написано и стихотворение:

Зачем, о дали, голубея,
Вы мне сулите чудеса...

Жизнь у Тарпейской скалы давно оборвалась, — расчистка старых кварталов подле форума, предпринятая Муссолини, вынудила поэта переехать в другую часть города, за Авентин, на via Leon Battista Alberti (близ терм Каракаллы). Семья проживает там до сих пор. Как я сказал уже, она состоит из сына Дмитрия (от второго брака), дочери Лидии (от первого) и О. А. Шор. Дмитрий Вячеславович — на редкость одаренный журналист, завоевавший себе положение во французской и итальянской прессе. Лидия Вячеславовна — музыкантша: композитор, ученица Респиги, профессор римской консерватории Св. Цецилии и органистка. На меня она произвела впечатление окрыленной духом музыки... В одном из стихотворений «Дневника» отец как бы уподобляет ее св. Цецилии:

С какой небесною сестрой,
С какою Музою певучей
От ранних лет сдружилась ты?

Святой Цецилии черты,
К тебе склоненной, из тумана
Мерцают мне...

Рядом с этими простыми, задушевными строчками попадаются стихи и в прежнем, несколько торжественно-чеканном стиле. В одном из них продолжает звучать тоска поэта по возлюбленной тени, всё той же — ушедшей от него полвека назад.

И не будя, не воззывая,
С очами сомкнутыми тень,
Я жду: войдет она, живая,
Под сень мою в прощеный день.

Есть и одно стихотворение, посвященное России — одно из лучших. Оно тоже сразу запомнилось мне:

Европа — утра хмурый холод
И хмурь содвинутых бровей,
И в серой мгле Циклопов молот,
И тень готических церквей.

Россия — рельсовый широкий
По снегу путь, мешки, узлы;
На странничьей тропе далёко
Вериги или кандалы.

Земля — седые океаны
И горных белизна костей,
И — как расползшиеся раны
По телу — города людей.

Мыслями о России было полно его римское одиночество, — когда же и мечтать о России, как не из прекрасного далёка? Но эти мечты не были только воспоминаниями о снежном пути, о «странничьей тропе» с «веригами и кандалами». Во время римского изгнания своеобразно выкристаллизовалась «Русская идея» Вячеслава Иванова, целое историософическое построение. Можно даже сказать — эсхатологическое построение... Думая о покинутой родине, — покинутой безусловно, так что поэт, приняв итальянское подданство, переменил вскоре и христианское свое исповедание, сделался католиком, — Вячеслав Иванов поверил в мистическое будущее именно России или, вернее сказать, не России, а мира, преображенного русским ощущением святости. Перестав оглядываться на античное прошлое, на европейское средневековье, на Возрождение, он увидел, когда захотел заглянуть далеко в будущее,

над землей русское солнце — русское, хоть и ставшее вселенским.

Я разумею «Повесть о Светомире-царевиче». О. А. Шор прочла мне вслух, по рукописи, почти всё, что успел написать Вячеслав Иванов, и рассказала вкратце со слов самого автора то, что должно было следовать, но чего он написать не успел. К сожалению, не успел он написать очень многое! Написано, как я уже упомянул, меньше половины всего задуманного произведения. А именно: повесть, по замыслу, состоит из двух частей более или менее одинакового размера. Но второй части не написано вовсе, даже набросков, схемы от руки автора не сохранилось. Первая часть закончена приблизительно на три четверти: в конце ее важнейшие для хода действия эпизоды остались проектом. Однако, О. А. Шор знает отчетливо, что́ и как должно было последовать, — всё доверенное ей поэтом она для памяти записывала. Вячеслав Иванов знал, что сил не хватит ему на литературную обработку замысла, оттого и посвящал в него своего друга с тем, чтобы когда-нибудь О. А. Шор схематически изложила окончание «Повести».

Ольга Александровна, дочитав мне последние страницы рукописи, рассказала остальное так, как слышала из уст поэта; о «второй части» сообщила скорее только общий план, — подробности, видимо, не были еще выработаны автором. Но не в них дело. «Повесть» предстояла Вячеславу Иванову как органическое целое. Сам поэт считал «Светомира» т р у д о м с в о е й ж и з н и, — отдельные места (как, например, песенка героини в первой части) сложились еще двадцать лет тому назад; тогда уже рисовалась ему, хоть и смутно, последовательность событий, и если повесть не родилась раньше, то потому лишь, что Вячеслав Иванов долго не находил ф о р м ы в ы р а ж е н и я. Пробовал — и стихами с рифмой, и белым стихом... Всё казалось не то. Лишь за рубежом обрел он желанную форму: прозаический рассказ в духе, пожалуй, летописного сказания, с разделением на неравной длины строфы, которые соединяются в главы.

По наитию вдруг сложилось начало, и тогда всё дальнейшее естественно улеглось в слова:

Зачинается повесть о Светомире Царевиче, сыне Владаря-царя.

В белом царстве, христианском государстве, держал власть царь Володарь.

В его руке утвердилось державство и возвеличилось и простерлось владычество его на восток солнца и полдень и запад далéче, и имя его наполнило вселенную;

а народ работал на державу, и несла земля тяготы царства.

А сел государить Володарь в разруху и разоренье великое и родину от супротивных целу отстоял, вскоре же и вящей славе воздвиг,

не отчий в наследье приявъ стол, но излюблен быв и показан и посажен Божиею милостью, церкви благословением и всея земли соборным изволением,

при явленных от святого Егорья знаменьях, яко восставший вождь в силе Егорьевой, от кореня прозябший Господня Воина; и не постыдило земли упование.

А допреж житие Володарево таково было...

Язык этого сказа — как видите — нельзя сказать, чтобы был былинным, народно-сказочным или церковным, или подражал языку какого-нибудь из памятников русской письменности. Нет — это язык свой, Ивановский, хоть и народнозвучащий, с архаизмами, сокращенными прилагательными, иногда с богослужебными славянизмами. Встречаются в нем и «аки» и «токмо», и «допреж», и «зане» и т. д., но тут колорит придают не столько эти ушедшие из обычного словаря слова и словечки, сколько ритмическая интонация фразы, по большей части короткой и с дактилическим окончанием, с прилагательными, следующими за существительными, с баюкающей, почти стихотворной певучестью.

Автор захотел придать этой напевной (сказительной) прозе строфной вид, каждая фраза начинается с красной строки, и строфы снабжены (в последней редакции) порядковым номером (как стихири в Евангелии). Невольно после каждой такой строфы останавливаешься, чтобы взять дыхание для следующей. Очень напомнило мне превосходное чтение О. А. Шор напевную речь сказительниц былин, которых мне довелось слышать еще в России, хотя в «Светомире» строфа поет едва-едва, а в былинном сказе одна и та же простейшая каденция ритмически однообразно повторяется с начала до конца. Впрочем, «Светомира» можно читать и как написанную в строчку прозу...

«Повесть о Светомире-царевиче» — рассказанный миф о некоем государстве, о судьбе его княжеской династии, в лице — сначала родителей Серафима-Светомира, затем его самого: в детстве, до первой его мнимой смерти и мнимого воскресения; затем — в годы отрочества, когда он был взят на воспитание некиим пресвитером Индийской земли Иоанном, после чего скитался по миру до второй, подлинной, смерти и наконец должен был он, Серафим-Светомир, просиять, после второго,

чудесного воскресения, в образе Царь-Девицы, и утвердить свое благословенное царствие.

Имена героев, — многие сочинены по образу сказочно-народных, как Володарь, Боривой, Гориславa, Отрада, Радослава и т. д., — придают рассказу характер традиционно-русский. Это впечатление еще усиливается от ссылок на всякие события, войны с нехристями, княжеские междуусобия, как бы заимствованные из «Слова о Полку Игореве» или из житий святых и занесенных к нам легенд, приобретших фольклорный отпечаток. Но о каком-либо уподоблении этого мифического царства и его судеб — России, русской истории, говорить не приходится. Русская вековая действительность — только смутный, художественно-вдохновительный фон, хотя местами и чудятся намеки на русскую, очень русскую историческую канву. Смысл повести — общечеловеческий и, может быть, эсхатологический, насколько дозволено судить о «Светомире», не имея перед глазами всего текста. Его символика охватывает будущность всего человечества на апокалиптической «новой земле». Католик Вячеслав Иванов в конце своего религиозного пути пришел к социальной мистике Иоанновых пророчеств: небо низошло на землю, и воскресший из мертвых Светомир, сказочный царь-Девица, — завершение сложного универсального мифа.

Вот развитие этого мифа:

«В белом царстве, христианском государстве» князья происходили из рода, к которому принадлежал и Святой Егорий, стрелой умертвивший страшного Змея-дракона. Но род был свят только наполовину. Сам Егорий, безбрачный, потомства не имел, но были у него сестры многогрешные, совокупившиеся со змеенышами драконьевой крови, — от них и пошел княжеский род. Стрелу, что пронзила Дракона и обладала силой чудесной, не имея кому передать, бросил Егорий о-земь, и ушла стрела в землю; а на том месте ключ забил и выросло дерево. С криницей под этим деревом связано преданье-пророчество: некий князь из рода Егорьева и змеиного, когда сроки наступят, получит у этой криницы власть великую и возьмет всю землю. Но раньше должен быть искуплен грех царственного рода отцем и матерью Светомира, да и им самим.

Повествование начинается с рассказа о дружбе Лазаря с княжичем Симеоном Управдой, которого он от смерти спас. Симеон помолвлен с девицей Гориславой, дочерью Боривого (того же «змеиного» рода). Но Гориславa — только увидела Лазаря, воспылала к нему страстью. Полюбил ее и Лазарь.

Однако, верный долгу, победил он чувство к невесте крестового брата, как ни уговаривала она, уверяя, что если выйдет за нелюбимого, то всем будет худо, а он, Лазарь, надолго сделается убогим.

Так всё и вышло: крестовый брат Лазаря, женившись на Гориславе, вскоре умер мучеником в Орде; скончалась и Гориславa, родив дочь Отраду, а Лазарь от внутреннего напряжения, трудности отказа от любви во имя нравственного долга, стал на долгие годы немощным. Отрада росла красавицей и существом вещим: продолжала общаться с покойной матерью. В нее от рожденья как бы вселилась душа Гориславы. Однажды, еще девочкой, пришла она под окна к больному князю и запела странную песенку с прорицающими намеками. Князь позвал девочку. С тех пор завязалась между ними крепкая дружба. Отрада сразу на всю жизнь полюбила князя, а он занялся ее образованием, приобщил ее восприимчивый разум всем познаниям века.

Пришла пора ей и замуж выходить, но, любя князя, и слышать не хотела девушка о замужестве, только в монастырь просилась; стала посещать монаха-прозорливца Парфения. Монах, однако, постричься ей не разрешил, а приподнял перед ней завесу будущего: услышит Господь молитвы Гориславы, исцелится князь, спасет страну, станет Великим Государем и тогда она, Отрада, будет ему верной женой.

Всё это вскоре оправдалось. Исцелился Лазарь, победил супостатов, был избран царем, женился на Отраде и начал «собирать землю», расстроенную и разоренную за его долгую болезнь нашествиями иноземных полчищ и междоусобиями. И вот во время похода узнал он о том, что Отрада родила ему наследника. Поспешил он обратно в город стольный, вошел во дворцовый покой, остановился перед дверью в опочивальню жены и слышит — опять поет Отрада странную песню, на сей раз колыбельную. И в ней тоже звучат пророчества. Вот текст:

Светомире мой, дитятко светлое,
свете тихий, тихо дремли!
Ты-ж расти во сне, сила Егорьева,
на обрадованье земли!

Промеж моря и моря остра гора,
на полугоре Божий храм.
Колыбель во храме хрустальная:
Я Пречистой тебя отдам.

Ты, светла сестра, ты, бела гора,
в колыбелочку сон мани!
Ты, свята пчела, золота стрела,
во хрустальной с ним усни!

От возгорья по долу зеленый сад,
до синя-моря вертоград.
Из ладьи выходит Пречистая,
навещает свой вертоград.

Осенит колыбельку Пресветлая, —
баю, свете мой, почивай! —
Вынет душеньку, белу горлицу,
унесет в невидимый край.

Как вернется во храм девья странница, —
баю, сыне мой, тихо дремли! —
Встанешь витязем в силе Егорьевой
на обрадованье земли.

(Павия, январь, 1932)

Открыл князь Лазарь дверь в опочивальню, видит лежит Отрада на ложе, а подле нее не один, а два младенца. И вид у одного (в котором он тотчас признал сына) очень болезненный, без кровинки, точно и не живой, а другой младенец здоров и румян. Отрада объяснила, что второй мальчик — сын убитого на походе княжьего соратника, ставший после смерти отца круглым сиротой. Стал сирота молочным братом сына, которому старец Парфений нарек иноческое имя Серафим, в миру же благословил его зваться Светомиром.

Убогим, полувменяемым рос наследник Лазаря, присмотр над ним нужен был постоянный: не чувствовал он пространства и о плотском вообще соображал плохо, был вроде блаженного. Молочный брат и исполнял около него роль охранителя.

Военные успехи Лазаря увенчались громкими победами, и народ прозвал его Владарем. Но мира душевного не воцарилось в государстве, хоть по всему свету распространились слухи о его военных подвигах и стали прибывать к нему сперва посольства из разных стран, а затем и царственные гости из Царьграда. Родивой свет-Боривоевич Горынский, брат Гориславы, в юности с вольницей оставив отца, дошел до Царьграда и поступил на службу к кесарю. Утвердил его державу, женился на его дочери от первого брака и стал опорою Василевса, который вторым браком сочетался с родною своею племянницей, Зоей, Еленою Прекрасной (как ее прозвали).

Жена Родивоя умерла от родов, оставив ему дочку, ровесницу Светомира. Тут случилась смута, кесарь умер, Родивой был ослеплен и вместе с Зоей и со своей дочерью в сопровождении пышной свиты, с волхвами и звездочетами, бежал к своему родичу Владарю под его защиту.

Автором подробно рассказана жизнь при дворе Владаря, смерть его дочери от Отрады, образование вокруг Зои-греческой враждебной больному царевичу Светомиру партии, наконец — торжественное коронование Владаря, на которое прибыли из Белой Индии послы от Иоанна Пресвитера с длинным его письмом, где дает он подробное описание своей баснословной страны, рассказывает свою жизнь и просит Владаря доверить ему воспитание царевича Светомира. Владарь задумался, решил посоветоваться с Отрадой и Парфением... И настал день коронации...

Рукопись обрывается на середине Иоаннова письма. Остальное вспоминаю со слов О. А. Шор, поневоле очень кратко, может быть и не всегда с безукоризненной точностью.

Еще до коронования Владаря прекрасная Зоя стала кружить ему голову, в то время как Отрада, тяжко переживавшая убожество сына-царевича, после смерти второго ребенка (дочери) всё больше думала о монастыре.

Во время процессии коронования Светомир стоял у окна терема, рядом с неразлучным молочным братом своим, и узнав во главе шествия мать, бросился к ней навстречу через окно, не сознавая разделявшего их пространства. Вместе с ним упал и брат-охранитель, прикрывая его своим телом. Оба остались недвижимыми после падения, но погиб лишь молочный брат; сам Светомир, на него упавши, только надолго чувств лишился; все подумали, однако, что убиты оба и обоих похоронили. Один Парфений-монах догадался, что Серафим жив, и вывел его ночью из гробницы. А Серафим не только ожил, но от толчка при падении вдруг выправился и всё разуметь стал. И решил Парфений отправить мальчика на обучение к мудрейшему Иоанну, в далекой Индии Пресвитеру.

В рукописном виде имеется еще длинное письмо этого баснословного пресвитера к Владарю, с очень примечательными мудрствованиями, написанное в духе старинных русских грамот, но о жизни Серафима под опекой этого таинственного иерарха ни слова не сохранилось.

По рассказу О. А. Шор, — после отправления сына в Индию, Отрада сейчас же постриглась и вскоре умерла, а Владарь много позднее вступил в брак с молодой вдовой, бывшей византийской царицей Зоей, и продолжал свои ратные

подвиги. Время шло, рос Серафим и мужал вдали от родины, и было ему в некий день свыше указано вернуться и ждать у родной криницы свершения Егорьева чуда. Так и сделал Серафим, и когда пришел к кринице, ударила в дерево молния и расщепила его и повалила, а на месте его увидел царевич Егорьеву стрелу. Владение этой стрелой давало ему всемогущество: что ни пожелает — всё исполнится. Но одновременно получил он и пророческий дар — видеть заранее всё, что за собой повлечет осуществление желания. И каждый раз так горестны были, в этих пророческих образах, последствия осуществленных желаний, что никак не мог Серафим согласиться ни с одним...

Тогда началось его странствование по белу свету и встречи в заморских далях с разными мудрецами. Всех пытал он о том, как использовать ему великую власть от стрелы Егория? Никто ответить не мог. Скорбел Серафим и продолжал свое странствие, пока не нашел убежища в монастыре уединенном на острой, у моря, горе и стал там жить послушником... И вот видит однажды: по морю ладья плывет, Богородица в лодке стоит, а за Нею видны Гориславa и Отрада. Тут умилился Серафим и, обратясь к Богородице с горячей молитвой, отдал Ей в руки стрелу Егория. Но стрела была поручена Егорием ему, Светомиру, и не в праве был он отдать ее самовольно никому, ниже самой Царице Небесной! И Серафим, оставшись на земле без всякой воли и силы, умер — на сей раз уж настоящей смертью и в хрустальном гробу положен был в храме (о чем пророчествовала и колыбельная Отрады).

Но и эта вторая смерть оказалась не окончательной. Воскрес Серафим-Светомир — в преображенном виде, в образе Царь-Девицы, владыки праведного, умудренного ведением потустороннего мира, и просияло его государствование на очищенной от зла земле...

Мне представляется, что самым увлекательным в этих ненаписанных главах оказался бы рассказ о встречах Светомира с мудрецами, в поисках случая сказать, пользуясь всемогуществом стрелы Егория: да будет так! Ведь это — почти тема Фауста: «Остановись, мгновение!» Что касается заключительной части, то вероятно она вылилась бы в попытку символического описания того «рая на земле», который в конечном счете является социальной мечтой не только безбожного, но и мистического идеала.

Может быть, обнаружилась бы здесь и идея «Тысячелетнего Царства», идея, всю жизнь волновавшая близкого знакомого Вячеслава Иванова в России — Валериана Алек-

сандровича Тернавцева. Есть сведения, что Тернавцев успел написать свою книгу о «Царстве» и рукопись, до лучших дней, спрятал куда-то от большевиков... Об этой книге много говорили в свое время и спорили на Таврической «башне» — мифотворец Вячеслав Иванов и православный эсхатолог Тернавцев. Мифотворец с тех пор стал католиком... Но это не значит, что его русская душа, истерзанная великой загадкой духовной судьбы человечества, приняла христианский латинизм как последнюю правду. К послушанию папе привело его упование об единстве, о кафоличестве церквей. Он оставался до смерти русским богоищущим поэтом-мыслителем, прозревающим на земле царство божественной справедливости. Ведь поэтическое претворение идеи благого государствования близко и нашей духовной вселенскости, и мысли папского престола о мировой теократии...

Впрочем, христианское свое исповедание Вячеслав Иванов изложил еще в Москве в заключительном стихотворении сборника «Человек» — Ephymnion:

Человек! Еще ты болен,
Но воскреснешь исцелен!
Знай: твой долгий грех замóлен,
Давний грех твой искуплен.

Есть лишь Бог — и ты: вас двое.
Создан ты один Творцом.
Всё небесное, земное —
Ты пред Божиим лицом.

Ведай в сердце благодарном:
Бог не хочет, чтоб навек
Пребывал в смиреньи тварном
Богоданный человек.

Отчий Сын Единородный,
Утверди могилой связь,
И в Твою мой дух свободный
Облечется Ипостась.

Что касается самого образа Царь-Девицы — то это вопрос сложный, требующий для своего выяснения исторического, филологического и философского углубления, со ссылками на теоретические труды Вячеслава Иванова, которых я не касаюсь. Во всяком случае, между понятием «вечной женственности» у Гёте и, хотя бы, у Владимира Соловьева — разница существенная. К кому из них ближе Вячеслав Иванов?

Представление о «das Ewig Weibliche» связано с общей, в поэзии, мечтой о созидательной силе духовного эроса. Шелли, «самый вдохновенный из английских поэтов», по мнению Владимира Соловьева, задолго до него признавался:

Есть существо, есть женственная Тень,
Желанная в виденьях печальных.
На утре лет моих первоначальных
Она ко мне являлась каждый день.

В этом отношении прав, конечно, Сергей Булгаков, когда говорит в главе «Тихих Дум», посвященной Вячеславу Иванову: «Все истинные поэты так или иначе знали и чувствовали эту «женственную тень». Я. П. Полонский уже назвал ее по-русски «Царь-Девицей».

В дни ребячества я помню
Чудный отрочества бред:
Полюбил я Царь-Девицу,
Что на свете краше нет.
На челе сияло солнце,
Месяц прятался в косе,
По косицам рдели звезды, —
Бог сиял в ее красе.
И жила та Царь-Девица
Недоступна никому
И ключами золотыми
Замыкалась в терему...

«Ясно (замечает Соловьев, у которого я нашел эту цитату), что поэт здесь искренен, что это его настоящая вера, хотя бы порою он и колебался в ней... Для его лучшего сознания красота и поэзия не могли уже быть пустым обманом, он, как и Шелли, знал, что это — существо и истинная сущность всех существ, и если она и является как тень, то не от земных предметов». Булгаков, со своей стороны, так углубляет эти слова автора «Трех Свиданий»: «Своеобразность и в своем роде единственность мистического опыта Владимира Соловьева с наглядностью выступает при его сопоставлении с корифеями в этой области, к числу которых относится прежде всего Яков Бёме. София, несмотря на свое наименование ewige Jungfrau, в сущности вовсе не является у Бёме началом вечной ж е н с т в е н н о с т и и уж тем более не есть лицо, которое могло бы быть «вечной подругой» и назначать хотя бы и мистическое «свидание». Это есть принцип мироздания или совокуп-

ность творческих энергий в Божестве. Если ее, с большими натяжками, еще и можно называть Девой, то скорее для обозначения противоположности женщине».

Вячеслав Иванов, мне думается, только конкретизировал это мистическое понятие, придав Царь-Девице образ Правителя на преображенной земле.

Недаром он, так же как Блок, считал себя духовным сыном Владимира Соловьева, недаром посвятил Блоку это стихотворение из «Нежной Тайны»:

Пусть вновь — не друг, о мой любимый!
Но братом буду я тебе
На веки вечные в родимой
Народной мысли и судьбе.

Затем, что оба Соловьевым
Таинственно мы крещены;
Затем, что обрученьем новым
С Единою обручены.

Убрус положен на икону:
Незримо тайное лицо.
Скользит корабль по синю лону:
На темном дне горит кольцо.

Сергей Маковский

БЕСПРИЗОРНИКИ

Глава двеннадцатая

ВОЙНА

«Давай пожмем друг другу руки
И в дальний путь — на долгие годы!»
Из песни «Дружба»

Я любил Анну. Но я чувствовал, что в наших отношениях было что-то недоговоренное. Хотя за последнее время моя жизнь внешне и изменилась, я всё еще был тесно связан со своим миром. То, что я снова поступил в школу и неплохо учился, воровством почти не занимался и вместо попоек и хулиганства жил «по культурному», мне уже казалось большим достижением. Но Анна была иного мнения, и ее отрицательное отношение к блатному миру я воспринимал как оскорбление. Между нами, казалось, всегда что-то стояло, что мешало нам понять друг друга и обоим было тяжело. Мы чувствовали, что нам нужно договориться, но ни она, ни я не решались сделать первого шага, первой уступки, и от этого мы оба невольно еще более раздражались.

Как то зимой я засиделся у Анны, помогая ей рисовать каррикатуры для статей в стенгазете, которую она редактировала в Институте. Накануне я договорился с друзьями пойти на дело и в условленный час должен был встретиться с ними. Заметив, что уже поздно, я спохватился.

— Уходишь? — зевнув, проговорила Анна, разглядывая мои каррикатуры. — Поздно уже. Оставайся, переночуешь у нас, поможешь мне заголовки дорисовать.

— Не могу, — сказал я, — обещал к приятелю зайти.

Анна исподлобья вопросительно посмотрела на меня.

— Знаю я к какому приятелю, — тихо проговорила она.

— Если знаешь, тем лучше, а я не могу, слово дал, меня

См. Кн. 26, 27, 28, 29 и 30-ю «Нов. Журнала».

ждут, завтра зайду, — и делая вид, что не замечаю ее расстроенного лица, я пошел в переднюю.

— Можешь не приходить, — бросила она мне вдогонку.

Я быстро вернулся в комнату.

— Что ты сказала?

— Ничего, иди!.. — не глядя на меня резко произнесла Анна, и нагнувшись над столом, стала старательно выводить рисунок.

Я в нерешительности приостановился, но потом махнул рукой и вышел из дома.

Не только враждебное, но граничащее с отвращением отношение Анны к нашему блатному миру мне было и непонятно и обидно. Жизнь свою я и сам хотел переменить, но вовсе не потому, что считал свою среду дурной и порочной. Наоборот, чем больше меня в этом убеждали, тем острее во мне вспыхивало желание идти наперекор. Ведь уступить в этом, значило — осудить и товарищей и себя и весь тот мир, в котором я вырос и с которым сжился.

«Не понимает — и не надо! Тем хуже для нее», — с раздражением думал я, шагая по улице и одновременно досадуя и на нее, и на себя, что у нас всё так глупо выходит, и что она, сама того не понимая, толкает меня как раз туда, откуда я хочу уйти. Я чувствовал что ей надо это объяснить. и вместе с тем знал, что она упрямо будет стоять на своем и не захочет понять меня. Заворачивая за угол, я вдруг услышал сзади торопливые шаги. Я обернулся. За мной бежала Анна.

— Колька... — подбежав ко мне и с трудом переводя дыхание, взволнованно проговорила она. — Я знаю, что ты на грабеж идешь.

«Опять нравоучения...» — со злобой мелькнуло у меня, и решив раз навсегда покончить с этим, я твердо ответил:

— Да.

— Но тебя же поймают! Колька, подумай, ну если поймают, что же тогда будет? — взволнованно говорила Анна.

Я был готов к негодованию, резкости, упрекам, но таких слов я не ожидал. Я с удивлением смотрел на Анну, но ответил решительно:

— Не в первый раз иду... а поймают — значит судьба... — и усмехнувшись, добавил: — Что ж, одним вором меньше будет.

Было темно, но всё ж мне показалось, что лицо Анны дрогнуло, что она готова была заплакать.

— Колька, — вскрикнула она, — больше никогда не приходи! Слышишь? — и она сделала движение, чтобы убе-

жать, но остановилась и глядя на меня в упор, глухо, скороговоркой, пробормотала: — Если пойдешь, больше не приходи!.. Я больше не могу... Всё думала, что ты сам, наконец, поймешь, переменишься... я больше не хочу ждать. Я каждый раз догадывалась, когда ты к своим шел. Ты уйдешь, а я места себе не нахожу — а вдруг поймают, вдруг больше не вернется? А ведь поймают — тогда всё кончено! Нет, я больше не могу, лучше сразу всё совсем порвать!.. — Анна оборвалась и уже тихо произнесла: — Не ходи, Колька!.. Скажи, что не пойдешь. Слышишь?

Мне внезапно стало ясно, что она не чувствует ко мне ни презрения, ни брезгливости, что она любит меня таким, какой я есть, и что ее не так мучит то, что я вор, как опасность, которой я подвергаюсь. Она говорила, чтоб я больше не приходил, что она хочет со мной порвать, а за ее словами я слышал другое и может быть в первый раз почувствовал себя необыкновенно счастливым, потому что есть человек, которому моя судьба не безразлична, который обо мне думает, волнуется , даже мучится за меня.

Она выбежала в одном платье и легкой кофте и теперь вся съежившись от холода, с растрепавшимися от ветра волосами, стояла передо мной такая жалкая и потерянная, что мне захотелось ее как-то успокоить, не делать ей больно, сказать, что я не пойду, лишь бы она не смотрела на меня этим напряженным взглядом. И в то же время я сознавал невозможность такого ответа. Переборов себя, не глядя на нее, я сказал:

— Не могу, Анна!.. я слово дал. Не дал бы — не пошел. А теперь нельзя, слово есть слово, меня ждут... — и тут же не в силах вынести ее взгляда и чувствуя, что я отталкиваю от себя единственного человека, для которого я что-то значу и который мне дороже всего, я быстро добавил: — Но это в последний раз, больше я не пойду.

— Последний, Колька!? Да? — Она схватила меня за руку и придерживая падавшие на лицо волосы, наклонившись вперед, пристально смотрела на меня, точно желая убедиться правду ли я говорю.

Я молча кивнул головой. Анна вдруг засмеялась и с радостной улыбкой отпустила мою руку. — «Ну, хорошо, иди!..» — но смех ее оборвался и снова схватив меня за руку, она испуганно проговорила:

— Колька, а вдруг что-нибудь случится?

— Много раз ходил!

— Знаю, да так всегда бывает... в последний пойдешь — и вот случится... и тогда всё пропало, может на всю жизнь...

— Значит жребий такой, — но почувствовав, что моя шутка некстати, я весело добавил: — Ничего не случится, дело пустяковое, а не пойти не могу, сама знаешь. Если товарищей в обман возьму, моему слову цены не будет, ты сама потом верить не станешь!

Крепко обняв меня, прижавшись ко мне, Анна горячо поцеловала меня и, не оглядываясь, быстро побежала домой. Я глядел ей вслед, и только когда она скрылась из виду и шаги ее стихли, я пошел дальше, к своим.

Дело прошло гладко. Выручка была хорошая, но для меня последняя. На грабежи я уже больше не ходил.

***

Жить с Мишкой и постоянно встречать приятелей из бражки, не принимая участия в их работе, было трудно. Поэтому я вскоре перебрался в студенческий городок. Лучшего места нельзя было и придумать. Тут я никого не стеснял и сам не стеснялся. Жизнь тут мне была по душе: просто, весело и свободно.

Расположенный на окраине города, студенческий городок состоял из пяти-шести длинных, деревянных двухэтажных бараков. Кругом — городские сады и пустыри. Меж бараками рос густой бурьян, в котором были протоптаны извилистые дорожки. На окнах и на протянутых от стены к стене веревках висело сохнущее белье.

За редкими исключениями в этом общежитии жили иногородние студенты. Кроме студентов из соседних городов и колхозов, было много студентов приехавших издалека. В комнатах помещалось от пяти до двадцати человек. В бараке — человек около шестидесяти. У женатых были отдельные небольшие комнаты. Двери комнат выходили в длинный коридор, по середине которого, в маленьком углублении в стене находился умывальник. Вокруг него, по утрам и по вечерам, обыкновенно происходила свалка, а для того, чтобы как следует помыться, надо было уже ездить в город, в баню.

Я поселился в комнате, где уже жило четверо. Вдоль стен стояли койки с казенными подушками и матрацами, набитыми соломой. Из-за долгой службы они походили на решето и солома торчала и сыпалась из всех дыр. Одеяла почти у всех были собственные. Правда, под залог можно было получить и казенные, но для этого нужны были деньги, а студенты страдали хроническим безденежьем. К тому же казенные одеяла были порядком засалены и выглядели крайне неприглядно. Посреди комнаты меж койками еле-еле помещался стол и не-

сколько табуреток. Заваленный книгами и тетрадями, забрызганный чернилами, стол был весь изрисован всякими рожицами и покрыт темными кругами от кастрюль и сковороды. У окна — печка-буржуйка. В оконном стекле была проделана дырка для трубы, обклеенная кругом бумагой. Печку топили чем попало. Главным образом чужими заборами и досками с какого-нибудь строительства. В углу, на табурете и на полу стояла посуда и купленный вскладчину примус. Личные вещи, в зависимости от благосостояния владельца, хранились в чемоданах, в ящиках, в узелках, а то и просто лежали кучей под кроватью. Особой аккуратностью никто из жильцов нашей комнаты не отличался и в комнате обыкновенно царил самый живописный хаос, но всё-же было очень уютно.

Под потолком, от стены к стене, была протянута веревка, на которой висели кукуруза и подсолнухи — запас про черный день. Собирали их в чужих огородах, в государственных садах, на колхозных полях, и когда зимой приходилось туго и есть было нечего, то жарили кукурузу и щелкали семячки. Жили студенты очень голодно. Так что один мудрец из нашей коммуны как-то затеял даже выдавить из семячек масло, и стал давить и растирать их между двумя большими плоскими камнями. За этим занятием он просиживал не только вечера, но и целые ночи напролет. Громыхал, шумел, кряхтел, перетерпел не мало насмешек, а подчас и грубую брань от разбуженных его возней товарищей. Но он всё-же не сдавался и, облизывая свои пальцы, утверждал, что масло есть и даже очень вкусное. В конце концов он всё-таки добился своего. Каким-то образом скрепил камни, приделал к ним ручку и усовершенствовав свое изобретение, после многих трудов, действительно, надавил небольшой пузырек масла. Этим пузырьком с маслом он очень гордился, пользуясь содержимым, как дорогим лекарством, выцеживая лишь по несколько капель на хлеб, на картошку или прямо на язык.

Трое из студентов, живших в нашей комнате, учились в Педагогическом Институте, четвертый в Медицинском. Трое ежемесячно получали небольшую помощь из дому, хватавшую только на оплату учения, последний совершенно ничего не получал, выкручиваясь самыми невероятными способами. Собственно в более или менее равной степени бедствовали все четверо, также как и все остальные обитатели городка. До прошлого года, пока не были упразднены стипендии, жилось много легче, и об этом времени студенты часто вспоминали, почесывая затылки и вздыхая; тогда они все тоже нуждались и голодали, ибо на одну стипендию прожить было невозможно,

но всё-таки она была подмогой. В те времена студенческий городок был переполнен и очень трудно было получить свободную койку, теперь же городок был наполовину пуст.

Когда летом 1940 года было объявлено об упразднении стипендий и введена плата за учение, множеству студентов пришлось бросить занятия. Многие с отчаяния запили, были случаи самоубийств, большинство же разъехалось — кто по домам, кто в ремесленные и военные училища, а некоторые нанялись на работу в городе, оставаясь жить в общежитии, откуда их со скандалами выселяли, так как здесь имели право жить только учащиеся. Я, конечно, тоже не имел права жить в городке, но время от времени я давал сторожу 10-15 рублей и меня никто не беспокоил. Некоторые, наделенные особым упорством студенты работали днем на строительствах, а учились по вечерам и, подобно теням, только ранним утром и поздним вечером появлялись в городке, мелькали в дверях и торопливо пробегали по корридорам.

В мою бытность население городка не превышало 300-350 человек. Стипендию получали только очень немногие — отличники. Чтобы выдержать эту жизнь и учение, надо было иметь очень крепкое здоровье и, главное, обладать исключительной волей и энергией.

Летом почти все студенты, отказывая себе во всем, где-нибудь работали, стараясь накопить возможно больше денег на оплату учения и на жизнь в течение учебного года. Кое кто из студентов и во время учения пытался ходить на работу ночью, но обычно это кончалось плохо: учение начинало хромать, а здоровье не выдерживало. Работали студенты монтерами, чертежниками, художниками, разрисовывая плакаты для каких-нибудь учреждений, давали частные уроки, но этих нищенских заработков было далеко не достаточно и для того, чтобы как-то просуществовать, некоторые прибегали к мелкому воровству. Ходили подкрепляться на базар, где торговки, легко распознавая студентов по обдрипанной одежде и тощему виду, боялись их не меньше, чем нашего брата; крали в трамваях, «паслись» в огородах и т. д. Иногда удавалось выпросить костей на городской бойне. Занимались и мелкой спекуляцией. Самой простой и распространенной была продажа места в очереди. Становились под вечер в очередь перед каким-нибудь магазином, а к утру всегда находились охотники перекупить место. Шныряя вдоль очереди охотники вполголоса спрашивали: «Продаете?». Стоимость места зависела от времени года и от погоды; стоять на морозе или под дождем стоило дороже; цена была разная и от близости продающего

место к магазину, и от товара, который в магазине выдавался. Если, например, выдавали калоши или зонтики, место стоило не более 7-10 рублей, а если костюмы или отрезы материи, от 50 до 70 рублей. Но костюмы или материю выдавали очень редко, и к тому же не всегда можно было заранее узнать, что будут выдавать в том или ином магазине. Чаще всего публика, становясь ночью в очередь, не знала, что будут давать утром; большинство шло на авось: что дадут, всё пригодится либо для себя, либо на перепродажу. А те, кто знали, молчали, в надежде, что если очередь будет не слишком велика, удастся стать во второй раз. Менее расторопные мест не продавали, а просто нанимались стоять за кого-нибудь. Тут плата также зависела от товара, но занятие это было значительно менее выгодно, чем первое. Самые же оборотистые, накопив денег от продажи нескольких мест, становились в очередь уже для себя, покупали то, что выдавалось в магазине и затем перепродавали на базаре за двойную цену.

Но как ни ловчились студенты, наскрести прожиточный минимум они всё же никогда не могли и большинство хронически голодало; от постоянного недоедания и истощения процент туберкулезных был очень велик. В нашем бараке на семьдесят человек — пятнадцать было туберкулезных. Много говорили о том, что туберкулезных изолируют, но при мне этого не было, и все продолжали жить вместе.

Жившие в моей комнате товарищи очень редко бывали сыты. К воровству, даже самому мелкому, они относились совершенно иначе чем я, прибегая к нему только в самой крайности, и всегда «испытывали угрызения совести». Разумеется, что при таком «мировоззрении» быть сытым было мудрено. Кроме того, и воровать они по существу не умели, почему это ремесло и было для них связано с большим риском. При поимке за украденный кусок хлеба голодный студент отвечал гораздо строже, чем уличный хулиган, вроде меня, за крупное воровство.

Благодаря долголетней практике, я обладал высокой техникой этого дела, и поэтому часто давал товарищам множество полезных советов, которые они выслушивали с большим интересом и вниманием, после чего возвращаясь по вечерам в общежитие, обыкновенно приносили с собой какие-нибудь продукты.

Бывало как только я входил в нашу комнату, где вся компания сидела за столом, заваленным книгами и тетрадями, сразу все головы поворачивались в мою сторону, и любопыт-

ные взгляды приковывались к свертку в моих руках или к оттопыренным карманам.

— А, Колька, здоро́во! — приветствовал меня каждый с деланным равнодушным видом и тут же непременно дабавлял:

— Ну как? Что новенького?

— Да новенького ничего, кроме того, что пожрать принес, — также неизменно отвечал я.

Тогда один начинал потягиваться, другой зевал, третий говорил, что пожрать пожалуй бы не мещало, а затем книги захлопывались, со стола на койки сбрасывались тетради, все мгновенно оживлялись и начиналась возня. Накачивали примус, мыли грязную посуду, бежали за водой, готовили, и тут же в смежных комнатах начинали открываться и захлопываться двери, в корридоре слышались шаги, явно замиравшие перед нашей дверью. Было ясно, что запах борща или жареного мяса уже разнесся по бараку. Иногда после того как чужие шаги замирали у нашей двери, было слышно, как кто-то топчется, очевидно принюхиваясь и не решаясь войти, и наконец раздавался робкий стук в дверь. Входил же гость обыкновенно с самым развязным видом, точно зашел невзначай и непременно сразу спрашивал: — «А что, такой-то не у вас? По всему бараку ищу — думал здесь!» И делая вид, что собирается уходить, он так выразительно косился в сторону котелка или сковородки, что невозможно было его не оставить.

После первого такого гостя, через некоторое время, появлялся второй. Он тоже искал у нас своего друга или просил одолжить учебник и тоже косился на котелок или сковороду, а если был характером посмелее, то даже заглядывал в кастрюлю, водил носом и спрашивал что-нибудь вроде: «Хм, где это вы достали?» или «Кто это у вас так ловко стряпает? Давно такого запаха не нюхал. Вот оно где барство недобитое!»

Причина сытости и благосостояния нашей комнаты всем была широко известна и пришедший гость за едой почти всегда начинал разговор на эту тему. Обыкновенно, он заводил его издалека.

— А ты, Колька, как? Надолго здесь теперь поселился?

— Да пока тут живу, а дальше не знаю.

— Тесно вам тут впятером, комната маленькая.

— Ничего, места хватает...

— А то переходи к нам? Комната на пятерых, а живем втроем, места много. Может тут стесняешь?

— Ну, ну, места много! Ты его, Колька, не слушай! —

начинал кто-нибудь из моих сожителей по комнате. — У них там клопов да блох до чорта!

И начинался горячий спор о том, у кого больше клопов, у кого просторнее комната и где мне лучше жить. Для моих сожителей я был вроде хорошей дойной коровы. У меня можно было брать — из вежливости говорилось «занимать» — деньги, я приносил продукты, и, наконец, был весьма изобретателен во всем, что касалось всяческого «разворачиванья». Поэтому, при таких разговорах я всегда видел признаки некоторого беспокойства на лицах своих сожителей: а вдруг меня переманят от них? Они меня всегда старательно оберегали, всячески ублажая: заправляли койку, предлагали матрац или подушку получше, помогали готовить уроки и т. п.

Нередко кто-нибудь и из дальних жителей барака, поймав меня наедине в корридоре, осведомлялся, не хочу ли я перебраться к нему в комнату. А когда видел, что не клюет, то сразу же переводил разговор на знакомые мне рельсы.

— Жаль!.. места у нас много, — зря пропадает... а много таких, кому даже спать негде... — Говорилось это задумчиво, с грустью. Затем говорящего будто внезапно озаряла блестящая мысль и он «простосердечно» добавлял: — Знаешь, Колька, если у тебя приятели есть без квартиры, не стесняйся, тащи их сюда, мы у нас поместим.

Догадаться к чему всё это клонило было нетрудно, тем более, что такие предложения делались очень ч а с т о. Подъезжали ко мне и студентки, но уже с другими предложениями, или, вернее, просьбами: познакомить их с ребятами из блатного мира.

Еще раньше, на Тереке я встречал студенток, приходивших туда продаваться. Встречались такие и на проспекте, и в парке, но только тогда, когда я попал в городок, я увидел, что эти случаи далеко не единичны. Все студентки были в равной нужде, но не у всех хватало сил ее вынести. Постоянное недоедание подрывало последние силы и некоторые, дойдя до крайности, не выдерживали и только, чтоб не бросить учения, шли продаваться.

Студентки иногда приводили мужчин ночевать и в студенческий городок, хотя вход посторонним сюда был запрещен. Но мимо сторожа проскользнуть было нетрудно. Правда, случалось, что какой-нибудь мужчина утром попадался ему на глаза и тогда крики сторожа разносились по всему бараку:

— Сучки! Безобразие! Тут вам общежитие, а не б..... В милицию подам!

Но бушевал сторож только для приличия. Это был доб-

рый старик, хорошо относившийся к студенткам и отлично понимавший их положение, поэтому дальше крика и угроз дело никогда не шло.

Но несмотря на тяжелые, подчас безнадежные условия жизни, в студенческом городке было всё же весело. Беспросветно мрачны были только прибитые постоянной нуждой женатые студенты, но их было немного. Большинство же студентов были всё-таки жизнерадостные, над невзгодами своей жизни и бедностью острили, и несмотря на ободранный и вечно голодный вид не унывали, и далеко вперед не заглядывая, жили изо дня в день, радуясь уже тому, что сегодня удалось добыть себе кое-какое пропитание.

Днем в городке было почти пусто — оставались лишь больные и дети. Вечером же, когда студенты возвращались из разных институтов, в городке становилось шумно и весело. Суета, беготня, смех, ругань, в корридоре у умывальника толпа, в бараках начинало пахнуть керосином, потому что во всех комнатах уже шипели примусы. В соседней с нашей комнате жили студенты-медики. Основой их питания были собаки, которых они впрочем ели с большим апетитом, в один голос уверяя, что собачье мясо не хуже всякого другого, а главное ничего не стоит и советовали всем следовать их примеру.

Стены между комнатами в бараках были тонкие и было слышно всё, что происходит у соседей. Когда одни собирались учиться, а другие только начинали готовить, или пели песни, спорили, смеялись, в стену обычно раздавался свирепый стук и чей-нибудь раздраженный голос кричал: — «Тише!». Но тишина наступала ненадолго, стук становился всё сильнее, и начиналась перебранка. Поводов к перебранкам было множество — у одних надымила печь, угар, у других что-нибудь подгорело, — двери открываются в корридор. Те же, кто в это время в корридоре, стирают ли белье, развешивают ли пеленки или просто ходят, — протестуют, требуя, чтобы закрыли двери. На шум открываются уже все двери и начинается общий гвалт, к которому присоединяются ссоры женатых, рев и визг голодных детей, смех и шутки остряков и протесты отличников и зубрил, которым мешают учиться.

Мои сожители по комнате все четверо были комсомольцы, но взгляды их были не те, как у Анны и ее друзей. Я замечал это и по отдельным словечкам, и по их отношению к жизни, и по тому удовольствию, с каким они выслушивали антисоветские анекдоты, которых рассказывалось очень много и всегда

шопотом. К тому же, стоило мне остаться с кем-нибудь из них наедине, как разговор сразу становился гораздо более откровенным. С глазу на глаз говорилось о том, о чем молчали при третьих лицах, будь это даже близкий товарищ. Но известное доверие и сплоченность всё же были. Среди студентов, конечно, далеко не всех, по рукам ходило много книг, либо запрещенных, либо таких, которых невозможно было достать. Книги эти, всегда истрепанные, с пожелтевшими, подклеенными страницами, со стертыми углами, одним своим видом приобретали в глазах всех прелесть запрещенного плода и невольно притягивали к себе. Обращались с ними особенно бережно, читали с большими предосторожностями, мгновенно пряча куда-нибудь при появлении постороннего. Прочитывались они всегда с жадностью и немедленно передавались дальше. Содержания этих книг я не знал, мне их не давали, говоря, что они мне неинтересны. Но некоторые из них я просматривал и они мне тогда действительно показались неинтересными, все они носили слишком отвлеченный характер и читать их я не стал.

Зато интересны были сочиненные самими студентами, ходившие по рукам в рукописях стихи, а иногда и целые поэмы и сатиры, за которые авторам, попади они в надлежащие руки, быстро бы пришили 58 статью. Иногда это и случалось; аресты среди студентов были нередки.

Из стихов студенты особенно увлекались Есениным. Его стихи ходили по рукам в рукописях. Я раньше никогда не читал Есенина, и несмотря на то, что стихи вообще не особенно любил, помню, что его стихи произвели на меня сильное впечатление. Вскоре после этого совершенно случайно я узнал о существовании среди студентов Есенинского кружка. Случилось это так. В городке у нас в течение одной недели произошло два самоубийства. Потом уже не в городке, а в городе покончили самоубийством еще несколько студентов. Самоубийства случались и раньше, но эти самоубийства одно за другим и одинаковый способ — все вешались — привлекли к себе всеобщее внимание. В декабре в нашем бараке повесилась еще одна студентка. Двое студентов, поднявшихся на чердак, чтобы развесить белье, нашли там повесившуюся. Они поспешили ее вынуть из петли, студентка была еще жива. Вызванная скорая помощь отвезла ее в госпиталь. Там она лежала под охраной милиции, к ней никого не подпускали. А когда она поправилась и ее выпустили, то после этого ее несколько раз вызывали на допрос в НКВД и вскоре арестовали. За ее арестом последовали другие. Многих студентов

вызвали на допрос, одних отпускали, других задерживали. У нас в бараке было арестовано шесть человек.

Вот после всей этой истории у нас и заговорили о Есенинском кружке. Стало известно, что это тайный кружок самоубийц. Власти сочли этот кружок антисоветским и участников его арестовывали за контрреволюцию. Говорили и о том, что кружки эти существуют чуть-ли не во всей стране. Все эти смутные толки и слухи еще более поднимали интерес к кружку. Мне удалось случайно узнать некоторые подробности от студента, жившего со мной в комнате. Как то мы остались с ним одни и разговор зашел о повесившейся студентке и об арестах. Я высказал предположение, что слух о кружке пущен нарочно НКВД, как предлог для арестов. Мой товарищ ничего не ответил, но потом, значительно посмотрев на меня, покачал головой:

— Не предлог это, а так оно и есть.

Задавать ему прямые вопросы было неудобно и я пренебрежительно сказал:

— А на кой хрен кружок? Приспичит повеситься — и без кружка можно... да и вешаться-то с чего?

— С чего? Почитай Есенина... — сказал он тихо.

— Ну и читал.

— А ты прочти как следует, вот и поймешь! — не глядя на меня, отвечал он, рассеянно перелистывая толстый учебник. Потом, повернув голову, он встретил мой взгляд и чуть заметная улыбка скользнула по его лицу.

— Есенин-то почему повесился? Ну вот поэтому и они вешаются, — понизив голос, проговорил он, и видя по моему лицу, что его объяснение мне не совсем ясно, добавил: — Исхода не видят. Там не только Есенина, а многое другое читают и говорят, а потом жребий тянут. Кому выпадет, тот и должен повеситься. Сам видишь, какая жизнь! Покончить разом лучше, чем так тянуть...

В корридоре послышались чьи-то шаги. Он оборвал и уткнулся в книгу.

Впоследствие, оставаясь с ним вдвоем, я несколько раз пытался опять завести разговор на эту тему, но он теперь всегда уклонялся от прямых ответов, и так ничего больше я от него и не узнал.

***

В июне 1941 года, с грехом пополам выдержав выпускные экзамены, я окончил десятилетку. О том, что мне делать дальше, я не раз задумывался. Планов у меня было много, мыслен-

но я перебрал немало профессий. Но больше всего меня все-таки тянуло стать художником. И получив аттестат, я хотел послать заявление в Художественную Школу в Москву.

Но всё вышло иначе. Еще в мае, в школу пришел мне вызов явиться в Военкомат на медицинский осмотр. Вызваны были все 18-летние. Нас брали на учет для военной службы и осенью мы должны были быть призваны. Многие из моих товарищей решили, опередить призыв и поступить в военные училища. Несмотря на мое желание стать художником, после вызова в Военкомат, и я, по примеру товарищей, послал заявление в Сумское артиллерийское училище. «Проучусь два года, стану лейтенантом, а там будет время и художником стать», думал я.

Спустя недели две после отправки заявления в Сумское училище, я снова получил вызов в Военкомат, где мне сказали, что я получу повестку, когда мне ехать в училище и чтоб в ожидании этой повестки я ни в коем случае не отлучался из города.

Предчувствуя коренную перемену в своей жизни, все последующие дни я ходил празднично настроенный. И было отчего. Еще неделя, две, три и я начинаю по настоящему новую жизнь. Прошлое навсегда уйдет, я буду новым человеком. И в глазах Анны я буду уже не уличным хулиганом, а курсантом артиллерийского училища, а через два года лейтенантом Красной Армии!

Но повестка из военкомата всё не приходила, и я ушел с товарищами в горы.

На четвертый день нашего пути в горах мы заметили необычайное движение по Военно-Грузинской дороге. С высоты, на которую мы залезли, дорога виднелась узкой, извивающейся меж скал лентой, над которой во всю длину, поскольку мы могли видеть, клубились облака пыли. Когда, чтобы миновать крутой обрыв мы снизились с этой горы, мы различили бесчисленные стада баранов, которых чабаны гнали по дороге в направлении к Орджоникидзе. На следующий день — то же самое. Стада баранов гоняли и раньше, но в таких количествах — мы никогда не видели.

В первом ауле, куда мы зашли, мы спросили у встречного осетина, куда по дороге гонят столько баранов?

— Война началась, баранов на бойню гонят, для армии, — сказал безразлично осетин.

Мы ожидали чего угодно, но только не этого.

— С кем война? Где война?

— С немцем война... немец на наша земля напал.

Мы были так далеки от каких бы то ни было мыслей о войне, что это известие поразило нас как громом. Мы стояли в полном оцепенении, переглядываясь и перебрасываясь всякими нелепыми фразами.

А осетин, очень довольный нашим изумлением и неведением такого события, рассказал, что три дня тому назад началась война, что в сельсовете по радио-точке передавали речь Молотова и что он сказал, что немцы напали на нашу страну.

Этим известием мы были настолько ошеломлены, что решили тут же возвращаться в город.

Шли мы в город быстро, нигде не задерживаясь. На полпути, на Военно-Грузинской дороге мы зацепились за грузовик, который и подвез нас до города. Всю дорогу я был как на иголках, волновала мысль, что немцы уж вдруг разбиты. Но как только я очутился в городе, опасения мои сразу рассеялись: то, что война не кончена и немцы не разбиты, не подлежало никаким сомнениям. Пока мы были в горах, еще как-то трудно было поверить, что началась война, идут бои. Но стоило только войти в город, как я сразу подпал под общее настроение населения и война уже стала не каким-то отвлеченным понятием, а действительной и близкой.

На улицах — необычное движение. Толпы пьяных новобранцев в совсем новых гимнастерках и еще скрипящих сапогах, перед каждым магазином огромные очереди. Озабоченные и возбужденные лица прохожих. Установленные на центральных улицах громкоговорители передавали последние известия. Вокруг них молча толпились люди. Всё это придавало городу какой-то необычный вид и создавало какую-то особенную, напряженную атмосферу.

Я сразу же поспешил к Анне. От нее я узнал все подробности, как 22-го июня, в четыре часа утра, немецкие войска, без объявления войны, перешли границы нашей страны и продолжают наступление; уже были бомбардированы Киев, Минск, Одесса, Ковно; теперь бои идут в направлении Минска... Из всего, что я узнавал, становилось ясно, что война будет потяжелее Финской и закончится не так скоро, как я этого опасался. Но в том, что мы в конечном счете победим, ни Анна, ни я, конечно, не сомневались. Немецкое продвижение мы объясняли только тем, что враг взял неожиданностью, что наша армия еще не мобилизована, но были уверены, что как только наши войска будут подтянуты к фронту, ход войны сразу изменится в нашу пользу.

**
*

Через несколько дней пришла повестка из военкомата. До отъезда в училище оставалось четыре дня. Все эти дни я ходил если не совсем пьяный, то во всяком случае сильно навеселе. Стоило на улице встретить приятеля и сказать, что еду в училище, как он немедленно заявлял, что так расставаться нельзя и это дело надо обмыть. А мир наш был велик и друзей у меня было много.

Накануне отъезда я вдруг вспомнил о Мишке. Я не видал его почти месяц, и несмотря на то, что хотел провести последний вечер с Анной, почувствовал, что не проститься с Мишкой и уехать, не повидав его, может быть, в последний раз, невозможно. Мне тяжело было огорчать Анну, уходя от нее в этот последний вечер, но я обещал ей быстро вернуться, и зная, как много значит для меня Мишка, Анна меня не удерживала.

. . . . . .

. . . . . .

Вскоре я переступил порог Сумского Артиллерийского училища. А через два месяца я был уже на фронте.

Н. Воинов

Конец.

Повесть Н. Воинова «Беспризорники», печатавшаяся в «Новом Журнале» с некоторыми сокращениями, в ближайшее время полностью выходит на английском языке в Лондоне, в издательстве Harvill Press. РЕД.

ПИСЬМА М. ГОРЬКОГО К В. Ф. ХОДАСЕВИЧУ

(Окончание)

XVIII

[Получено 22 мая 24 года]

В недоразумении с Тихоновым[1] моей вины нет, Владислав Фелицианович, ибо я ему писал о статье размером в 1½-2 листа, как Вы мне и сказали.

М. И. имеет письмо Т-а, в коем он, соглашаясь взять статью, размер ее не ограничивает.

Я полагаю, что он отказался печатать о «Русалке», потому что после «Комментарий» В. В. Вересаева тема утратила интерес новизны. О «комментариях» этих я Вам писал.

О Лунце[2] я не стану писать, лично его я знал мало, Вы — больше меня. Вас я прошу убедительно: напишите страничку, две — сколько можете! В 5-ой книге печатается его последняя вещь, пьеса; Вы ее знаете.

В ошибках, Вами отмеченных, повинен не Браун[3], как я думал, а корректор: вся статья напечатана без корректорской правки, а — почему? Неведомо.

«Волю России»[4] не видал. Мария Игнатьевна[5] приехала, что и удостоверяет собственноручно.

Не сердитесь!? Нине Николаевне — привет! Но Шкапская-то[6], кажется, права, говоря о тяготении к «большим вещам», она, пожалуй, могла бы добавить: «и к социальным проблемам», сиречь: к вопросам общественным. Как раз именно Ф. К. Сологуб, пишут мне, скоро выпускает книжку стихов «Зовы» или «Крики дня», — будто бы очень хорошо и смело сделано. Очень интересен роман Форш[7]. Герой — Бейдеман, петро-павловский таинственный узник, о котором так хорошо рассказал П. Е. Щеголев. В 6-ой книге печатаем прозу Б. Пастернака.

Будьте здоровы. В Италии тепло. Не думаете заглянуть сюда? Всего хорошего. А. Пешков

P. S. Поэма Шкапской очень не понравилась мне.

---

[1] *Тихонов, А. Н. в то время — редактор «Русского Современника».*

[2] *Лунц, Лев. Молодой писатель, член общества «Серапионовы братья», умер в Германии от сердечной болезни, вскоре после приезда из России.*

[3] *Браун, Ф. А., профессор, один из редакторов «Беседы».*

[4] *«Воля России» — журнал, выходивший в Праге под редакцией группы эс-эров.*

[5] *Мария Игнатьевна Бенкендорф-Будберг.*

[6] *Шкапская, Мария, поэтесса.*

[7] *Форш, Ольга, автор многочисленных исторических романов, в частности, романа «Одеты камнем», о котором речь.*

XIX

2. VI. 24. [2 июня 1924. Сорренто]

Дорогой Владислав Фелицианович, —

Вас, вероятно, очень порадовал бы крайне интересный отдел литературных материалов в первой книжке «Р. Современника»[1]. Интересна поэма Тютчева «Байрон», стихи А. К. Толстого, письма Достоевского, Страхова, А. Н. Майкова. Кроме сего — письмо Л. Н. Толстого о Шекспире. Беллетристика, кроме Бабеля, так себе. Есть Замятин, но я его еще не читал[2]. Прочитав книгу, вышлю Вам, если хотите.

Посылаю материал для 6-й «Беседы», — давайте стихов. С беллетристикой в этой книге у нас, боюсь, будет весьма слабо. Пока, кроме Горького рассказа, ничего нет.

Что, среди молодежи Парижской, пишущей — нет прозаиков, интересных для нас?

Из «стариков» — как Вы думаете, — Осоргин не подойдет к нам? Остроумный он человек.

Мне кажется, что мы, русские литераторы, накануне крупного скандала, не лестного для нас. Дело в том, что чех Чапек написал весьма интересную и талантливую пьесу, а граф А. Н. Толстой «Бунт машин», тоже пьесу. В маленьком предисловии к ней Толстой признает, что он «взял тему Чапека», но из текста его работы явствует что он взял и действующих лиц, да не постеснялся сделать и текстуальныя заимствования. Не понимаю — что это? Торопливость, небрежность, отрицание или незнание литературных традиций? Не помню ничего подобного выходке Толстого, кажется, у нас никогда еще таких штук не выкидывали.

Жду, что когда Чапек узнает о том как поступили в России с его пьесой, — будет большой и неприятный шум.

Не напишете-ли Вы относительно писем В. В. Розанова для «Беседы»? Не знаете ли адреса Глобы и его имени?[3] Я бы пригласил его. Давайте стихов, стихов!

Я, тут, несколько захворал и даже принужден был валяться в постели.

Здесь весьма приятно. Каждый день — фейерверки во всех городах по заливу, стреляют до полуночи, а с нашей террасы видно ракеты, Венеру, Везувий, аэролиты, аэропланы, рыб, стрижей, летучих мышей...

Привет Вам и Н. Н. А. Пешков

---

[1] *«Русский Современник» — последний независимый журнал в Сов. России. Фактическими его редакторами были К. И. Чуковский, Е. И. Замятин и А. Н. Тихонов, личная дружба с которым заставила Горького нарушить зарок, который он дал — не печататься в России, пока туда не будет допущена «Беседа». Горький сделал для Тихонова то, в чем отказал Лежневу. (См. письмо от 27 сентября 1923 г., прим. 2-е). В первой книжке напечатаны отрывки из его воспоминаний.*

[2] *Кроме рассказа Замятина и отрывка из «Конармии» Бабеля, в 1-й книжке «Русского Современника» помещены рассказы Л. Леонова и Б. Пильняка, к которому Горький недурно относился, как к писателю, но очень не любил лично, после недоразумения, происшедшего между ними весной 1921 г., в Петербурге. К сожалению, рассказать об этом эпизоде, крайне забавном и соблазнительном, в данное время невозможно.*

[3] *Андрей Глоба — поэт и драматург.*

XX

13. VI. 24. [13 июня 1924, Сорренто]

Дорогой Владислав Фелицианович,

посылаю Вам поэму Недзельского. В письме ко мне автор говорит, что «эпоха требует эпопеи и ей уже осточертели мелкие излияния по традиции эстетствующих сердец», что он, автор, «не числит себя гением и выходит из той же субтильной лирики, но, очевидно», — говорит он, и «природа и филология заставили меня не топить парохода и не кусать грудь матери моей, но признать и благословить эволюцию наших культурных... заблуждений». Затем автор сообщает: «Блоку известны были 6 глав и он написал мне краткое и взвинтившее меня радостью письмо». «Отдельные главы читали С. Маковский и М. Цветаева». «Одобрили». Адрес автора — на рукописи. Я сообщил ему, что рукопись пересылается Вам.

Да, чуть не забыл; первая глава III-й песни была напечатана в 18 г. в жур. «Творчество», а в 22-м в «Маковце» — 11-я глава первой песни. «Когда в Харькове мне предложили — при добровольцах — напечатать первую главу III-й песни брошюрой, то цензура ее так изуродовала, что я отказался». Де-

лаю выписки из письма Недзельского потому, что послать его Вам целиком не могу, в нем идет речь о Калинникове, Чапеке и мне нужно отвечать по сим поводам[1].

Будут ли, В. Ф., стихи для 6-й книги? Я и Браун уже сдаем материал.

Приехала Ек. Пав., рассказывала много интересного и не мало печального[2]. Указывает на огромное количество переводной литературы, выходящей в России, но преобладает литература третьего сорта: собрание сочинений Д. Локка, Д. Лондона, не говоря о Борроузе, авторе «Тарзана»; издаются даже такие книжки, как романы Сарры Бернар, Иветт Жильбер. Сильно переводятся Жеромский, Даниловский, но, почему-то, наименее удачные их книги. Переводы — плохие.

Как здоровье Ваше, как живете? Получаете мои письма? Здесь почта очень внимательно читает всё, что посылается мне и — медленно читает, так, что я получаю письма с опозданием.

Привет Вам и Н. Н.

Sorrento. Villa Massa. А. Пешков

---

[1] *Е. Недзельский — поэт, живший в Праге. Горький очень обстоятельно отвечал на все письма. Калинников — беллетрист, сотрудник «Беседы». Поэма Е. Недзельского не была напечатана в «Беседе».*

[2] *Ек. Пав. Пешкова — первая жена Горького — приезжала в Сорренто из Москвы.*

XXI

[17 июня 1924, Сорренто]

Дорогой Владислав Фелицианович, —

набросок Оцупа, — в том виде, как он прислан, — печатать, на мой взгляд, не следует. Написал Оцуп сухо, бессвязно и небрежно, оставив неиспользованным очень хороший материал и уснастив рассказ непристойностями, в которых чувствуется даже нечто «монархическое», — я имею в виду «высочайшие» телеги. Христа — в иконографии — никогда не изображали «овцой», но лишь агнцем. Церковь не называет овцами «добрых пастырей». Ризотто не творог, а рис. И еще многое — в этом духе — допущено автором.

Будьте добры, попросите его переписать набросок сократив, елико возможно, конец — со стр. 14-й. Необходимо: развить сцену чтения стихов Данте, затем сказать что-то о Мексике, — кроме того, что о ней рассказывали «чудовищные вещи» и, наконец, было бы и уместно, и хорошо привести хоть одну из легенд, рассказанных ему, это весьма оживит набросок.

Засим — надо связать течение рассказа совершенно излишне прерываемое точками там, где достаточно запятых. Фра-

за — рваная, автор шьет не той иглою. О «белых» ночах Петербурга — хорошо сказано, но этого мало. Эскиз требует немножко лирики, побольше пейзажа.

Надеюсь, Оцуп не обидится на меня за эти, совершенно необходимые указания и поверит, что они вызваны заботой о его интересах. Очень прошу переписать рукопись возможно скорее, чтоб она попала в 6-ю книгу[1].

Вы обрадовали меня, сообщив, что «садитесь за стихи». Пора, дядя! А Берберова? Дадите-ли на 6-ю? Приблизительно, ее содержание — «Рассказ о необыкновенном», рассказ Пастернака, Калинникова, Оцуп; переводные: Мей Синклер, Рене Маран, Истрати, статья В. М. Алексеева о китайской истории, Брауна о варягах. Полагаю — будет интересно. Стихов, стихов! Побольше!

Крепко жму руку. Н. Н. привет.

Villa Massa. 17. VI. 24. А. Пешков

---

[1] *Оцуп, Ник. Авд., поэт. Его очерк в исправленном виде, напечатан в 6-ой кн. «Беседы».*

XXII

[1 июля 1924. Сорренто]

Дорогой Владислав Фелицианович, — совершенно согласен с Вашей оценкой Зам.[1]. Прочитав его рассказ, я записал себе на память:

«Избыток ума мешает З. правильно оценивать размеры своего таланта. Ум З. — не яркий и обманывает его. Мысли у него — слепые».

Леонов очень хорош! Читали Вы его «Конец лишнего человека»? В этом рассказе заметно подчинение Достоевскому, но, может быть, это лишь потому, что такова тема. На Бабеля — надеюсь очень.

Каплун[2] телеграфировал. Сей окаянный Кунктатор совершенно перестал писать письма и не отвечает на серьезные вопросы, требующие скорейшего разрешения. Я не знаю, — что с ним делать, с Каплуном?

На днях познакомился с оригинальнейшим писателем американцем — Шервуд Андерсон, автор книги «Уайнсбург», совершенно новая вещь в американской литературе. Рад. Прочитал кучу «колониальных» романов, очень интересно. Нет, знаете, Европа — или точнее литература ее — замечательное, единственное в мире явление! Всё она видит, всё понимает, обо всем умеет говорить смело и честно. В некотором роде «Всевидящее око».

Будьте здоровы. Очень плохо чувствую себя, что-то болит или хочет болеть. Привет Н. Н. Стихи она пишет?

1. VII. 24. А. Пешков

---

[1] *Зам. — Е. И. Замятин. Речь идет о его рассказе, напечатанном в «Русском Современнике».*

[2] *Каплун-Сумский, С. Г. — издатель «Беседы».*

XXIII

[13 июля 1924. Сорренто]

13. VII. 24.

Дорогой Владислав Фелицианович, я послал Каплуну телеграмму с просьбою не печатать Пастернака, но ответа — не получил. К. — вообще — не отвечает на письма, давно уже не отвечает. Меня это ставит в положение крайне глупое перед авторами.

Появление рассказа моего в "Vossische"[1] — вполне естественно: в с е плоды трудов моих куплены Курт Вольфом и Рубинштейном, т. е. «Verlag'ом Ладыжников», сии купцы могут печатать меня даже на клозетной бумаге, что они, вероятно, и сделают. Ибо — современному жителю Европы читать некогда. «Таково положение писателя при капиталистическом строе», как говорит т. Луначарский. А т. Троцкий говорит, что я контр-революционер и настраиваю крестьянство против советской власти. А т. Вишняк говорит наоборот: это я власть против крестьян настраиваю. И, вообще, все говорят, а кого слушать — не знаю.

Решил писать большую повесть о фабриканте, вот будут ругать меня за нее! Написал рассказ, в котором глобус, примерное изображение земного шара, вертясь вокруг оси, наигрывает:

«Чижик, чижик, где ты был?»

Сочиняю пьесу, в которой главное действующее лицо — чорт, он фабрикует фальшивую монету. А Берберова пусть не фордыбачит, еще посмотрим: кто кого? Я тоже пишу поэму о том, как трудно негру блох ловить. Напишу и посвящу З. Гиппиус. Эпиграф возьму у Нины Николаевны: «А дом-то где?».

Уж если меня некоторые «компрометируют», так я — всех!

Познакомился с Муратовым[2], — очень хороший человек! А, вот, настроение у меня плохое и здоровье потрескивает. Седею. Тут, знаете, сезон праздников, — чуть ли не ежедневно фейерверки, процессии, музыка и «ликование народа». А — у нас? думаю я. И — извините! — до слез, до ярости завидно и больно, и тошно и т. д. Сердечный мой привет вам.

А. Пешков

[1] *Незадолго до того я был изумлен появлением горьковского рассказа в "Vossische Zeitung"*

[2] *Муратов, Павел Павлович, писатель, проводивший то лето в Сорренто.*

XXIV

[Получ. 25 июля 24 г.]

Дорогой друг, безнравственный Париж действует на Вас противоестественно. Вы становитесь моралистом и, кажется, скоро начнете кричать на бульварах "Evviva Mussolini!". Ваш намек на злоупотребление некоторых писателей вином ударил в чуткий гонг моей невинности кулаком несправедливости. Этот намек привычного моралиста особенно несвоевременен теперь, когда баронесса Будберг отъехала в лимитроф свой и я не могу сообразить: сколько бутылок в месяц я имею право выпить без нее? 20-30?

Сегодня же обращаюсь к Ек. Пав., которая, будучи здесь, весьма увлекалась "Capri rosso", она уже наверное, с аккуратностью, свойственной ей, даст мне добрый совет пьяницы прозелита.

Всё сие написано лишь для того, чтобы Вы знали: письмо В. получено. Это является приятным исключением из правил итальянской почты.

Новость: Луначарский пишет «Шекспира». Кажется, я рассержусь и начну писать Библию.

А Берберова печатает стишки посвященные неким Эм-ам? Она бы лучше писала какую-нибудь Шехеразаду. А этот ее Эм ночами «лазает» по чужим колоннам и в него немки из пистолетов стреляют. Хорош? Она бы лучше мне стишки-то посвящала, я немок не люблю.

Привет. Сердечный.

А. Пешков.

Число — неизвестно, спросить не у кого, все погрузились в море. Жара 183 градуса. Цикады верещат. Пишу огромную повесть.

Я — завистлив.

XXV

[10 августа 1924. Сорренто]

Первый раз за всю мою жизнь пишу письмо в Ирландию[1], — не обижайтесь, В. Ф. дорогой, если выйдет плохо и скучно. Кроме того, что Ирландия, на меня наехали гости, они четыре часа к ряду рассказывали мне «новости русской жизни»; мне кажется, что единственная из них, интересная для Вас и оставшаяся у меня в памяти, это биография Пушкина, составленная Модзалевским, Н. В. Измайловым и А. И. Кубасовым;

книгу эту очень хвалят. Не верю. Биографию Пушкина можете написать только Вы. Это — убеждение, а не комплимент.

Бывает у меня П. П. Муратов, милый и весьма интересный человек. Сегодня мы с ним хорошо поговорили на тему об антиинтеллектуализме русской прозы и глубоком, оригинальном интеллектуализме поэзии. Добрым словом помянули Вас за стихи в последней книги «С. З.»[2] Муратову не нравится «Романс» в «России», а мне — нравится[3]. Да и он, в сущности, говорил лишь о том, что «оканчивать» Пушкина — не надо.

Ох, я пишу повесть, ох, меня будут всесторонне ругать за нее! Впрочем — живу обыкновенно. А читаю Стендаля, очень хорошее издание Френкеля, с интересной статьей об авторе — Виноградова. Сабашников хорошо издал три книги Леонова, зятя своего.

Берберова — не отвечаю на ее письмо с помарками. Берберовой я пришлю стихи собственной фабрикации, и пускай Вселенная решит, кто из нас лучше. Это будет поэма, да! Я назову ее:

«Поэма
о правильном распределении по земному шару
продуктов природы и прочего».

Там всё будет доказано. Там угольщик, он же и философ, и диктатор космоса, такие штучки будет говорить — все ахнут! А Берберова примет ирландское католичество.

Уже скоро я кончу эту поэму, скажите ей. Да — трепещет[4].

Будьте здоровы, дорогой друг. У нас завелся телескоп, чорт его возьми, все мои сидят на крыше и глазеют на Марс, а меня мухи съели, облило стол водой и я не могу никого выкричать ни с верха, ни с низа. Очень трудно мне жить. Кажется, я женюсь на глухонемой или найму лакея, негра. Купил себе купальные штаны, от них у меня ноги сделались, как у чумного покойника, синие.

Здесь художник Кончаловский, Ян Стыка, Зиновий Пешков. Говорят, скоро приедет Атилла, Коган ,литератор, Лежнев, журналист, и Джон Мильтон.

А от Каплуна — ни слуха, ни духа, 5-я вышла[5]. М. И. в лимитрофе[6]. Не пишет. Куплю пистолет, вобью его в стену дулом, а на ручке — повешусь. Прощайте.

10. VIII. 24. А. Пешков

---

[1] *Июль и Август 1924 года я провел в Сев. Ирландии, близ Бельфаста.*

[2] «*С. З.*» — «*Современные Записки*».

[3] *Мое стихотворение «Романс», напечатанное в лежневской «России», было попыткой закончить известный набросок Пушкина «Ночь тиха. В небесном поле». Такие же опыты ранее делались А. Н. Майковым и др.*

[4] *Шуточная поэма Горького не была им кончена.*

[5] *Т. е. 5-ая книга «Беседы».*

[6] *М. И. Бенкендорф время от времени ездила к своим детям в Эстонию.*

XXVI

[21 августа 1924. Сорренто]

21. VIII. 24

Письмо в «Беседу» послал[1].

Как это удивительно, что Ваши письма доходят до меня! И, очевидно, доходят мои до Вас. Пожалуй, надо верить, что Англия (sic!), по истине, страна свободы.

Квартира у нас до 15 ноября. На днях уезжает Зиновий Пешков с дочерью и освободятся две комнаты. Затем, наверное, уедет жена Ивана Вольного[2] с сыном — и будет еще одна комната. Значит — место для Вас будет и думаю, достаточно изолированное. Ждем Синьорелли[3], вчера видел, сказал о визах. Обещала. В общем — всё благополучно, кроме погоды. Но тут уж — дело непоправимое.

Вы приедете к сбору винограда. А 2-го сентября интереснейший праздник в Неаполе.

Привет.

А. Пешков.

---

[1] *Я послал Горькому для напечатания в «Беседе» письмо в редакцию по поводу безобразного петербургского издания моей книги «Поэтическое хозяйство Пушкина».*

[2] *Иван Вольный — давний знакомый Горького. Беллетрист, много лет живший в Италии, уехавший в СССР. Жена его осталась в Неаполе.*

[3] *Синьорелли — Ольга Ивановна, общая знакомая П. П. Муратова и моя. В течение многих лет она была близким другом Элеоноры Дузэ, о которой в 1939 г. издала книгу воспоминаний.*

XXVII

[5 сентября 1924. Сорренто]

Эффенди!

Клянусь бородой Магомета и прахом моего отца, что я знаю разницу между сентябрем и октябрем и даже несмотря на мое скептическое отношение к цифрам — знаю, что, в пределах одного года, первый предшествует второму. Вы-же че-

ловек, очевидно, до забвения арифметики и астрономии, а также метеорологии, — забитый долголетним посчетом (sic!), хозяйственного инвентаря, некогда принадлежавшего небогатому помещику А. С. Пушкину, а ныне поступившего в собственность союза множественных с-ов, Вы, явно находитесь в заблуждении, полагая, что сентябрь с октябрем находятся в отношениях неопределенных. Сему — доказательство Ваше последнее письмо, в котором Вы пишете, во-первых:

«Мы собираемся к Вам н е в с е н т я б р е, а в октябре». Во-вторых — четырьмя строками ниже:

«Поэтому мы думаем явиться к Вам в середине с е н т я б р я». Вот. Письмо Ваше мною сохранено и в любой момент может быть представлено «Лиге Наций».

Уязвив Вас в самое — надеюсь — чувствительное место, перехожу к делу: визы посланы Вам, а также и Купчихе — в Лондон. От Ек. Павловны не получил, со дня ее отъезда из Сорренто, ни одного письма в ответ на мои; чем это объяснить — не знаю. Пишу сегодня еще раз и надеюсь, что она книги вышлет.

Тот факт, что квартира у нас до 15 ноября — не должен смущать Вас. Если мы тут не останемся на зиму, то переедем недалеко, в Амальфи или Неаполь. В общем это пустяки и Вы, пожалуйста, о них не думайте.

А писал я Вам скупо потому, что погряз в повести очень бытовой и в такой мере скучной, что если за скуку где-нибудь дают премии — первая премия обеспечена, я ее получу[1].

Как Вам нравится Борис Савенков (sic!)? Я всегда считал его типично русским мерзавцем карамазовского типа и, конечно, не Митей, а — Смердяковым. Палачь (sic!) склонный к лирике[2].

Нет, Вы представьте, как должна чувствовать себя воспитательница его, Гиппиус? Я — не злорадствую, нет; мне искренно жаль эту талантливую и умную женщину, отвратительные дни должна переживать Зинаида Ник.! Поистине:

Бывали хуже времена,
Но не было подлей!

И вообще: каждый день, разевая гнилую пасть орет гнусности и дышет отравой. Честное слово, — ночами я, один на один с собою, так тяжко чувствую себя, что — не будь это пошло и смешно — застрелился бы. Утешаюсь лишь тем, что всё пишу, пишу до полного утомления и знаю, что пишу очень плохо, всё не то, не так. Стараюсь шутить, — тоже плохо выходит. Раньше шутка помогала мне.

Привет. Берегите себя. А. Пешков

[1] *Здесь, как и в некоторых предыдущих письмах, речь идет о «Деле Артамоновых», над которым Горький работал в ту пору.*

[2] *Горький имеет в виду нашумевшую историю перехода советской границы Б. В. Савинковым.*

XXVIII

[15 мая 1925. Сорренто][1]

Дорогой Владислав Фелицианович,

Случевского Вам привезет Блок[2], который вчера был у меня, а через неделю обещал быть у Вас. Говорил о журнале. Не внятно.

Вы потеряли зубы? По статьям Вашим это не заметно.

«Беседа» кончилась. Очень жалко. Браун — в совершеннейшем унынии. Особенно — потому, что его статья о варягах вошла в 7-8 книжку не целиком. Не прислать ли Вам для «Совр. Зап.» «Воспоминания» Н. Петровской?

По вопросу — огромнейшей важности вопросу! — о том, пущать или не пущать «Беседу» на Русь, было созвано многочисленное и чрезвычайное совещание сугубо мудрых. За то, чтобы пущать, высказалось трое: Ионов, Каменев и Белицкий, а все остальные: «не пущать, тогда Горький воротится домой». А он и не воротится. Он тоже упрямый.

Из литературных новостей. Сергей Григорьев, говорят, написал очень интересную повесть «Аня Гай». Это героиня его рассказа «С мешком за смертью». Замечательно остроумно написан Булгаковым рассказ «Роковые яйца». «Недра», 6-ая кн.

Новая частушка:

Сидит Ваня на борту
С папироскою во рту.
Держит в лапище полено, —
Это он для Чемберлена!

А Максим хочет писать картину: въезд Гинденбурга в Берлин. Событие вполне достойное иллюстрации в красках. Несколько немцев умерло от восторга, при виде нового президента. «Руль» говорит об одном, но я верю, что — несколько. Были случаи левитации, — мужчины и немки поднимались на воздух.

«Непонятая женщина» — М. А. Осоргин? По началу я заподозрел Нину Берберову. Привет ей.

Вам тоже. Будьте здоровы.

19.V.25. А. Пешков

---

[1] *В начале октября 1924 г. я приехал в Сорренто, откуда уехал в Париж 18 апреля 1925 г. С того дня я уже не видел Горького (срв.*

«Некрополь», стр. 235). Данным письмом открывается последний, краткий период нашей переписки.

[2] *Блох, а не Блок. Один из случаев характерной для Горького небрежности в начертании фамилий. Уже в предыдущих письмах мы отмечали, что он писал Ремезов вместо Ремизов, Савенков вместо Савинков. Такие же ошибки он порой упорно делал и в произношении: например, — невозможно было отучить его говорить Барятинский вместо Боратынский.*

XXIX

[19 мая 1925. Сорренто]

Дорогой Владислав Фелицианович,

будьте добры, предложите редакции «Современных Записок» прилагаемую при сем статью пр. Старкова[1]. Статья интересная, даже — веселая; во всяком случае дает весьма обильный материал для разнообразнейших дискуссий.

Буде редакция примет ее, попросите выслать гонорарий по адресу. Положение сего человека — удручающее.

Ожидаю ответа. Привет.

А. Пешков

---

[1] *Проф. Старков, приехавший из сов. России в Италию (с семьей) был специалистом по замораживанию и хранению мяса, а также — человеческих трупов. Он долго колебался, остаться ему за границей, или вернуться в Россию. Он погиб под поездом, вблизи Праги в 1927 г.*

XXX

(29 мая 1925. Сорренто)

Дорогой Владислав Фелицианович,

писал Гржебину[1] и, кстати, попросил его справиться, что случилось с газетой?[2] Ибо сначала она шла на Ваше имя, потом — не шла, затем пришла во множестве и с открыткой от конторы, в открытке сказано, что газета будет высылаться мне до 31-го мая, а я просил выписать ее до конца года. На днях пришла еще открытка с напоминанием, что срок подписки истекает 31-го.

Разрешение на «Беседу» было дано и книги в Россию допускались. Затем разрешение было опротестовано и аннулировано большинством голосов против трех: Каменева, Ионова, Белицкого.

Новых книг не получил, на днях придут. Вышлю тотчас же. Сергей Григорьев написал продолжение повести «С мешком за смертью» — «Аня Гай», очень хвалят эту вещь. Интересный человек этот Григорьев. В «Московском Альманахе» 23 года его рассказ «Васса»; главы рассказа окрещены имена-

ми строителей Петербурга: Растрелли, Терзини, Делямонта, Земцова и т. д. и сквозь весь рассказ проведена тема решеток Мрамор. дворца, Летнего сада и прочих. Странно. Я ничего не понял. Перечитал и тоже не понял.

Весьма жаль, что, видимо, никто не прочитал статью Старкова, в ней собраны любопытнейшие факты, да и по существу она очень интересна. Автор увлечен изысканием «сверх-чувственного», собирает факты левитации, явлений эктоплазмы и прочих чудес. Он очень талантлив.

Крючков[3] не выдал деньги Н. П. потому, что у него моих денег не оказалось, чем я очень огорчен. В «Книге»[4] — смена кабинета, уходит И. П. Ладыжников, боюсь, что и Кр. уйдет. Это задержит издание моей повести, я думаю. Денег посылать П. не буду, но на-днях М. Игн. едет в Берлин, встречать детей и я попрошу ее помочь Н. П.[5]. С сотрудниками «Беседы» приходится расплачиваться мне.

Блок прислал мне проект письма, коим я должен разрешить ему и М. А. Осоргину «вести все переговоры денежного и литературного характера, связанные с изданием журнала, редактором которого я буду состоять»[6].

Не могу подписать такое письмо, ибо не вижу себя редактором журнала, состав сотрудников которого мне не весь известен и «направление» коего совершенно не ясно.

Газета Струве — противовес «республиканско-демократическому объединению»? Вот — «Еще одна ненужная газета», как говорит Пимен в «Борисе Годунове»[7].

Есть слух, что Замятин и Чуковский возобновляют «Русск. Совр.». На днях приезжает Купчиха[8].

Здесь празднуют, да как! 3000 выстрелов, два фейерверка и пять оркестров музыки! Это — в честь аббата Антонио, который сто лет тому назад приказал киту изрыгнуть Соррентского мальчика, им проглоченного, что китом и было исполнено. Праздновать начали в воскресенье и продолжали до 7 июня. Очень шумно...

Будьте здоровы. Н. Н. привет.

29. V. 25. А. Пешков

---

[1] *Гржебин, З. И., известный издатель.*

[2] *«Газета» — «Последние Новости», на которую Горький был подписан.*

[3] *Крючков, П. П., впоследствии расстрелянный. Доверенное лицо Горького и, по всем видимостям, агент ГПУ во время пребывания Горького в России приставленный к нему.*

[4] *«Книга» — издательство, в котором участвовал И. П. Ладыжников.*

[5] *Н. и Н. П. — Нина Ивановна Петровская, присылавшая в «Беседу» материал.*

[6] *Блох и Осоргин предполагали издавать в эмиграции «антиэмигрантскую газету».*

[7] *«Газета Струве» — «Возрождение».*

[8] *«Купчиха» — художница В. М. Ходасевич.*

XXXI

[20 июля 1925. Сорренто]

Дорогой Владислав Фелицианович,

Думаю, что я получил все Ваши письма; получил письмо от Н. Н., а не ответил потому, что замотался: в доме — кутерьма, интересные дети, множество поющих, говорящих, играющих людей, а сверх того случайные посетители, число коих очень возросло, чему не мешает и жаркая погода, угрожающая засухой всякой растительности.

Кроме того, я рассердился на Ваш «Бельфаст»[1], несправедливо ставить это «учреждение» в упрек сов. власти. Германия, Франция технически богаче России, но Бельфаста и у них, ведь, нет. Это — нечто исключительное, верфь Бельфаста. Да и вообще несправедливо упрекать Москву в безделье — там работают и учатся работать.

Здесь у меня жил три недели П. П. Крючков, человек вовсе не склонный преувеличивать и деловой, то, что он рассказывает — очень веско и значительно.

За фельетон «О том, как»[2] Вас жестоко обругали в «Известиях». Это меня огорчило. Очень. Тем более, что резолюция ЦК партии по вопросу о политике в области художественной литературы «с ее осуждением — резким — комчванства» явление, которое приветствует даже Айхенвальд, хотя и «сквозь зубы».

Ионов ведет со мною переговоры об издании журнала типа «Беседы» или о возобновлении «Беседы». Весь материал заготовляется здесь, печатается — в Петербурге, там теперь работа значительно дешевле, чем в Германии. Никаких ограничительных условий Ионов тоже, пока, не ставит.

На днях сюда приедет В. И. Иванов[3], в конце месяца — Добровейн[4]. Сейчас здесь П. П. Муратов.

Живем весело. Много работаю.

Блок, по словам Муратова, едет в Париж скоро, задержан отсутствием визы.

Послал Вам книгу «За кулисами царизма». Из архива ти-

бетца Бадмаева, но почему-то мне ее вернули, сняв марки. А с чехословацкой границы вернули пакет, адресованный Лутохину. На днях прочитал в рукописи статью «Конец Азефа», рассказ о его жизни после «разоблачения» и до дня смерти. Если бы Вы знали, какой это серый ужас! Пред вами встает огромная, почти символическая фигура совершеннейшего мещанина, который старательно, рассчетливо устраивает со своей любовницей, дамой кафе-шантана, спокойную уютную жизнь, на деньги, полученные от продажи своих друзей. Серебрецо столовое, шубки, кровати, поездки на курорты и всё так, по-немецки, аккуратно, благопристойно. Его дама — немка. Была в знаменитом поезде Кирилла Влад. «ныне императора», в том скандальном «поезде», который Куропаткин так долго не мог выгнать из Маньчжурии.

Страшная фигура своей «простотою», этот Азеф.

Ну, будьте здоровы. Привет от всех моих.

Не пошлете ли Вы мне «Совр. Зап.», последнюю книгу, ту, с концом повести Бунина?[5] Пожалуйста! А. Пешков

20. VII. 25.

---

[1] *«Бельфаст» — фельетон о бельфастской кораблестроительной верфи.*

[2] *Фельетон «Как я «культурно-просвещал». «Последние Новости»„ № 1578.*

[3] *Поэт-символист Вячеслав Иванович Иванов.*

[4] *Исай Добровейн, дирижер симфонического оркестра и пианист.*

[5] *«Митина Любовь».*

XXXII

[13 августа 1925. Сорренто]

Я, конечно, не соглашусь, дорогой В. Ф. с тем, что в России ныне (?) «нет воли к работе», как Вы это утверждаете. Воли к работе у нас больше, чем где-либо в современной Европе; тут можно говорить и спорить не о наличии воли, а о наличии уменья работать. Ссылка на «Словотекова» — не годится, текста этой шутки Вы не знаете. Думаю, что и осуждать людей за недостаток «воли к работе» Вам не следует, ведь это воля творящая, «прогресс», а Вы, по Вашему же заявлению, не принадлежите к числу «любителей прогресса».

«Беседа», кажется, будет журналом, посвященным вопросам современной науки, современного искусства, без стихов, без беллетристики. Печататься в России будет потому, что это значительно дешевле. Еще дешевле было бы печатать в Италии, но здесь нет русских типографий[1].

Беллетристика, стихи найдут себе место в «Русск. Совр.», который возобновляется при старой редакции. В этом году выйдут лишь две книжки, увеличенного размера, как я понял, а с начала 26-го будет выходить 12 книг.

Тихонов «восстановлен во всех правах», приговор отменен. Он взял на себя редакторскую работу в издательстве «Круг», Воронского[2]. Сейчас поехал в Крым отдыхать.

Была здесь Зоя Лодий[3], чудесно пела. Был Мейерхольд, он едет со своим театром на зиму в Германию. Было и еще не мало людей интересных. Вообще лето урожайное на гостей. Сейчас у Купчихи живет жена художника Шаумян[4], кажется. На днях явится и сам художник.

Чапыгин, А. П., печатает в «Былом», в приложении, роман из эпохи Разина, пишет очень интересным языком и вообще интересно. Вышли книги рассказов Леонова, Булгакова, Чапыгина, Огнева и забавный «авантюрный» рассказ Козырева «Мистер Бридж».

Прекрасная вещь «Детство Люверс» Пастернака. И хорошо издана.

Приятных новостей не мало. Но есть и неприятная: Сутер[5] нашел у Вал. Мих. рецидив туберкулеза. Она поехала в Неаполь, там ляжет в его — Сутера — госпиталь для исследования, дня на два. Спасибо за «Совр. Зап.». Конец «Митиной любви» не понравился мне. Книжка — скучная.

Передайте привет Нине Николаевне и будьте здоровы. А я — не очень здоров. Сильно похудел и ослаб. Должно быть от анафемской жары. Весь июль и до сего дня — ни капли дождя. Но виноград от этого очень выиграл, удивительно сладок.

М. И. — в Эстонии, поехала провожать детей. Дети у нее очень милые, особенно — младшая, Таня.

Всего хорошего.

А. Пешков

13. VIII. 25.

Вырезки из «Известий» не имею, потерял.

---

[1] *«Беседа» возобновлена не была.*

[2] *Воронский — известный советский критик.*

[3] *Зоя Лодий — певица.*

[4] *Не Шаумян, а Шилтьян.*

[5] *Сутер — доктор и приятель Горького.*

НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ АБХАЗИИ

В горах, в суровых ущельях Абхазии, где только рокот горных потоков нарушает тишину, где чаще можно встретить медведя, чем человека, — всё было таким, каким было сотни лет назад. Везде, в горах и предгорьях, по долинам и по холмам, среди сплошной зелени были разбросаны отдельные домики абхазцев с чистыми дворами, где в дни семейных торжеств со всей округи собирались родственники и друзья кто пешком, а кто верхом на своих горных лошадках.

Первые приветствия, церемонии с приглашением к столу, нескончаемые тосты, тягучие заунывные песни — всё, даже сыр и вино «Изабелла» — всё особенное, своеобразное, древнее. Никто не смеет нарушить вековых обычаев и горе тому, кто дерзнул бы изменить то, что вечно, как вечны горы Абхазии.

Уверенные в себе и в неприступности своих гор абхазцы, встретили людей, пришедших со стороны моря, без видимого любопытства или страха и по своей традиции гостеприимства предложили им ночлег и стол. Пришельцы всячески старались отблагодарить хозяев, но всегда так, чтобы не нарушить обычаев народа.

Абхазцы, члены партии и комсомола, приехавшие из города, зорко следили за всем, давая наставления, как надо себя вести и чем можно вызвать сочувствие у населения. Своим же абхазцам комсомольцы разъясняли, что приехавшие, это — ученые, которые интересуются жизнью и природой Абхазии и просили всех, кто хорошо знает местность, показать им всё, что Бог дал Абхазии. Говоря на родном языке, хорошо зная свой народ, играя на национальных чувствах, платя большие деньги и давая подарки, комсомольцам удалось подобрать первоклассных проводников, знавших все горные уголки.

Два года геологи, лесники, дорожники «делали обыск» горам. Много положили они сил и энергии, часто увлекаясь, забывая всё, руководимые только профессиональным чувством, в очень тяжелых условиях, а порой и с опасностью для жизни

добывали они необходимые сведения. Долгое пребывание изыскательной партии: отъезды одних, приезды других. Тысячи нитей связывали изыскателей с Тифлисом, Харьковом, Москвой. Всё это было чуждо и не нужно горцу. И когда какой-нибудь житель гор, проезжая на коне, видел человека, внимательно разглядывавшего кусок камня или глины, на лице его появлялась незлобная, но ироническая улыбка. Отношение к изыскателям со стороны населения было, как к людям, которые занимаются не тем, чем Бог велел.

Но вот наступает день — в столичной абхазской газете большая статья и публикация распоряжения местных властей о том, что в селе В-ни состоятся: грандиозные скачки, джигитовка, танцы, борьба. В состязаниях примут участие, кроме местных жителей, представители других районов. Лучшим участникам будут выданы призы: первый приз — конь 4-х лет и седло, пожертвованные спортивным обществом Закавказья. К началу открытия скачек обещал прибыть сам глава правительства Абхазии.

У всех жителей радостно-приподнятое настроение. Что-то необыкновенное творится в округе: от древних стариков до детей — все заняты приготовлением к скачкам. Готовятся лошади, наездники, приводится в порядок плац для скачек и игр; разговоры — только о скачках.

Настал день торжества. Сотни пеших и конных, старых и малых спешат на праздник. Собралось море людей. Все ждут начала празднества. На трибуну поднялись представители власти. Первое слово главы Абхазского правительства. Толпа притаилась, стихла. Глава правительства с подчеркнутой темпераментностью начал речь. Он говорил о прекрасной Абхазии, о ее гордом народе и, делая жест в сторону гор, оратор образно описал красоту этих гор и добавил, что они не только красивы, но и таят в себе неисчислимые богатства и что, благодаря заботам правительства, люди науки при поддержке всего абхазского народа, после долгих и упорных трудов нашли, наконец, в горах: уголь, сланец, гипс и лечебные воды. Все эти богатства ждут нас.

— Я уверен, что теперь Абхазия смело и быстро начнет превращаться в страну индустриальную и порукой тому великий Сталин! — закончил он, объявив о решении правительства начать строительство еще в этом году, ибо все данные для этого на лицо, а самое важное, это — непреклонная воля абхазского народа!

После речи представителя правительства вокруг трибуны раздались дружные аплодисменты. Следующим выступил председатель района с заверением партии и правительства в готовности населения отдать все свои силы за великое дело преобразования родной страны.

— В честь великого начала индустриализации родной Абхазии, разрешите сегодняшний праздник с традиционными скачками считать открытым!

Буря аплодисментов и неописуемый восторг были ответом на эту речь.

После праздника долго еще у местных жителей все детали скачек и борьбы были главной темой разговоров и переживаний.

На строительство прибыли первые специалисты и квалифицированные рабочие. Через небольшой промежуток времени начали прибывать рабочие, преимущественно мобилизованные комсомольцы из городов Закавказья. Понемногу налаживалась доставка материала и инструментов. Партийные, комсомольские, профсоюзные организации и техническое руководство — всё примеряли с чего начать. Но уже всем стало ясно, что местное население не принимает участия в новом деле. Искали почву для вовлечения молодежи в комсомол и на производство: каждый вечер устраивали кино-сеансы, доклады, по воскресеньям — игры и танцы. По горящим глазам местной молодежи было видно, что всё это их занимает и нравится, но что-то было такое, что сдерживало их; с какой-то завистью смотрели они на танцующих, но сами участия не принимали. Приходили, смотрели и так же молча расходились, но на строительство не шли. Призывы к населению «выделить транспорт» — оставались без ответа.

Из центра шли приказы: «В виду феодальности страны быть очень осторожным и не обострять отношений», и в то же время требование — разворачивать работу. Отсутствие местного транспорта, приспособленного к горной местности, заменить было нечем. Все отдавали себе отчет, что если строительство не получит нужного транспорта, работ производить нельзя. Специалисты: инженеры, техники и квалифицированные рабочие были пришельцы с севера, опыта работы в Закавказье не имели; партийные организации, укомплектованные жителями Закавказья, имея указания своих организаций о «феодальности» и, зная нравы и обычаи населения, не могли найти выхода.

В дело вмешался Тифлис. На строительство приехали матерые партийцы. Как всегда начали с собраний: закрытое партийное, закрытое комсомольское, техническое совещание и, наконец, техническое совещание с партактивом. В конце-концов остановились на возможности начать дорожные работы, не требующие транспорта и, как одну из больших и трудоемких работ, решили: в первую очередь приступить к подготовке взрыва «Орлиной скалы», для чего требовалось пройти в скале штольни в трех направлениях и целый ряд других работ. С точки зрения последовательности и экономики такая работа шла в разрез с техническим здравым смыслом, но на возражения специалистов против такого порядка работ, представитель Тифлиса ответил:

— Нас в данном случае интересует возможность работы, а не здравый смысл очередности. Ставить сейчас вопрос об очередности — значит не иметь размаха и не понимать обстановки.

Работу по подготовке взрыва решено было производить в две смены. Срок работы определили в 5 месяцев из расчета произвести взрыв 7 ноября. На следующий день в многотиражке строительства появилось сообщение об утверждении производственного плана, в котором главное место уделялось взрыву «Орлиной скалы». — «Пусть в день великого Октября разнесется слава по горам Абхазии о великих делах партии Ленина-Сталина!» — так заканчивалась многотиражка «Горец на стройке».

В те времена рабочее снабжение было поставлено из рук вон плохо. Для улучшения своего питания рабочие уходили за 10-20 километров и доставали у населения что могли — кто за деньги, а кто способом меновой торговли. В меновом смысле особенно ходким был хинин, который вначале выдавали рабочим на целую неделю, но они предпочитали бороться с малярией при помощи обмена хинина на сало, яйца и вино. Общаясь с рабочими, особенно пришлыми, местное население много узнало о «великих делах», которые уже были проведены на севере страны. Партийные и комсомольские организации такой способ добывания продуктов негласно поддерживали. Уходя в горы, комсомольцы-рабочие брали с собой газеты, заводили с молодежью знакомство, иногда слушали разговоры других меняльщиков. Владея языком, они находили пути сближения с старшим поколением, узнавали о их нуждах, об отношении к строительству, о взаимоотношениях между жителями. Сытые и с запасом продуктов комсомольцы возвращались домой.

На опыте кино, танцев, докладов и меновой торговли — всё яснее становилось, что строительство непонятно и чуждо населению и что молодежь, увлекаемая только внешними формами, не оторвется от векового уклада: еще крепки и нетронуты традиции, где слово старшего было законом. А те, чье слово считалось законом, если не совсем сознанием, то сердцем и чутьем понимали, что чуждое им дело разрушит испытанное, вековое, но взамен ничего доброго не даст. Единственное, что строительство могло бы дать народу — это материальные блага, но та ничтожная плата, которую получали даже опытные рабочие, не давала и на это надежды. Отрицательное отношение стариков было главной причиной неучастия молодежи в строительстве. Привыкшая уважать стариков, молодежь шла за стариками. Для поощрения, крестьянам, работавшим со своим транспортом, ввели дополнительную выдачу промтоваров. Это привлекло немногих наиболее бедных горцев, но это не вело к разрешению вопроса.

Для молодежи устроили экскурсии: в Тифлис, Баку, Батум. Перспектива бесплатных поездок привлекла человек 150, но после возвращения только единицы пошли на работы. А, главное, транспорта — не было.

Прибывшие с севера рабочие в своей массе были те, кто готов был ехать куда угодно, лишь бы сохранить себя. Всех их направляли вглубь трассы, на дорожные работы. Вместе с ними уходили вьючные караваны, нагруженные палатками, инструментами и продуктами. Всё чаще в горах раздавались взрывы, но всё это по сравнению со всем объемом работ было незначительно. Единственная работа, которая проходила успешно — это работа по подготовке взрыва «Орлиной скалы».

Народные легенды, которыми была овеяна эта скала, шум поднятый пропагандой вокруг взрыва ее, всё это вызывало особенный интерес. В местных газетах писали: «Скоро придет время, когда по воле человека, на том месте, где стоит скала, пройдет дорога. И то, что хранят в себе горы, станет достоянием трудящихся. Перед нами стоит огромная задача — провести дорогу. От имени трудящихся Абхазии мы заявляем: д о р о г а б у д е т». Но не только газеты, и на собраниях во всех окружающих селениях все говорили о будущем взрыве. Население молча слушало эти разговоры и ничему не верило, а старики открыто заявляли, что всё это глупые выдумки и смеялись над мыслью построить дорогу на месте скалы.

За месяц до праздника октябрьской революции почти все

главные работы по подготовке взрыва были закончены. Дорожники и подрывники чувствовали себя именинниками. Все на них смотрели как на героев дня, а начальство ставило их везде в пример.

Два лагеря стояли друг против друга. Одни — со страшной энергией и упорством, используя все средства, шаг за шагом шли к намеченной цели; другие — против не совсем еще разгаданной опасности выставляли веру в непоколебимость того, что досталось им от природы. Одни — готовились к штурму, другие — с высоты своего векового прошлого с усмешкой смотрели на безумцев. Никто не уступал...

В момент такой напряженной психологической битвы, как гром среди ясного неба, было появление статьи в центральной абхазской газете: «Несерьезные доводы специалистов». В статье писалось: «Несерьезный подход, отсутствие ответственности, никаких доказательств, очковтирательство — всё это привело к совершенно резонным насмешкам местного населения по адресу таких специалистов, которые могут море зажечь». После такой статьи на строительстве среди технического персонала и руководящих партийцев началась буквальная паника. Многие начали избегать главных руководителей взрыва, срочно созывали партийные собрания и технические совещания, — все с минуты на минуту ждали арестов.

Через три дня какие-то люди приехали из Тифлиса. Срочно были вызваны специалисты из Москвы. То, что творилось на стройке, в первое же воскресенье стало известно по всей округе. После нескольких дней расследования московская комиссия, главный инженер строительства и его помощник выехали в Тифлис. То недоверие к возможности взрыва скалы, которое было отчасти скрытым, теперь высказывалось всеми и везде, даже в партийных, комсомольских и рабочих кругах, а о населении и говорить нечего — там торжествовали.

Молчал и старался быть незамеченным только технический персонал.

Через пять дней вернулась московская комиссия и помощник главного инженера. Главный инженер был задержан в Тифлисе. На строительстве ходили все, как неживые. За два дня до праздника пришло категорическое решение: «Опыт по взрыву производить». По распоряжению властей об этом были оповещены жители, велись работы по устройству народного гулянья, были приглашены оркестры. Но всё это было больше похоже на подготовку к похоронам, чем к торжеству.

Наступил день праздника октябрьской революции. С самого раннего утра всё, что могло двигаться, направилось к площади, где стояла трибуна, увешенная флагами и портретами. Местные партийцы, с лицами как у приговоренных, суетились по организации встречи высоких гостей. К десяти утра должны были прибыть: второй секретарь Закрайкома партии, Абхазское правительство и старейшие от местного населения.

На этот раз вся местная партийная власть, технический персонал и старые кадры подрывников переживали вместе ту степень нервного напряжения, которая граничила с потрясением и, наоборот, настроение масс, особенно местного населения, было явно противоположно. По их лицам, особенно знатных стариков, можно было видеть нетерпение увидеть всенародный позор тех, кто рискнул насмеяться над тем, что вечно.

Ровно без пяти десять к площади подъехали высокие гости. На трибуну первым поднялся секретарь Закрайкома; за ним, по рангу, все остальные. Туда же были приглашены старики и самый древний и почетный из них девяностолетний старик Мисор.

Собрание открыл секретарь местной партийной ячейки и предоставил первое слово председателю ЦИКА Абхазии.

— Товарищи, в день великой октябрьской революции, когда вся страна празднует победу трудящихся, мы здесь, в горах нашей родной Абхазии, собрались, чтобы видеть торжество рабочих и крестьян. Наше строительство вступило в восьмой месяц своего существования. В нашей работе будет много трудностей, но мы их преодолеем. У нас могут быть неудачи, но они нас не остановят, а научат. Мы собрались сюда, чтобы присутствовать при великом опыте взрыва колоссальных масштабов! Предлагаю просить старейшего из нас взять на себя эту высокую миссию. Его старая, опытная рука пусть даст начало великим делам нашей родной Советской Абхазии!

Закончив свою речь, председатель ЦИКа попросил старика Мисору принять на себя эту почетную миссию. Старик долго смотрел на видневшуюся вдали скалу, потом перевел взгляд на маленькую динамку, посмотрел на всех окружающих и у него было такое смеющееся выражение лица, как будто он хотел сказать что он уже давно вышел из детского возраста. Инженер-подрывник, волнуясь, старался объяснить, как надо вращать ручку. Старик как видно понял всю технику этой игрушки и, улыбаясь, дал согласие.

Председатель ЦИКа призвал к вниманию и просил сохранить спокойствие, а со стариком условился, что как он скажет — «три», старик должен прокрутить ручку.

— Раз, два...

Толпа замерла... Одни ждали торжества; другие — позора дерзких.

— Три!

Взрыв... Но такой необычайной силы, что он сотряс всё окружающее. Все стояли в оцепенении. Взгляды всех были устремлены на горы. На месте взрыва стояла огромная туча пыли. И когда ветер унес пыль в ущелье, то на месте, где была скала, виднелось ясное небо.

На трибуне председатель ЦИКа сделал жест, чтобы пожать руку старика, но, старик как бы в оцепенении устремил взгляд туда, в горы, куда он чуть ли не столетие смотрел по утрам и его взгляд всегда упирался в скалу орлов. Теперь он ее не видел. Он сам похоронил то, что считал вечным; может быть он думал, что лучше было бы ему умереть с тем, что было дорого ему с раннего детства, а он сам, своей старой рукой убил то, во что верил и дал жизнь тому, что было противно его сердцу и разуму; он сам убил то, что звалось свободой и открыл ворота тому, что несет его родному народу — рабство. И, как бы поняв свое бессилие перед чем-то новым, непонятным и страшным ему, старик негромко сказал:

— Дорога будет...

Председатель ЦИКа тряс его руку, за ним, все стоявшие на трибуне, подходили к старику и тоже жали руку, как бы благодаря его за то, что он собственной рукой убрал с дороги скалу орлов и самого себя. Старик ничего не говорил. Говорило его лицо, что теперь ему всё безразлично и всё кончено. Понимали это и все старики, стоявшие в толпе; понимали это и представители власти.

Следующим оратором был секретарь Закрайкома партии. На его неприятном, энергичном лице было выражение опытного игрока, который про себя говорил: «Игра сыграна!». Его речь началась с того, что он предложил в честь победы, в честь великого Сталина — ура! Раскаты ура пронеслись по толпе. Радостно кричали те, кто еще несколько минут тому назад готовил себя к расправе. Кричала молодежь, потрясенная виденным и необращавшая уже внимания на своих стариков, которые теперь потеряли свое, веками нажитое право на то, чтобы им подчинялись.

— Товарищи, — говорил секретарь, — в великий день октября поздравляю с победой на трудовом фронте. Враги народа всеми способами подрывали авторитет великого дела. Это они хотели радоваться неуспехам стройки, это они саботировали и подбивали других саботировать великое начинание трудящихся Абхазии. Но, карта их бита! Трудящиеся Абхазии с братской помощью всего Советского Союза, вместе с партией великого Ленина-Сталина добьются досрочного окончания стройки!

Оратор предложил от имени собравшихся послать телеграммы: тов. Сталину, ЦК партии Закавказья и Абхазской республике.

Много еще выступало ораторов. Предпоследним выступил начальник строительства Ор-швили, предложивший от собравшихся послать телеграмму главному инженеру, одному из виновников торжества, который из-за болезни задержался в Тифлисе и не мог присутствовать на празднике. На этот раз особенно бурно аплодировали инженеро-технические работники и рабочие стройки: профессиональная радость за коллегу, за себя — всё было в этих аплодисментах.

Последний оратор объявил о начале торжеств по случаю взрыва «Орлиной скалы».

С трибуны начали сходить представители власти и гости. Старику Мисору помогли сойти вниз. Он стал как будто меньше. Лицо его было безжизненно. Медленной походкой он подошел к группе стариков, те по обычаю поклонились ему. На предложение присутствовать на торжествах, Мисор ответил благодарностью и тихой походкой с помощью двух других стариков, направился в сторону от толпы. За ним ушли все старики. Расстояние между стариками и массами всё увеличивалось. Никто из молодежи не пошел за ними — все остались на торжестве.

На другой день газеты были полны описанием взрыва и торжеств. Речь секретаря была выделена особо, и опытные люди говорили: «Сигнал дан!» И как бы в оправдание этих слов через два дня: — «За оппортунизм и неверие в силы рабочего класса» исключены из партии два человека, из комсомола — три; и дальше: — «В целях нормального и справедливого распределения отменить дополнительную выдачу промтоваров работающим на собственном транспорте и оплату производить согласно тарифному справочнику».

Через пять дней стало известно об аресте восьми человек

видных местных жителей. В тот же день: для создания квалифицированных кадров из местного населения объявлен набор в Фабзауч, с двухгодичным обучением в школах Тифлиса и Донбаса. Количество записавшихся в Фабзауч ежедневно увеличивалось; но до нормы было еще далеко. Транспорт, хотя и медленно, но прибывал... По дороге от моря прошло несколько партий заключенных. Они направлялись в горы, туда где нашли уголь и где уже с начала лета управление лагерей Зак-ГПУ начало работу.

Возвращение главного инженера из Тифлиса и представление его к награде внесло успокоение в ряды инженерно-технического персонала, увеличилось поступление материалов, немного улучшилось питание. Строительство набирало темпы...

Недели через две деловое спокойствие было нарушено слухами о том, что жители собираются устроить сбор-демонстрацию по поводу арестов. В ответ на это были произведены массовые аресты местных жителей. Стало как-то тревожно. Вскоре прибыла полурота внутренних войск Зак-ГПУ и не направилась дальше, как обычно, в горы, где были лагеря, а разместилась на ночлег в доме выселенного князя Ш-зе. А в воскресенье, в день предполагавшегося сбора-демонстрации, командир прибывшей полуроты, молодой и красивый грузин, вывел внутренников на занятия. Промаршировав около получаса, полурота направилась к крутому берегу реки, где устроила стрельбище. Постреляв немного из винтовок и дав несколько очередей из пулемета, полурота вернулась на обед. Четко отбивая ногу, внутренники шли с песнями:

«Мы войско Гепеу
Чутко ухо, зорок глаз
Не уйдут они от нас!...»

Кругом всё было тихо...

Через день, видно «осознав правоту политики Партии и Правительства», население в первый раз полностью предоставило строительству транспорт. Вскоре закончился набор и в Фабзаучи. А из ближайшего города вернулись родственники арестованных, куда они возили передачу. Передачу у них не приняли, свидания не дали...

Ив. Ермолов

О ПОСЛЕДНЕМ ТРУДЕ СТАЛИНА И ЕГО ИСТОЧНИКАХ

Для внутреннего и «наших зарубежных товарищей» употребления в СССР приготовляют «марксистский учебник политической экономии». Подготовка его потребовала мобилизации советских экономистов, большой дискуссии, многих совещаний. Отчет об этой работе, проект учебника, спорные вопросы были представлены на рассмотрение Сталина. Какие вопросы включить в учебник и как их нужно решать — от него одного зависит. Иначе и быть не может. Не только в политике, но и во всех отраслях науки и искусства ему принадлежит последнее и решающее слово. Участники совместной сессии Академии Наук СССР и Академии Медицинских наук знали что нужно говорить диктатору, когда в своем послании к нему именовали его «корифеем науки, создающим труды, равных которым не знает история передовой науки»[1]. Рассмотрев присланные ему материалы, Сталин соблаговолил сделать по поводу них ряд замечаний. Так возник еще один труд, «равного которому не знает история». Под заглавием «Экономические проблемы социализма в СССР» он появился сначала в «Большевике» и «Правде», потом на 93-х небольших страничках брошюрки, напечатанной для начала в количестве 2 миллионов экземпляров.

Со своими замечаниями Сталин гуляет около многих вопросов, в том числе и вопросов международной политики, в частности, предсказывая «неизбежность» войны капиталистических стран Англии, Франции, Германии и Японии... с Америкой! Именно этот пункт привлек наибольшее, пожалуй, исключительное внимание политиков, газет и журналов в зарубежных странах. Этого аляповатого прогноза мы касаться не будем. Нас интересует другое: наш генералиссимус в п е р в ы е выступил в качестве теоретика, решающего сложные экономические проблемы и разъясняющего сложные экономические понятия. Оторопь охватывает, когда видишь до какой степени он в этой области слаб, несведущ и беспомощен.

---

[1] Цитата у Тропинина «Диалектика развития в Мичуринской биологии», стр. 8.

Читая Сталина, всё время вспоминается, как у Пушкина — «на красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод», вступив на лед, «скользит и падает». Имено это происходит со Сталиным на всем протяжении его брошюры, в которой главное внимание отведено тому — как от «уже» построенного в СССР социализма перейти к коммунистическому строю. Вопрос этот до сих пор трактовался некоторыми коммунистическими сановниками с простотой, переходящей всякие границы. Например, Хрущев в 1938 году степень приближения к коммунизму, в сущности, определял числом простреляннных затылков: «наша родина идет без остановки крутым подъемом к коммунизму. Мы, товарищи, уничтожили довольно много врагов, но еще не всех». Гепеу-наркомвнудельское понимание коммунизма, конечно, — более, чем кому-либо другому, — присуще и Сталину. В речи на 18-м съезде компартии он бичевал тех, кто не понимает роли «карательных и разведывательных органов» при построении социализма, кто, недооценивая значения ГПУ-НКВД, занимается «болтовней о том, что разведка при Советском государстве — мелочь и пустяки». Отсутствие правильного взгляда на сеть ГПУ, по его мнению, произошло не без влияния ошибок марксизма, ибо недооценка разведки «возникла на почве недоработанности и недостаточности некоторых общих положений учения марксизма о государственности» («Правда» №11, марта 1939 г.).

В своей новой брошюрке Сталин разведки не касается. Он находится только в области экономики и говорит не об уничтожении людей, а об уничтожении ряда первостепенной важности экономических явлений. Считая, что в коммунистическом строе, при тотальной социализации хозяйства, нужно уничтожить товарное обращение, торговлю, куплю-продажу, деньги, вводя то, что он называет «продуктообменом» — Сталин пытается ответить на вопрос: — «почему же, несмотря на обобществление средств производства, мы не уничтожаем товарного производства, денег, торговли и т. д.?».

Вопрос вдвойне важный. Всё, что здесь, «скользя и падая», установит Сталин, как глава коммунистической церкви, перейдет не только в требник — в учебник политической экономии, но и в ныне вырабатываемую новую программу партии, а из нее по конвееру будет пущено дальше — в программы всех подчиненных Москве зарубежных коммунистических партий. Маленков, разъясняя на 19-м съезде партии «всемирно-историческое значение» сталинской брошюры, указал, что в ней великий вождь «о т к р ы л основной экономический закон современного капитализма», «о т к р ы л основной эко-

номический закон социализма», «открыл экономический закон обязательного соответствия производительных отношений характеру производительных сил». Отсюда нужно заключить, что «некий» Карл Маркс и его друг «некий» Фридрих Энгельс к этим ими открытым законам никакого отношения не имеют. И, действительно, великий вождь, принимая восторженные похвалы, делает вид и всем внушает, что до всех своих открытий он дошел своим умом и как Нос в повести Гоголя ходит без подпора, совершенно самостоятельно. Однако, многочисленные цитатки в сталинском труде высказываний Маркса и Энгельса неопровержимо свидетельствуют, что, кроме недодумок, путаницы, противоречий Сталин ничего своего не вносит и при рассмотрении и критике его брошюры следует через голову Сталина обращаться к другим «головам».

**
*

«Некоторые товарищи, пишет диктатор, утверждают, что партия поступила неправильно, сохранив товарное производство после того, как она взяла власть и национализировала средства производства в нашей стране». Они ссылаются на слова Энгельса в «Антидюринге».

«Раз общество возьмет во владение средства производства, то будет устранено товарное производство, а вместе с тем и господство продуктов над производителями».

Эти товарищи не видят, что, говоря об уничтожении товарного производства, Энгельс имел в виду, как обязательную предпосылку, обобществление всех средств производства, превращение их, по терминологии Сталина, в «общенародную собственность». Но «мы» никак не могли этого сделать. Для этого требовалось экспроприировать не только капиталистов, но и мелких и средних производителей в деревне. А на подобный «бессмысленный и преступный путь не могут пойти марксисты». Это пишет Сталин, Сталин!! Это то лицо «симпатичного Джо», которое так ввело в заблуждение Рузвельта в Тегеране и Ялте. В игре лицом — правильнее сказать — словами, «Джо» великий артист. Ни одна жилка не дрогнет, когда Сталин лжет, а он пропитан ложью и эту ложь положил в основу всей политики созданной им империи. Экспроприация мелких производителей — бессмысленна и преступна, — а не такая ли экспроприация произошла в течение первой пятилетки, когда тамерлановым нашествием на деревню, и ценою гибели миллионов, крестьяне были загнаны в колхозы?

Отрицая факт произведенной экспроприации мелких деревенских производителей, т. е. убеждая, что колхозы появились в порядке непорочного зачатия, Сталин настойчиво проводит мысль, что колхозная собственность, будучи по своему характеру социалистической, всё-же не есть собственность общенародная, каковой являются государственные предприятия. «Колхозно-групповая собственность» — по его убеждению — является препятствием к построению коммунистического хозяйства. Вместо двух производственных секторов, государственного и колхозного, должен появиться, «один всеобъемлющий производственный сектор с правом распоряжения всей потребительской продукцией страны». Тогда «товарное обращение с его «денежным хозяйством» исчезнет, как ненужный элемент народного хозяйства». «Распределение продукции должно совершаться в порядке продуктообмена». Сейчас «излишки колхозного производства поступают на рынок и включаются в систему товарного обращения». «Чтобы поднять колхозную собственность до уровня общенародной, нужно выключить излишки колхозного производства из системы товарного обращения и включить их в систему продуктообмена между государственной промышленностью и колхозами. В этом суть». Колхозная собственность и товарное обращение «начинают тормозить мощное развитие наших производительных сил». Нельзя «перейти от социализма к коммунизму», нельзя «добиться ни изобилья продуктов, могущего покрыть все потребности общества, ни перехода к формуле «каждому по потребностям», оставляя в силе такие экономические факты, как колхозно-групповая собственность, товарное обращение».

В пучек цитированных строк мы собрали самое главное, что по этому вопросу разбросал Сталин по разным местам его брошюрки. Как всегда ничто из указанного им не анализируется, не доказывается, а подносится в виде фраз властных декретов. Однако ясно, что начинается эпоха Kolchosdämmerung! Прославление сей величественной социально-хозяйственной формы сменяется нареканием на нее. У Сталина зуб против колхозов. Но чем провинилась эта «колхозно-групповая собственность»? Земля, на которой работают колхозы, принадлежит не им, а государству. Орудия производства — тракторы, комбайны и всё прочее — принадлежат государству. План сельско-хозяйственных работ колхозов — устанавливается государством. Цена продукции и доля ее, изымаемая у колхозов для городов и продажи заграницу, декретируется государством. Управляющий персонал колхозов назначается,

сменяется, увольняется по распоряжению местных органов государства. Внутриколхозный распорядок, как и на фабрике, устанавливается государством. Вместо 250 тысяч до сих пор существовавших колхозов к 1950 году оказалось 97 тысяч «укрупненных» и всю эту перетряску, ни минуты не считаясь с «колхозно-групповой» собственностью, произвело государство, т. е. Сталин и Ко. Колхозы выносят на рынок свои излишки, но цены-то излишков не вольные, а несколько более заготовительных цен государства, предписываются колхозам местными органами всё того же государства.

Правда, у колхозов есть с трудом переносимый государством апендикс в виде приусадебного хозяйства колхозников. Но, во-первых, опасность от этого болезненного нароста сильно уменьшается, благодаря горячим припаркам в виде тяжелого обложения личного хозяйства крестьян — натурой и деньгами. Во-вторых, в доходе приусадебного хозяйства главное значение принадлежит корове и мелкому скоту. Прокормить их фуражем с платочка приусадебного огорода никак нельзя. Корм скоту идет из колхоза, за трудодни и государство, сосредоточивая скот только в колхозно-совхозном секторе, может в любой момент отпуск этого корма уменьшить, прекратить, что будет иметь результатом сведение на нет значения приусадебного хозяйства. Пропадет у мужика и буренка, и свинушка. Словом, всматриваясь в суть существующих отношений трудно понять, чем «колхозно-групповая собственность» может шокировать «общенародную», ей мешать? Власть столь всемогуща, что казалось-бы Сталин, когда захочет, может выпустить декрет о включении колхозной собственности в «общенародную» и уничтожении товарного обращения. И всё-таки ни сейчас, ни в ближайшее время такого декрета ждать не приходится. Почему же Сталин колеблется?

Отыскивая причины, уясним себе, что значит: «уничтожить товарное производство и обращение». Подобная терминология принята, но она довольно нелепа. Товаром называется продукт рассчитанный не для употребления или потребления внутри создавшей его хозяйственной единицы, а для обмена на продукт другой хозяйственной единицы. Ни товар, ни его обращение не уничтожаются. Речь может идти не об уничтожении обмена, что означало-бы уход от разделения общественного труда к изолированному хозяйству, а о нахождении особых форм обращения продуктов. Таковым и является советская торговля. По словам Маленкова (в докладе на 19-м съезде) в этой торговле «много серьезных недостатков», торгующие организации «слабо изучают спрос населения»,

«плохо распределяют товары», «плохо обслуживают покупателей», «аппарат заготовительных, торговых и сбытовых организаций непомерно раздут». Несмотря на эти недостатки, — «наше товарное производство, — говорит Сталин, — представляет собою не обычное товарное производство, а особого рода». — «Это товарное производство без капиталистов». Оно «имеет дело в основном с товарами объединенных социалистических производителей (государство, колхозы, кооперация)». Это товарное производство высшего благородного типа. В нем не может зародиться, появиться капиталистическая бацилла. Товарное производство и обращение приводят к капитализму лишь «в том случае, если существует частная собственность на средства производства, если рабочая сила выступает на рынке как товар, который можно купить и эксплоатировать». Этого нет в СССР. «У нас частная собственность на средства производства, система наемного труда, система эксплуатации давно уже не существуют».

Если советское товарное производство протекает при условиях, придающих ему исключительно возвышенный вид, если это производство и обращение товаров служат базой развивающегося советского социализма, тогда непонятно — почему Сталин настаивает, что товарное обращение нужно все-таки уничтожить? Недоумение возрастает в высокой степени, когда от того же Сталина мы узнаем, что у товарного производства и обращения есть органически с ними связанный спутник, оказывающий всему социалистическому хозяйству неоценимые, громадные услуги. «Там, где есть товары и товарное производство, не может не быть и з а к о н с т о и м о с т и». Что это за закон, о котором столько чепухи нагородили советские экономисты, в частности, ликвидированный председатель Госплана Вознесенский в его книжке о «Военной экономике СССР»? Что имеет в виду Сталин, ссылаясь на «закон стоимости»? О Сталине говорят, будто, он марксист. По Марксу, закон стоимости выражается в обмене продуктов, пропорционально заложенному в них труду. Это ли имеет ввиду Сталин, ссылаясь на «закон стоимости»? Нет. По Марксу стоимость товара выражается формулой: $T=C+V+m$, где C постоянный капитал, V — переменный капитал, а m — прибавочная стоимость. Это ли имеет ввиду Сталин, ссылаясь на закон стоимости? Нет. Тогда что же? В своем «труде», полемизируя с Ярошенко, Сталин называет его «приготовишкой», понимающим марксизм как ученик приготовительного класса. Наш корифей науки такой-же приготовишка. С девственной наивностью, он выводит закон стоимости от глагола «стоить»,

т. е. выражать, измерять вещи деньгами, иначе говоря, с помощью денег вести счет и учет. Пользуясь некоторыми абсолютно-бессмысленными формулами (нет места на них останавливаться), Сталин словами «закон стоимости» хочет сказать, что деньги — важная вещь — «поэтому, наши предприятия не могут обойтись и не должны обходиться без учета закона стоимости» — сиречь денег. А сделав сие великое открытие, он может уже объяснить, что «это обстоятельство», т. е. присутствие денег — «воспитывает наших хозяйственников в духе рационального ведения производства и дисциплинирует их. Учит наших хозяйственников считать производственные величины, считать их точно и так же точно учитывать реальные вещи в производстве, а не заниматься болтовней об «ориентировочных данных». Учит наших хозяйственников искать, находить и использовать скрытые резервы, таящиеся в недрах производства, а не топтать их ногами. Учит наших хозяйственников систематически улучшать методы производства, снижать себестоимость производства, осуществлять хозяйственный расчет и добиваться рентабельности предприятий. Это хорошая практическая школа, которая ускоряет рост наших хозяйственных кадров и превращение их в настоящих руководителей социалистического производства».

Сталин мог бы к этому прибавить, что без такого инструмента и калькулятора — как деньги — «мы» вообще не были бы в состоянии вести плановое хозяйство и составлять государственный бюджет. Разве можно установить бюджет, пользуясь не деньгами, а, например, числом продуктов в натуральном виде? Тем не менее, после возвышенной оды в честь денег, — Сталин делает резкий поворот и стремится умалить значение денег неоднократно повторяя, что «сфера действия закона стоимости (т. е. денег, **Е. Ю.**) у нас строго ограничена» и «закон стоимости не может при нашем строе играть роль регулятора производства». В подтверждение этой «ограниченности» иные советские экономисты ссылаются на расчеты, которые уже сейчас происходят без денежной наличности, следовательно, как бы при «отмирании» денег. Указывают, что все платежи за товары, услуги и выполненные работы в сумме свыше 100 рублей должны в СССР осуществляться чрез бюро взаимных расчетов при банках. Но, во-первых, нельзя упускать из виду, что к таким зачетам не принимаются ни платежи по капитальному строительству, капитальному ремонту, взносам амортизации, накоплению, ни платежи по заработной плате и бюджету (см. Г. Шварц, «Безналичные взаимные расчеты в СССР», Москва 1946 г., стр. 40). Во-вторых, — сфера без-

денежных расчетов, проводимых с помощью чеков, жиро-билетов, института клиринг-хауз в крупных капиталистических странах колоссально широка. Clearing house в Лондоне сводит взаимные расчеты при обороте в несколько десятков миллиардов фунтов стерлингов, пользуясь, в сравнении с оборотом, ничтожной суммой наличных денег. Только при полнейшем непонимании того, что происходит, можно думать, что деньги при таких операциях «отмирают» и область их применения, якобы, сильно ограничивается. Денег в руках может и не быть, а все-таки весь счет и расчет производится только в деньгах. И никуда они не исчезают. Не исчезают они ни на минуту и из советской хозяйственной жизни. Оставляя в стороне вопрос — плохи или хороши советские деньги, нужно вместе с Е. Варгой (см. его «Капитализм и социализм за 20 лет») сказать, что деньги в СССР служат и средством обращения, и измерителем цен, и платежным средством, и средством накопления, выполняя те же функции, что и деньги в капиталистическом хозяйстве. Почему их нужно уничтожить и уничтожая «товарное обращение», перейти к «продуктообмену»? И что такое этот загадочный «продуктообмен»?

Ленин, убежденный, что без уничтожения товарного обращения и денег «смешно и говорить о социализме» — лишь один раз и только в трех строчках подошел к этому вопросу. В 1903 г. в брошюре «К деревенской бедноте» он упомянул, что в коммунистическом обществе — «крестьянин будет доставлять товариществам рабочих хлеб, мясо, овощи и пр., а рабочие будут б е з д е н е г давать ему машины, удобрения, одежду и всё, что ему нужно» (Соч. Ленина, т. 5, стр. 303).

Намеки, «зачатки», такого рода отношений Сталин видит в ныне имеющем место, правда, небольшом, частичном «отоваривании продукции хлопководческих, льноводческих, свекловичных и других колхозов». Эту систему, входя в коммунизм, нужно проводить «сокращая сферу действия товарного обращения и расширяя сферу действия продуктообмена». Это выгодно колхозам: они будут «получать гораздо больше продукции и по более дешевым ценам, чем при товарном обращении». В тесной связи с этим предложением, стóит напомнить о любопытном происшествии, имевшем место не так давно, когда в Кремле решили в «интересах хлопководства» — «уточнить цены на зерно, продаваемое государством хлопкоробам и поднять цены на хлопок, сдаваемый государству». Разрешая вопрос, «хозяйственники и плановики» внесли, — пишет Сталин, — и з у м и в ш е е членов ЦК предложение: цена тонны зерна, принятая такой-же как цена печеного хлеба, должна быть

равна цене тонны хлопка... «На замечания членов ЦК, что цена на тонну печеного хлеба должна быть выше цены на тонну зерна ввиду добавочных расходов на помол и выпечку, что хлопок вообще стоит намного дороже чем зерно, о чем свидетельствуют также мировые цены на хлопок и зерно, авторы предложения не могли сказать ничего вразумительного». Сталин на этом примере показывает — как «наши хозяйственники и плановики плохо знакомы с действиями закона стоимости, не изучают их и не умеют учитывать их в своих расчетах». Дело не в этом. Государство, получая от крестьян зерно по исключительно низкой цене, продает печеный хлеб всему населению по цене крайне высокой. Считая зерно, продаваемое хлопкоробам, именно по этой крайне высокой цене печеного хлеба, хозяйственники и плановики преследовали весьма ясную цель — взять у хлопкоробов побольше и возможно меньше им дать. За товар, получаемый в порядке его обязательной сдачи, заплатить подешевле, а за товар, покупаемый хлопкоробами, взять подороже. Изумляться — как это лживо делает Сталин, — нечему. Это — эксплуататорская генеральная линия всей политики советского правительства в его отношении ко всем отраслям сельского хозяйства. Совершенно непонятно — почему изменение такого положения может иметь место лишь при «уничтожении товарного обращения и денег»? Почему более выгодное хлопкоробам меновое отношение между тем, что они дают и получают, не установить с помощью, например, «справедливых цен»? От Сталина объяснений ждать не приходится. Он идет с завязанными глазами, ему обязательно нужен «продуктообмен» без денег, если действуют деньги («закон стоимости»), значит, нет коммунизма!

Говоря об «отоваривании», о продуктообмене не следует думать, что это какое-то новое мероприятие. В очень широких размерах оно практиковалось в течение первой пятилетки, оставив в деревне ультра-мерзейшее воспоминание. У загоняемых в колхозы крестьян отбиралась вся их продукция и в порядке «продуктообмена» ее «отоваривали» изделиями, вроде «колпаков для поваров, резиновых клизм, платочков для кармана костюмов, теннисных перчаток, одеколона, игральных карт» («Экономическая Жизнь» № 18/2 1931 г., № 15/5 1931 г., «Правда» № 19/2 1931 г). Это было время вообще продуктообмена. Он практиковался не только в деревне, он действовал и в городе. Убегая от разлагавшегося червонца, государственные предприятия, ища нужных им товаров, меняли железо на платья, мебель на топливо, мануфактуру на кожу, химикалии на сахар. Эти спутники первой пятилетки —

сжимание товарного обращения, продуктообмен, «отмирание денег», карточная система при выплате заработка натурой, — казались кое-кому уже проступающими наружу верными признаками рождающегося коммунистического общества. И «Экономическая Жизнь» в № от 27 января 1931 года в огромной, на 13 столбцах, статье (я сохранил ее для памяти) под заголовком «От товарного обращения к продуктообмену» торжественно заявляла: — «Теперь пролетариат в состоянии решить и уже решает задачу организации продуктообмена».

«Экономическая Жизнь» не долго радовалась. Десять лет перед этим Ленину пришлось отказаться от уничтожения товарного обращения и денег, — пунктов, внесенных им в написанную им в 1919 году программу партии. Он стал называть это «глупостью и самоубийством», «партии, пробующие подобную политику, терпят неминуемый крах». Реабилитируя деньги, Ленин в 1921 году считал возстановление и укрепление рубля самой важной вещью. «Что действительно важно, говорил он на IV конгрессе Коминтерна, это вопрос о стабилизации рубля. Над этим вопросом работают наши лучшие силы, этой задаче мы приписываем решающее значение. Удастся нам на продолжительный срок, а впоследствии навсегда стабилизировать рубль — значит мы выиграли» (соч. Ленина, т. 27, стр. 346).

Подобно Ленину пришлось и Сталину бежать от продуктообмена и прочего. Осенью 1933 года (19 октября) Совет Народных Комиссаров впопыхах опубликовал постановление, требуя от руководителей государственных предприятий «немедленно ликвидировать факты прямого товарообмена». За подобную политику Кремль грозил привлекать хозяйственников к уголовной ответственности, как за «преступление, граничащее со взяточничеством». Сталин позднее пояснил, что денежная система «нам» очень нужна для построения социализма, лишь «левые уроды» могут болтать о продуктообмене и вместо развития торговли думать об уничтожении товарного обращения и денег. «Левых уродов» он приказал «погромить, а их мелкобуржуазную болтовню пустить по ветру» (Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 10-ое стр. 576). Этим погромом подручные Сталина в течение нескольких лет и занимались. Продуктообмен и уничтожение денег — Народный Комиссар, ныне министр финансов, Зверев называл — «вредительской антисоветской идеологией, провокационной и лженаучной теорийкой, распространившейся, вследствие пренебрежительного отношения к вопросам теории финансов» («Правда», № 22, марта 1938 года). Председатель Государственного Банка, ныне

маршал Булганин, выражался еще сильнее. На 18-м съезде партии, прославляя Сталина — «гениального политического деятеля современной эпохи», — Булганин, в присутствии того же Сталина, в угоду ему, следуя за ним, обливал грязью «продуктообмен».

«Вредители, троцкисты, бухаринцы, подлые слуги капитализма стремились оклеветать нашу советскую денежную систему. Они протаскивали «теорию» ликвидации денег. Враги народа стремились сорвать развертывание советской торговли и предлагали прямой продуктообмен. Партия разгромила и уничтожила этих подлых врагов народа — шпионов, вредителей, диверсантов, эту агентуру иностранных разведок» («Правда», № 18, марта 1939 г.).

Изданный Госфиниздатом сборник «Финансы и кредит СССР» — счел нужным особо подчеркнуть, что разгром этих людей и «продуктообмена» учинила «под руководством великого Сталина, вооруженная его указаниями, славная советская разведка, руководимая сталинским наркомом, тов. Ежовым» (стр. 204).

Так, оплеванная, загаженная, забрызганная кровью (о том похлопотал Ежов, сумасшедший сталинский нарком, Мавр, сделавший порученное ему дело и за сим ликвидированный) — была с презрением брошена на пол теория о введении продуктообмена, уничтожении товарного обращения, денег. Но ведь это же доктрина Маркса, Энгельса, Ленина! В нормально мыслящем мозгу не укладывается — как это в СССР, где государственной религией объявлен марксизм-ленинизм и за одно замечание, что Марксу не следовало бы называть Ньютона «ученым ослом» сажают в тюрьму[1], — можно с таким башибузукским, чекистским разгулом порочить взгляды Маркса и Энгельса, называть их выдумкой «левых уродов», «провокационной», «антинародной», «вредительской теорийкой», обслуживающей «агентуру разведок» капиталистических стран? И заметим: при погроме «теорийки» речь шла совсем не о том, чтобы только ее отстранить, считая, допустим, несвоевременной, неподходящей к моменту, а забить в нее кол, опакостить, опозорить.

Что же мы видим теперь? В 1952 году в «Экономических проблемах социализма в СССР» Сталин подбирает с пола затоптанную «теорийку», обтирает полою своего мундира и

---

[2] См. «Закон Ньютона и НКВД» — «Колокол» 1952 г., № 4. Гамбург.

подымает вверх как факел, освещающий путь от «уже» построенного социализма к коммунизму. В СССР всё возможно. Но когда вдумаешься в эту историю — видишь, что иной она и не могла быть. Сталину мало быть диктатором, он хочет быть теоретиком, пророком, «светочем», создающим труды, которым «нет равных в истории». Но тринадцать томов его сочинений представляют или пересказ Ленина, или речи, составленные на основании всего того, что ему доносят партийные канцелярии, госпланы и что потом он подносит, как свою мысль. Быть теоретиком он абсолютно неспособен. В его новом «труде» — «Экономических проблемах», почти нет страницы, где не было бы ляпсуса, где не торчало-бы незнание, некультурность и недомыслие. Делая попытку разъяснить Ноткину понятие «средств производства», он договаривается до величайших абсурдов: «никакое сырье не может быть произведено без орудий производства». Следовательно — шерсть не может появиться на овце без присутствия ножниц, ее стригущего орудия производства; лес не может вырасти без рубящего его топора; хлопковая коробочка не может развиться без хлопкоубирающих машин. У Сталина есть величайший, жестоко оберегаемый им секрет. Этот человек, которого весь мир боится, который, при гигантской воле к власти беспощадно распоряжается судьбами целых стран, оставаясь с глазу на глаз с собою — робок, как заяц, беспокойно неуверен, чувствует себя бедным, неспособным усвоить абстрактную мысль, хорошо понять теорию — будь то социология, политическая экономия, философия. И сгорая от самолюбия и тщеславия, он подозрительно осматривается вокруг, боясь, что кто-нибудь узнает его секрет и, подобно мальчику в сказке Андерсена крикнет — а король то голый! По этой причине — он особенно ненавидел Троцкого (тот измерял его превосходно) и ликвидирует всех, кто не объявляет его корифеем науки. Отдавая себе ясный отчет, что собственными силами он никакой идеологии и теории, а тем более большой, не изобретет, Сталин принужден прислониться к чужой голове. И, через Ленина, он прислоняется к Марксу и Энгельсу — больше не к кому! Это не мешает и не мешало ему с помощью Зверевых, Булганиных и пр. оплевывать взгляды Маркса и Энгельса, как не помешало бы ему — появись Маркс и Энгельс в СССР — их угробить в подвалах Лубянки. Рядом с Марксом и Энгельсом — Сталин, как теоретик, только неспособный «приготовишка». Поэтому, разбирая теорию о продуктообмене, «законе стоимости», уничтожении товарного обращения, торговли, денег, т. е. обо всем том, что Сталин впихнул в свой «труд», в качестве непремен-

ных условий осуществляющегося коммунизма — следует иметь дело не с ним, а с теми, у которых он неловко и искаженно тянет идеи.

***

«Созданный пролетариатом общественный строй, писал Плеханов в «Наших Разногласиях» (в 1883 г.) — не может иметь ничего (!!) общего с обменом. Кто говорит обмен — говорит товар, кто оставляет товар — тот предполагает все свойственные товару противоречия. Социалистический обмен есть обмен без денег, непосредственный обмен продуктов один на другой, сообразно количеству труда, затраченного на их производство».

Не обращая внимания на устаревшую игру с понятием «товара» (подражание Марксу) — мы из определения Плеханова, как бы оно ни было скупо, все-таки узнаем важную сторону «продуктообмена», неотмеченную в определении Ленина. Продуктообмен, происходящий без участия денег, должен базироваться лишь на учете числа часов, минут, секунд, потраченных на производство того или иного продукта. Плеханов воспринял это от Маркса и Энгельса. Последний в «Антидюринге» (1877-78 гг.), чуточку менее скупо, чем Плеханов, доказывал, что при обмене продуктов один на другой «б е з с м ы с л е н н о» прибегать к услугам денег, окольным, «косвенным», путем определять ценность, меновые отношения продуктов. Вместо определения деньгами ценности, например, сукна, нужно «прямо констатировать тот простой факт, что сто квадратных метров сукна потребовали для своего производства, допустим, тысячу часов работы. Величина ценности вещи определяется только количеством нужного для ее производства рабочего времени». Будущее коммунистическое общество «должно знать сколько труда требует каждый предмет потребления для своего производства и, сообразуясь с этим, выработать нужный обществу план. Полезность различных предметов потребления, п р и р а в н е н н ы х друг к другу, согласно необходимым для их воспроизведения количествам труда, определит окончательно этот план. Люди сделают тогда всё очень просто (?!), не прибегая к услугам ценности» (денег). В примечании Энгельс добавляет, что об этом он писал еще в 1844 году в «Deutsch-französische Jahrbücher», редактировавшихся Марксом и Руге, но полное обоснование этого положения стало возможным лишь после появления «Капитала» Маркса, т. е. в 1869 году.

Из этого почти столетней давности источника и черпает Сталин то, что его подданные обязаны считать «открытием» и «личным вкладом т. Сталина» в теорию коммунизма. «В коммунистическом обществе, — авторитетно сообщает он, — количество труда, затраченного на производство продуктов, будет измеряться не окольным путем, не через посредство стоимости и ее форм, как это бывает при товарном производстве, а прямо и непосредственно — количеством времени, количеством часов, израсходованных на производство продуктов». «С исчезновением товарного производства исчезнут и стоимость с ее формами и закон стоимости». Последней фразой корифей науки еще раз разоблачает себя, еще раз «скользит и падает». Приходится снова подчеркивать, что он не знает, не понимает а з о в марксизма. Закон стоимости у него нечто вроде — клади деньги на стол. Раз в коммунистическом обществе исчезнут деньги, — значит, исчезнет и «закон стоимости». Сталин упражняется в тавтологии: с исчезновением денег, деньги исчезнут. А по Марксу, Энгельсу закон стоимости, выражающийся ни в чем ином, а именно в обмене друг на друга продуктов с равным количеством затраченного на них труда, не исчезнет, а наоборот, незатемняемый исчезнувшими деньгами, будет господствовать при планировании коммунистической экономии. Можно ли считать доказуемым такое утверждение, — о том будем говорить, а пока, добавим, как представлял себе Маркс оплату труда в коммунистическом обществе. В «Критике Готской Программы» (1875 г., цитирую по «Программным документам Коммунизма», Партиздат, стр. 69) он писал:

«Каждый отдельный производитель будет получать обратно от общества ровно столько, сколько сам дает ему. Индивидуальное рабочее время каждого отдельного производителя есть доставленная им часть общественного рабочего дня, его доля в нем. Он получает от общества квитанцию в том, что им доставлено такое-то количество труда (за вычетом части его труда в пользу общественных фондов) и по этой квитанции он получает из общественных запасов средства потребления. Та масса труда, которую он дал обществу в одной форме возвращается ему в другой. Здесь господствует тот-же принцип, который регулирует товарообмен, поскольку последний есть обмен равных ценностей».

Такую оплату труда без денег, при исчезновении денег, Маркс относит к «первой фазе» коммунистического общества. В это время может господствовать только правило: каждому по труду его. Но Маркс верил, что в будущем исчезнет «порабо-

щающее человека подчинение разделению труда», «противоположение умственного и физического труда», «труд перестанет быть только средством к жизни и сделается жизненной потребностью», вырастут «силы производства и все источники коллективного труда польются полным потоком» — тогда общество сможет написать на своем знамени — «каждому по его потребностям», т. е. каждому полное удовлетворение его нужд вне зависимости от того, что человек дает обществу. Впервые и очень подробное описание «каждому по потребностям» представлено Томасом Мором в 1516 г. в знаменитой книге «Остров Утопии» — счастливой страны, не знающей ни частной собственности, ни денег и ведущей при 6 часовом рабочем дне «плановое» хозяйство. Не располагаю местом, чтобы говорить об этом принципе, но должен заметить, что захватываемый демагогами он легко превращается, по французскому выражению, в poudres de perlimpinpin. В приведенных высказываниях Маркса и Энгельса об основных чертах коммунистического или социалистического общества (до 1917 г. это синонимы) находится главное, что они написали по этому вопросу. Сказано — как видим — очень мало. Всё можно уложить на две странички ученической тетради. Во втором томе «Капитала» (глава 12, раздел II) Маркс мельком бросает, что «надо потом исследовать» как будет функционировать хозяйство при коллективной собственности и при отсутствии товарного обращения и денег. Ни он, и насколько нам известно, ни один из его эпигонов ортодоксального толка — никогда такого исследования не сделали. Весь этот вопрос остался темным.

Основы коммунистического хозяйства в изображении Маркса и Энгельса как-бы воплощение принципов равенства и справедливости. В отличие от капиталистического строя, где у рабочего эксплуататоры отымают созданную им «прибавочную стоимость», при коммунизме работник получает ровно столько, сколько он сам доставил обществу. Происходит «обмен равных ценностей». Нет неоплаченного труда. Параллельно этому, продукты обмениваются, повинуясь тому же принципу равенства со строгим учетом количества времени, потраченного на их производство. Эти черты, фиксируемые на основании теории трудовой стоимости, всегда создавали к ней в социалистических кругах особую мистическую почтительность, хотя при воплощении формального равенства указанная система его фактически не дает. Труд должен оплачиваться «по способностям» — более сильный, более ловкий или обладающий иными природными свойствами работник получит гораздо больше, чем другие. Что же касается убежде-

ния, что в коммунистическом обществе «продуктообмен», не затемняясь деньгами, будет совершаться только сообразно с временем, затрачиваемым на производство обмениваемых продуктов, то оно покоится на уверенности, что этот «регулирующий естественный закон», находя свое применение в капиталистическом обществе, дает себя знать, по выражению Маркса, «на манер закона тяжести». Маркс глубоко заблуждался. Такого «закона» в капиталистическом хозяйстве нет. В отдаленное время, когда продукты были почти целиком результатом личного труда и производители — крестьяне, ремесленники — затрачивали на них только свою собственную силу, «продуктообмен» — можно допустить, действительно, производился при учете пропорций трудовых затрат. Это происходило в эпоху простого товарного производства, следовательно, до времени, когда последнее подверглось громадным изменениям от возникновения капиталистического хозяйства. Уточняя время, можно сказать, «закон стоимости Маркса имел экономическую силу для периода с начала обмена, превратившего продукты в товары, и вплоть до XV столетия». Кому принадлежит это важное указание, стирающее универсальность «закона» Маркса? Horribile dictu! Это написано Энгельсом, незадолго до его смерти, после того, как (в 1894 г.) с великим мучением из тетрадок с записями Маркса им собран III-й том «Капитала».

Неужели при организации продуктообмена в коммунистическом обществе можно руководствоваться законом, существовавшим «до XV столетия»? Но продукт перестал быть результатом личного, индивидуального труда. В современном обществе — так и в будущем — в обстановке громадного разделения общественного труда, продукт на различных стадиях производства подвергается обработке множеством лиц разных профессий. Никто не может сказать — этот продукт дело только моих рук. Всё усложнилось, всё изменилось. В центре экономической жизни теперь находятся деньги, сложнейший, веками слагавшийся, крайне чувствительный «инструмент», способный «болеть» и мстить людям за неумелое и особенно за расточительное с ним обращение. Обмен с помощью денег происходит сообразно с ценою продуктов, а не с количеством труда. Меновые отношения определяются не одними затратами труда, а, помимо того, другими факторами. Цена оторвана от трудовой стоимости, с нею не совпадает. Лапидарную формулу, объясняющую это несовпадение, — можно взять из нашей «Kinderbuch» — «Эрфуртской Программы» Каутского, где говорится,

что «цена (отрываясь от трудовых затрат) определяется не только условиями производства, но и условиями рынка, прежде всего спросом и предложением». Если бы, не довольствуясь этим объяснением, мы захотели бы его углубить, следовало бы обратиться к дополнительным разъяснениям, черпая их из теории «предельной полезности», течения экономической мысли, начатого еще Госсеном (в 1854 г.), с разными вариациями потом продолженного и развитого Джевонсом, Менгером, Визером, Бём-Баверком, Вальрасом и защищаемого ныне «маржиналистами» — как называют себя их французские последователи. При сочетании с теорией трудовой стоимости у нас — в России — этих взглядов придерживался Туган-Барановский.

Заслуга указанной теории, на наш взгляд, в том, что она «гуманизирует» — механическую теорию трудовой стоимости Маркса с ее продуктообменом, смотрящим на «часы». Вместо «хронометра», якобы высшей определяющей инстанции — привлечено нечто более существенное и сложное — психика человека. Человек — существо «о ц е н и в а ю щ е е». Вся наша жизнь протекает в непрестанных оценках житейского, морального, хозяйственного, эстетического характера. Бём-Баверк прав, говоря, что в этой акции люди «виртуозы». Мы всё время с разной силою напряженности производим оценки: хорошо — худо, нравится — не нравится, нужно — ненужно, полезно — бесполезно. В этом же ряду находится и оценка: дорого и дешево. Общественная жизнь не механична, а телеологична. В ней установка целей с разной ценностью. Ц е н н о с т ь — абстрактное выражение о ц е н к и, а в экономической области конкретным выражением оценки — ц е н а. Берем бросающийся в глаза пример — два боченка вина могут быть получены при одинаковой затрате часов труда, но в одном боченке вино из особого сорта винограда «более приятного вкуса» (оценка), потребителям оно нравится больше, чем вино из другого боченка. Отсюда — ценность этого боченка выше и выше его цена. А по Марксу ценность вина в обоих боченках одинаковая, «должна» считаться одинаковой, тем более в будущем коммунистическом обществе, где денег уже нет и о ценности должно судить п р я м о по «хронометру» — часам работы, затраченной на приготовление вина. «Величина ценности какой-либо полезной вещи — утверждает Маркс — определяется только количеством общественно-необходимого для ее производства рабочего времени». Во всех русских большевистских изданиях термин Маркса Werth переводится не словом ценность, а стоимость, что еще более подчеркивает выпадение такого важного понятия как ценность и

оценка. С трудом можно представить себе человека, который сомневался бы в значении труда в общественной жизни, но признание этого никем неоспариваемого значения не дает еще права отождествлять ценность и трудовые затраты. А это делает Маркс, подменяя ценность затратами труда. Получается кричащее расхождение, во-первых, с укорененным в нас понятием, что ценностью обладают и вещи (естественные, природные богатства), в которые труд не вложен, во-вторых, резкое столкновение с бесспорным фактом, что человек стремится получить наибольшую ценность при наименьших затратах, при экономии труда. Высокая производительность труда потому-то и признается «ценной», что за короткое время дает максимальный результат. «К ценности мы стремимся, а труда по возможности избегаем» (Туган-Барановский). Создатели эмпириокритической философии — Авенариус и Мах — превосходно показали, что такое-же биологическое «бережение» силы, стремление выполнить большие, сложные задачи с наименьшей затратой сил составляет характерную черту нашего мышления и познания. Наука есть экономически упорядоченный опыт, — в ней принцип экономии сил ярко проглядывает в желании охватить богатую жизнь вселенной монистическими концепциями.

Маркс писал — мы это уже цитировали, — что в коммунистическом обществе работники будут получать сертификаты, квитанции, с указанием часов произведенной ими работы, дающие право получать всё нужное из «общественных запасов». В «Женщина и социализм» Бебель заметил, что сертификатом может быть простой «клочек бумаги», какая-нибудь «жестянка». Нет, это уже слишком nonchalant! Организацию квитанций нужно представлять себе строгой и так как будет не «торговля», а «распределение» — должно появиться что-то похожее на купоны при карточной системе. Квитанции несколько иного вида, но также строго и точно оформленные должны существовать и в областях вне оплаты труда. Коммунистическое общество обязано вести плановое хозяйство, а без счетоводства, учета движения материальных средств, его вести нельзя. Даже Робинзон, попав после кораблекрушения на необитаемый остров, немедленно завел гросбух и, к великому удовольствию Маркса, стал заносить в нее сколько часов он тратит на изготовление разных предметов. Все «продуктообмены», все движения предметов, ныне называемых товарами (Бог знает, как после «уничтожения товарного производства» они должны именоваться) обязаны отражаться, выражаться, подсчитываться в «квитках», на которых

вместо нынешних рублей и копеек — должны фигурировать часы, минуты и секунды. — Без учета и отчета — темь, хаос.

Но вот вопрос: эти «квитки», гуляющие по всему полю экономической жизни, от предприятия к предприятию, а их, несмотря на концентрацию производства, будет много, попадающие в грос-бух, учитываемые в общегосударственном и отраслевом плане — не являются ли подобием уничтоженных денег? Подобием, конечно, оскопленным, но постепенно восстанавливающим своё денежное естество после всяких перипетий, которые ясно покажут, что телеология общественной жизни, скала «ценности» — стрелками часов — будь то тончайший хронометр — не определяются. Постановлением «Президиума Ц. К.» можно выгнать денежную природу в дверь, она потихоньку влетит в окно. Характерна в этом отношении позиция Каутского. В начале 90-х годов в своем обосновании «Эрфуртской Программы» он писал, что тот, кто «серьезно» хочет уничтожить капитализм — «должен стремиться к уничтожению товарного производства». Однако, вслед за этой сакраментальной фразой он не поставил уничтожения денег. Кое-какие сомнения на этот счет привели его к дипломатическому о денежной системе умолчанию: хронометр может ли заменить деньги? А десять лет спустя Каутский уже без колебаний заявил, что калькулятора, регулятора «лучшего чем деньги люди до сих пор не придумали».

Уничтожение «товарного производства» и «денежного хозяйства» с переходом к оценке всего «часами» — приводит несомненно к тупику, когда речь заходит об оценке организованного умственного труда, а растущая масса его, обгоняя рост физического труда, составляет характерную черту, неоценимое богатство современного эволюционирующего общества. В национальном доходе, исчисленном в деньгах, в совокупности доходов всех групп составляющих общество, ценность умственного труда подчеркивается растущей долей заработков, вознаграждений, жалования, оплат, премий всех категорий, всех представителей этого умственного труда. Творчество, изобретательство, талант, вдохновение никакими деньгами, конечно, не измеряются, но при денежном хозяйстве и денежной оценке нет и абсурдов, неизбежных при оценке умственного труда в часах. Тогда «все кошки серы». Но час работы инженера, составляющего сложный проект, химика, производящего тонкие анализы в лаборатории, изобретателя, работающего над новой машиной, ученого, занятого разработ-

кой вопросов, связанных с атомной энергией — равен ли по ценности часу работы лиц — занятых физическим трудом? От этой проблемы нельзя уйти словами Маркса, что произойдет «исчезновение противоположения физического и умственного труда» и что «сложный труд есть т о л ь к о помноженный (на какое число? **Е. Ю.**) простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большому количеству простого труда».

Видели-ли Маркс и Энгельс, что в построенном ими здании кое-что трещит? Маркс не случайно не окончил III-го тома «Капитала». Причиной не одна болезнь. Энгельс, выпустив не без трудностей II-й том «Капитала» в 1885 году, писал, что «пройдут месяцы» до выпуска III-го тома. Прошли не месяцы, а 9 лет и 8 месяцев. И здесь причиной такого замедления выпуска не только то, что Энгельс не мог уже много работать, стал плохо видеть и с большим трудом разбирался в неразборчивых и неоконченных рукописях Маркса. Дело в том, что теория трудовой стоимости переставала быть бесспорной, непререкаемой истиной, какой она казалась Марксу, а за ним Энгельсу к моменту выпуска I-го тома «Капитала». Защищая ее, приходилось уже прибегать к искусственным построениям вроде тех, что делал Маркс в III томе «Капитала», желая как-нибудь объяснить равные прибыли предприятий при неравных количествах примененного в них живого труда. Вернера Зомбарта никак нельзя обвинить в незнании экономической доктрины марксизма. «Он дал — пишет Энгельс, — весьма хорошее изложение контуров системы Маркса». А Зомбарт, после тщательного анализа этой системы, пришел к убеждению, что «закон трудовой стоимости» не есть эмпирика, не есть факт, а «мысленное построение», стремящееся лишь указать, «что общественная производительная сила труда есть основа хозяйственного бытия». Теория трудовой стоимости таким выводом обламывалась чрезвычайно, почти сводилась к банальному утверждению. И всё же Энгельс, уже кое в чем потерявший уверенность, принужден был незадолго до смерти признать, что «н е т о с н о в а н и й у т в е р ж д а т ь, что зомбартовское понимание закона стоимости н е в е р н о». Конрад Шмидт был еще бóльшим, чем Зомбарт знатоком марксизма и марксизм был для него не просто интересным объектом изучения, а дорогой Шмидту партийной идеологией. Его анализ III тома «Капитала» (в «Sozialpolitisches Zentralblatt», 1895 г.), проникнутый явным желанием как-нибудь защитить позицию

Маркса, Энгельс назвал превосходным. И тот же Шмидт в частном письме к Энгельсу немного позднее заявил, что он все-таки пришел к окончательному выводу, что закон трудовой стоимости — «фикция». Энгельс протестовал, возражал, но по тому как он отнесся к выводу Зомбарта видно, что в 1895 году — отношение его к данному вопросу уже далеко не то, что в 1877 году (в «Антидюринге»). Тогда, веря без всяких колебаний в силу закона стоимости, он полагал, что можно «очень просто» уничтожить товарное производство, создав на базе коллективной собственности планируемое хозяйство при помощи «часов», а не денег. «Люди сделают тогда всё очень просто; не прибегая к услугам денег». Падение престижа теории трудовой стоимости не означает ли крушения всего здания социализма? Ведь это его «база». Ничего подобного! Эта теоретическая база связана с ним исторически, а не органически. Теорию трудовой стоимости нужно изменить дополнениями. От замены шатающегося фундамента новым, более крепким, здание социализма не упадет, а перестраиваясь, укрепится.

***

Господин Бержере у Анатоля Франса говорил, что не нужно «пророчествовать». «Люди в древности не даром считали прозрение будущего гибельным даром. Если бы мы могли знать, что оно несет, нам пришлось бы пасть, сраженными ужасом и страданиями». От стремления заглядывать в будущее человек никогда не откажется. Всё же не следует подражать Вершинину в «Трех Сестрах» Чехова, убеждавшему, что нужно «предчувствовать» ту жизнь, которая придет через «двести-триста лет» и «ждать, мечтать и готовиться к ней». О том, что будет через 200-300 лет у нас не может быть ни малейшего представления. Иное дело гораздо меньший отрезок времени, например, 50 ближайших лет. С уверенностью, разделяемой великим множеством людей, а воля людей делает историю, можно предвидеть, что за эти годы во всем мире произойдут громадные социальные изменения, кратко говоря — произойдет в разных формах уход о т и и з капитализма. Но каким бы сильным биноклем ни пользоваться, мы в фарватере развертывающегося исторического течения нигде не увидим ни уничтожения товарного производства, ни пресловутого сталинского продуктообмена, ни уничтожения денег, купли-продажи, торговли. Строительство нового общественного строя, намного

лучшего, чем ныне существующий, — такого уничтожения совсем не требует. Не исключено, что Сталин или его эпигоны могут попробовать сей эксперимент, одновременно уничтожая «колхозно-групповую собственность», приусадебное хозяйство, превращая всех крестьян в рабочих «единого всеобъемлющего производственного сектора». Однако, всё нас убеждает в том, что проба сия должна выродиться и от нее различными путями придется уходить, как это уже было сделано при Ленине в 1921 году и второй раз — в течение первой пятилетки.

Е. Юрьевский

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ XIX СЪЕЗДА

Материалы происходившего 5-14 октября 1952 года в Москве 19 съезда компартии Советского Союза настолько значительны, что дать их полный анализ в одной журнальной статье не представляется возможным. Съезду предшествовало опубликование большой теоретической работы Сталина; съезд подводил итоги деятельности ВКП(б) за 13 лет, утвердил новый устав партии, проект новой пятилетки, заслушал отчетный доклад ЦК, на прочтение которого Маленкову потребовалось пять с половиной часов. Содоклады Берии, Булганина, Микояна, Поскребышева, Ильичева, а также выступления некоторых других делегатов содержали столько материала для изучения нынешнего положения в СССР, что для анализа каждого из них надо было бы написать специальную работу. Поэтому здесь мы попробуем рассмотреть только некоторые итоги съезда, остановиться на тех вопросах, которые вызвали наибольший интерес заграницей и по которым возникла наиболее оживленная дискуссия между обозревателями жизни Советского Союза и советской политики.

Прежде всего надо сказать, что съезд подтвердил прогноз, высказанный автором в статье «Персональный состав Верховного Совета СССР» («Нов. Журнал», том XXX): ожидавшийся так давно 19 съезд ВКП(б) оказался всего лишь, как бы внеочередной сессией Верховного Совета, созванной для обсуждения некоторых партийных вопросов. Его едва ли можно назвать съездом политической партии, в точном разумении этого термина. Никаких дебатов, никаких принципиальных споров, никакого подлинного обсуждения стоявших на повестке дня съезда вопросов не было: «вожди» зачитывали свои директивные доклады, а остальные ораторы лишь иллюстрировали эти доклады примерами из своих республик, краев и областей, останавливаясь главным образом на различных хозяйственных неполадках. Партия настолько срослась с правительственным аппаратом, что провести грань между этими двумя органами диктатуры становится с каждым годом всё труднее.

К о г о п р е д с т а в л я л с ъ е з д? Между 1939 и 1952 г. численный состав партии вырос с 2.477.666 чел. до 6.882.145

(членов и кандидатов вместе), т. е. увеличился почти на 4,5 миллиона человек. За этот же период, особенно за годы войны, партия потеряла большое число своих старых членов. Точных цифр этих потерь на съезде не приводилось, но едва ли будет большой ошибкой сказать, что около трех четвертей нынешнего состава КПСС вступило в партию после 1939 года. Фактически мы имеем перед собой почти совершенно новую партию, выросшую в годы войны и после ее окончания.

Естественно было бы ожидать, что этот новый облик партии будет представлен на съезде. Но этого не случилось. Партийный стаж делегатов съезда, по данным мандатной комиссии, распределялся так: до 1917 г. — 1,2 проц.; с 1917 по 1920 г. — 6,2 проц.; с 1921 по 1930 г. — 36,4 проц.; с 1931 по 1940 г. — 36,0 проц.; с 1941 по 1945 г. — 16,1 проц.; с 1946 и позже — 4,1 процента. Выводы очевидны: категория «старых большевиков» исчезла почти совершенно, большевики времен революции и гражданской войны представлены шестью процентами состава съезда; представительство от основной массы коммунистов, вступивших в партию за последнее десятилетие, ограничено 20 процентами делегатов. Свыше 72 процентов делегатов принадлежат к партийной бюрократии, выдвинувшейся в период сталинских чисток двадцатых и тридцатых годов. В этом отношении состав делегатов съезда совершенно аналогичен составу депутатов Верховного Совета СССР. Но это показывает также, что диктатор и его соратники не доверяют основной массе той партии, от имени которой они правят.

По возрасту делегаты съезда распределялись так: до 35 лет — 5,9 проц.; от 36 до 40 лет — 17,7 проц.; от 41 до 50 лет — 61 проц.; свыше 50 лет — 15,3 процента. Средний возраст делегата оказывается в пределах 40-50 лет. По образованию: из 1.192 делегатов съезда 709 имели высшее образование, 84 — незаконченное высшее, 223 — среднее, 176 — незаконченное среднее. Видимо в большинстве случаев под термином «высшее образование» подразумевались различные высшие партийные школы, военные и военно-политические академии и заочные технические институты. Сопоставляя все эти данные, мы видим, что на съезде была представлена не «ленинская гвардия» фанатиков революции, не «передовой отряд рабочего класса», и даже не партия «ветеранов войны», а лишь тот слой партийных аппаратчиков-бюрократов, который захватил в свои руки власть в партии и стране еще лет пятнадцать тому назад и классовую принадлежность которого можно условно наименовать — «партийная интеллигенция».

Эти данные заставляют сделать вывод, что 19 съезд был, по своему составу, почти идентичен Верховным Советам СССР последних созывов. Одна и та же категория людей (партийные аппаратчики) заполняет собой подавляющее большинство мест в обоих этих учреждениях. Сращивание партии с государством оказывается доведенным до предела. Попутно состав съезда опровергает довольно распространенную заграницей теорию о том, что Сталин так долго откладывал созыв съезда из-за опасения возможной острой оппозиции на съезде. Собранных в зале заседаний съезда людей Сталину было нечего опасаться: он наблюдает их два раза в год на сессиях Верховного Совета, и никакой оппозиции с их стороны не встречает. Люди эти настолько погружены в свои повседневные текущие дела и заботы, они так далеки от решения больших вопросов государственной и партийной политики, что они просто не в состоянии высказать обоснованного самостоятельного суждения по этим вопросам, если бы даже захотели это сделать. Кто именно из нескольких тысяч руководящих партийных аппаратчиков местного масштаба попал на съезд, не имеет ни малейшего значения: все они находятся примерно в равном положении, объем их знаний и круг их непосредственных интересов тоже, более или менее, одинаков. Они представляют разные районы страны, но они не представляют и не могут представлять каких-либо различных политических течений или направлений.

Среди этих людей периодически проводятся чистки. Одних убирают, но на их место приходят люди той же категории, с такой же подготовкой, с таким же образом мышления, даже с более или менее похожими биографиями. Вот почему партийный съезд в нынешних условиях органически не может стать ареной какой-нибудь политической борьбы, как это бывало в двадцатых и даже тридцатых годах. Съезд может лишь заслушивать то, что вожди соблаговолят ему сообщить и одобрять те решения, подробности которых даже остаются ему неизвестными. Как верховный орган партии съезд более не существует и даже не может претендовать на эту роль. В этом заключается первый важнейший итог 19-го съезда компартии Советского Союза

КПСС вместо ВКП(б). Как известно, на 19-м съезде было утверждено новое название партии: Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) превратилась в Коммунистическую партию Советского Союза. Изменение названия не явилось неожиданностью: еще года за два до съезда во всей переписке с иностранными компартиями стало официально употребляться новое название. Мотивировка этой реформы,

данная в докладе Хрущева, была, однако, невнятной и мало убедительной. Он приводил два аргумента: 1) новое название будет больше соответствовать наименованиям государственных органов Советского Союза; 2) слово «большевик» надо из наименования исключить, поскольку отпала нужда противопоставлять большевиков меньшевикам и поскольку слова «коммунист» и «большевик» выражают одно содержание. Поэтому, говорил он, больше нет надобности сохранять двойное наименование партии: «коммунистическая» и «большевистская».

Первый аргумент Хрущева был бы уместен только в том случае, если бы новое наименование было «Коммунистическая партия СССР». Такое предложение делалось в предшествовавшей съезду дискуссии в «Правде», но оно было отвергнуто, без объяснения причин. Второй аргумент звучал бы уместно и убедительно лет 25 тому назад, когда большевики окончательно закрепили за собой власть в стране, а меньшевики оказались за рубежом одной из эмигрантских групп. Но в 1952 году подобное объяснение кажется извлеченным из архивов. Ведь из ста членов партии только один, быть может, видел живого меньшевика, а остальные знают о меньшевиках только то, что им приходилось читать в «Кратком курсе».

Возникает естественный вопрос: если это давно уже ставшее архаизмом название признавалось политически нужным и уместным на протяжении четверти века, то зачем понадобилось изменять его теперь? Ведь ломается очень удобная для режима традиция, из политического словаря изымаются десятки привычных, крепко засевших в мозгу выражений-лозунгов. Куда девать теперь всю обширную литературу о качествах «большевика-ленинца», о «большевистской бдительности» и т. д.? Как быть с известной, хотя и довольно бессмысленной по существу, партийной установкой, что недостаточно быть просто коммунистом, надо быть еще и большевиком? Коротко говоря, очевидных неудобств от изменения названия много, а выгод не видно. Какова же истинная причина этой реформы?

Первая причина видимо заключается в необходимости унифицировать коммунистический мир, привести коммунистические партии всего мира к одному знаменателю, выбить почву из-под титовского «небольшевистского коммунизма». Но авторы реформы имели в виду, конечно, не одного только Тито. Ведь различные хитроумные рассуждения о мифическом различии между б о л ь ш е в и к а м и «советского типа» и «истинными коммунистами» были тем теоретическим инкубатором, из которого могли вылупляться новые титовские цыплята. Всем этим комбинациям на 19-ом съезде положен предел:

в международном коммунистическом словаре больше не может быть «коммунистов-большевиков» и «коммунистов-антисталинцев» или «коммунистов-антибольшевиков». Есть только одна категория коммунистов — «коммунисты-сталинцы». Никаких других разновидностей коммунистов быть не может — такова директива 19-го съезда.

Не требуется особых доказательств тому, насколько подобное положение важно Сталину для наведения порядка в его лагере. Но в равной мере важно это и для всех антикоммунистов: Сталин и Хрущев сами вывели на чистую воду всех заграничных товарищей. Положение теперь предельно просто и ясно: либо ты, товарищ, коммунист и сталинец, либо ты некоммунист. Таковы результаты исключения слова «большевик» из названия компартии Советского Союза.

Почему в названии партии потребовалось заменить слово «всесоюзная» словами «Советского Союза»? Прежде всего, было одно чисто практическое неудобство старого названия: слово «всесоюзная» очень трудно поддается переводу на иностранные языки. Приходилось разными путями обходить эту трудность и в результате ВКП(б) и раньше на иностранных языках официально именовалась компартией Советского Союза, с присоединением слова «большевиков» или без него. В обращении оказывалось два наименования одной и той же партии. Это положение было неудобно и до войны, а за последние годы, когда из ЦК ВКП(б) в страны-сателлиты ежедневно направлялись десятки и сотни директив, приказаний и писем — оно стало просто нетерпимым. Внутри СССР у партии было одно наименование, в остальных странах советского блока — другое. Весьма вероятно, что сам Сталин обратил внимание на этот факт, когда увлекся языкознанием. Во всяком случае именно в различных письмах и телеграммах Сталина вождям заграничных компартий впервые появилось новое наименование.

Было в старом наименовании и одно п о л и т и ч е с к о е неудобство. Слово «всесоюзная» как бы ограничивало сферу ее компетенции пределами СССР, подчиняло ей все компартии союзных республик, но и только. Такое же ограничительное понятие было бы включено и в наименование «компартия СССР». Принятое наименование является более гибким. Ведь юридически существует только СССР, а не «Советский Союз»; поэтому и сфера компетенции КПСС может быть распространена на любую из «братских компартий». А кроме того, сокращенное наименование КП СССР звучало бы совсем неудобоваримо. Сталин, как новоиспеченный языковед, потерпеть

этого не мог: он ведь вообще предпочитает употреблять название «Советский Союз», а не «СССР». Таковы, как кажется, основные причины переименования партии.

Президиум вместо Политбюро. По поводу этой реформы за последние месяцы было высказано заграницей множество различных догадок, выставлено множество теорий: от невнятных рассуждений о «демократизации» сталинской диктатуры до утверждений о том, что функции Политбюро перешли к Секретариату ЦК. В чем же истинное значение этой реорганизации высших органов партии?

До 19-го съезда существовало три «исполнительных органа ЦК ВКП(б)» — Политбюро, Оргбюро и Секретариат. Все три органа избирались всегда на первом (после очередного съезда партии) пленуме новоизбранного ЦК, были ему подотчетны и действовали его именем. Полномочия их простирались, теоретически, от пленума до пленума, и каждый из них мог быть полностью переизбран любым очередным пленумом ЦК; принимаемые ими решения подлежали утверждению на пленуме ЦК. Рабочие функции распределялись между ними так: Политбюро ведало текущей политической работой, Оргбюро — организационной, а Секретариат ведал всей перепиской ЦК, подготовлял проекты решений ЦК, следил за их исполнением нижестоящими органами партии. Всё это было, конечно, лишь уставной формальностью, ширмой для прикрытия полновластной диктатуры Политбюро в партии и в стране. Но соблюдалась эта формальность со скрупулёзной тщательностью: принятые в Кремле решения публиковались всегда только от имени всего ЦК ВКП(б), а не от Политбюро или Оргбюро.

Утвержденный 19-ым съездом новый устав партии предусматривает два «исполнительных органа ЦК» — Президиум и Секретариат, Политбюро и Оргбюро, как таковые, ликвидированы. Функции Политбюро переданы Президиуму, который «руководит работой ЦК между пленумами» (параграф 34-й нового устава); функции Оргбюро переданы Секретариату, который, согласно тому же 34-му параграфу, — «организуется Центральным Комитетом КПСС для руководства текущей работой, главным образом по организации проверки исполнения решений партии и подбору кадров». По смыслу нового устава формальная разница между старым и новым положением заключается в том, что 1) Президиум руководит между пленумами всей работой ЦК, а не только политической, как Политбюро; 2) Президиум может сам официально подписывать все решения ЦК между пленумами, чего Политбюро (формально)

делать не могло. Абсолютная власть Политбюро базировалась только на фактическом положении вещей и на традиции; власть Президиума канонизирована уставом.

Права Секретариата значительно ограничены оговоркой параграфа 34-го: «главным образом по организации проверки исполнения решений партии и подбору кадров». Еще больше ограничивается реальная власть Секретариата реформой руководящих органов обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик (параграф 42-й нового устава), где вместо прежних полновластных «секретарей» создаются обезличенные «секретариаты», со специальным указанием (в докладе Хрущева), что секретариаты не могут подменять собой «бюро» соответствующих партийных комитетов и обязаны докладывать «бюро» о всех принимаемых ими решениях. Между тем истинная основа власти Секретариата внутри партийного аппарата заключалась именно в том, что прямо подчиненные ему местные секретари имели практически неограниченную власть в своих областях, краях и республиках.

Истинное значение организационной реформы выяснилось после опубликования персонального состава Президиума и Секретариата, избранных на состоявшемся 16 октября 1952 г. первом пленуме нового ЦК КПСС. Всеобщее внимание обратила на себя громоздкость обоих новых «исполнительных органов ЦК»: Президиум — 25 членов и 11 кандидатов, Секретариат — 10 секретарей (в Политбюро было 12 членов и кандидатов, в старом Секретариате — 5 секретарей). Составление Президиума из 36 человек дало почву для всевозможных догадок и предположений, и легло в основу «теории» о том, что функции Политбюро перешли не к Президиуму, а к Секретариату. О судьбе членов ликвидированного Оргбюро авторы всех подобных теорий странным образом забыли. Каков был точный численный состав Оргбюро в последние годы — установить довольно трудно. Но известно, что до чистки 1949-50 гг. в Оргбюро постоянно входило 10-12 человек (помимо тех лиц, которые одновременно входили и в Политбюро и в Оргбюро). И вот тут произошло странное явление: формально функции Оргбюро были переданы Секретариату, а члены бывшего Оргбюро были почти поголовно введены в состав нового Президиума ЦК. Если принять это во внимание, то Президиум не кажется таким уж чрезмерно громоздким органом: он всего лишь на 10-12 человек превышает совместную численность Политбюро и Оргбюро.

Президиум был избран в таком составе:

Ч л е н ы: Сталин, Берия, Булганин, Ворошилов, Кагано-

вич, Маленков, Микоян, Молотов, Хрущев и Шверник — из бывшего Политбюро; председатель Комитета Партийного Контроля М. Ф. Шкирятов; секретари ЦК М. А. Суслов и П. К. Пономаренко; первый секретарь ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлов; председатель ВЦСПС В. В. Кузнецов; секретарь Московского обкома С. Д. Игнатьев; секретарь Ленинградского обкома В. М. Андрианов; первый секретарь ЦК КП Украины Л. Г. Мельников; председатель Совета министров УССР Д. С. Коротченко; первый секретарь ЦК Карело-Финской КП О. В. Куусинен; председатель Госплана СССР М. З. Сабуров; заместители председателя Совета министров СССР В. А. Малышев и М. Г. Первухин; известный партийный теоретик Д. И. Чесноков; секретарь Челябинского обкома А. Б. Аристов.

Кандидаты: А. Н. Косыгин (из бывшего Политбюро); первый секретарь ЦК КП Белоруссии Н. С. Патоличев; министр иностранных дел СССР А. Я. Вышинский; министр финансов СССР А. Г. Зверев; заместитель председателя Совета министров СССР И. Ф. Тевосян; первый секретарь ЦК КП Молдавии Л. И. Брежнев; секретарь Краснодарского крайкома Н. Г. Игнатов; секретарь Куйбышевского обкома А. М. Пузанов; известный партийный теоретик и один из руководителей Коминформа П. Ф. Юдин; работники центрального аппарата ЦК ВКП(б) И. Г. Кабанов и Н. М. Пегов.

В состав нового Секретариата ЦК КПСС вошли все пять прежних секретарей ЦК ВКП(б) — (Сталин, Маленков, Хрущев, Суслов, Пономаренко), а также пять новых: А. Б. Аристов, Л. И. Брежнев, Н. Г. Игнатов, Н. М. Пегов и Н. А. Михайлов (из них два — члены, а три — кандидаты Президиума).

Председателя Президиума официально избрано не было, но в опубликованном во всех советских газетах 17 октября составе Президиума и Секретариата имя Сталина стояло на первом месте, а фамилии всех остальных — в алфавитном порядке. Из этого следует, что Сталин был избран председателем Президиума и первым секретарем ЦК, без опубликования этого решения. Из старых членов Политбюро не вошел в Президиум только А. А. Андреев. Обращает на себя внимание тот факт, что в Президиум не вошел никто из руководящих работников Армении, Грузии, Азербайджана, Среднеазиатских и Прибалтийских республик.

Приведенный выше список показывает, что Президиум ЦК КПСС есть в высшей степени своеобразный орган. Это есть симбиоз верховного руководства партии и советского государства с руководством комсомолом, профсоюзами, некоторыми ключевыми провинциальными партийными организациями, Ком-

информом и «идеологическим фронтом». Это есть несомненно орган чрезвычайный, включающий не только «генеральный штаб мирового коммунизма» (прежнее Политбюро), но и руководителей всех важнейших звеньев его рабочего аппарата. Сравнить его можно только с Государственным Комитетом Обороны времен войны, но тогда верховное руководство было сосредоточено в органе государственной власти, а теперь — партийной. Это есть орган мобилизационный, создан он для усиления и расширения коммунистического наступления внутри и вне страны, но наступление это должно вестись не столько государственными, сколько партийными средствами. Очень характерно, что, за исключением Булганина и Ворошилова, в Президиум не вошел ни один руководитель вооруженных сил СССР, хотя по своему положению в партии многие из них стоят гораздо выше, чем, например, Аристов, Кабанов и Пузанов*.

Общий результат произведенной на 19-ом съезде реорганизации верховных органов партии можно формулировать так: новый этап на пути сращивания всех форм власти в СССР в один комплекс, с полным приматом власти партийной над властью государственной. В этом же смысле надо понимать и создание Комитета Партийного Контроля (вместо прежней Комиссии Партийного Контроля), с предоставлением этому комитету таких широких прав и полномочий, которые превращают его в своего рода внутрипартийное МГБ.

Вопрос о Сталине и его «наследнике». Съезд обманул ожидания очень многих в одном отношении: никакой наследник «сталинского престола» не был выдвинут. Наоборот, съезд сделал диктатуру Сталина еще более абсолютной, если это вообще возможно. Весь теоретический фундамент под выступления на съезде был подведен работой Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», опубликованной в «Большевике» и в «Правде» за два дня до открытия съезда. На эту работу все докладчики и ораторы ссылались, цитировали ее и раболепствовали перед этим «гениальным классическим произведением». Заключительная речь Сталина дала основные вехи для работы всех заграничных компартий и всех коммунистических пятых колон. В результате съезда Сталин занял, вместо одной, сразу три высших партийных должности: председатель Президиума, первый секретарь ЦК и председатель комиссии по переработке программы пар-

* Уже после Съезда Пузанов был назначен председателем совета министров РСФСР.

тии, причем во всей своей работе комиссия должна руководствоваться основными положениями указанной выше работы Сталина. В дополнение ко всему этому Сталин сохраняет за собой пост председателя Совета министров СССР.

Подобная концентрация власти в руках Сталина была только в годы войны. Но тогда он занимал один партийный пост и четыре государственных: пред. Совнаркома СССР, пред. Гос. Ком. Обороны, Нарком Обороны и Верховный Главнокомандующий. Теперь картина обратная. Здесь также кроется один из ключей для понимания основных средств, методов и тактики советской политики в настоящее время. Канонизации единоличной диктатуры Сталина служит также и превращение Политбюро в Президиум: если Политбюро могло считаться органом коллегиальной диктатуры, то Президиум (в его нынешнем составе) есть верховный рабочий орган для проведения в жизнь воли диктатора. Не подлежит сомнению, что с образованием Президиума из 36 человек формальное положение каждого из членов бывшего Политбюро понизилось на одну ступень по партийной иерархической лестнице. Но это произошло не в результате действий какой-либо «фракции» внутри Политбюро, а исключительно в результате еще большего укрепления Сталина в роли абсолютного и единоличного диктатора.

Однако, это чисто формальное «развенчание вождей» отнюдь не означает уменьшения их реальной власти в Кремле. Исключение, быть может, можно сделать только для Андреева и Косыгина (первый не вошел в Президиум, второй введен кандидатом), но и здесь еще стоит большой знак вопроса. Нельзя забывать, что сейчас не довоенные времена, когда реальная власть Политбюро распространялась только на территорию СССР. Теперь советская империя простирается от Эльбы до 38-й параллели и границы Индо-Китая, насчитывая около 800 миллионов человек. А к этому еще прибавляется руководство разветвленной сетью всех зарубежных компартий, «сторонников мира», попутчиков всякого рода, «пятых колон» и т. п. Хозяйство оказывается таких масштабов, каких еще не знала история человечества. И при том хозяйство это строго централизованное, все нити управления которым сходятся в Кремле. А ведь Сталин и его ближайшие соратники всё же люди, и люди довольно преклонного возраста. Установленный же в Кремле рабочий режим может свалить с ног даже мирового чемпиону по боксу. Не входя в излишние подробности надо сказать, что за последнее десятилетие обязанности каждого члена Политбюро стали настолько многочисленны, так

много бумаг кладется ежедневно на их столы для разрешения и подписи, что многие дела ждут своей очереди месяцами. Разгрузка вождей от излишних обязанностей и введение в верховное руководство новых сил давно сделались неотложной задачей. И это тем более важно, что физические силы самого Сталина за последние годы резко пошли на убыль.

Попробуем посмотреть в этом свете на тот факт, который вызвал во всем мире наибольшую сенсацию и породил новую волну спекулятивных соображений о «наследнике»: факт поручения отчетного доклада ЦК Маленкову. Дело в том, что доклад этот делал фактически не один Маленков, хотя почти никто не обратил внимания на это обстоятельство. Маленков зачитывал основную часть доклада ЦК (вернее Политбюро) о его деятельности за прошедшие 13 лет и о задачах на ближайшие годы, он говорил пять с половиной часов, но и в этом марафонском докладе не смог исчерпать своей темы. Ряд важнейших вопросов не нашел освещения в докладе Маленкова и о них пришлось отдельно докладывать съезду другим вождям и приближенным к Сталину лицам. Молотов изложил ряд основных принципов советской внешней политики; Берия сделал особый доклад о национальной политике и о задачах органов разведки; Булганин докладывал о политике партии в годы войны и о стоящих сейчас перед вооруженными силами СССР задачах (по этим же вопросам выступал еще маршал Василевский); Микоян говорил об общих вопросах торговли; Косыгин — о легкой промышленности; Суслов — о работе органов пропаганды и т. д. В официальных материалах съезда все эти выступления именовались речами, но практически это были самостоятельные содоклады по тем вопросам, которые физически не смогли вместиться в основной доклад. Общий итог таков, что отчетный доклад делало Политбюро в целом, и просто наиболее объемистая часть этого сводного доклада пришлась на долю Маленкова. Это показывает, что людей в Кремле, вероятно, не столько занимает вопрос о «наследнике» и о борьбе между собой за власть, сколько о том, как справиться с тем невероятным объемом работ, который ложится на их плечи ежедневно и ежечасно.

Наконец, вообще почему делал этот основной доклад (или основную часть отчетного доклада) Маленков, а не кто-либо другой из членов Политбюро? Объяснение простое: если его не делал Сталин, то делать его мог только Маленков. Маленков — второй секретарь ЦК, только он и Хрущев из всех членов Политбюро заняты главным образом партийной работой. Поэтому вполне естественным было, что Маленков делал отчет-

ный доклад, а Хрущев — доклад о новом уставе партии. Таким образом, в факте поручения доклада Маленкову, мы не видим никаких оснований для предположений об изменении роли Маленкова в Кремле. Он был до съезда вторым (после Сталина) человеком в аппарате ВКП(б), он остается вторым человеком в аппарате КПСС. Но быть вторым в аппарате КПСС еще не значит быть вторым у кормила правления всей советской империи. Мы живем в 1952 году, а не в 1939, а потому и оценивать факты должны в масштабах всего советского блока, а не только СССР.

Политические решения съезда. Строго говоря, 19-й съезд не принял никаких решений о политике партии на будущее время. Принятая на заседании 7-го октября резолюция по докладу Маленкова гласила: — «Заслушав и обсудив отчетный доклад секретаря ЦК ВКП(б) тов. Маленкова Г. М. о работе ЦК ВКП(б), XIX съезд ВКП(б) постановляет: Одобрить политическую линию и практическую работу ЦК ВКП(б). (Принята единогласно)». Как видно из текста, резолюция эта относится только к прошлому, только к деятельности ЦК ВКП(б) и никакого формального отношения к новой партии (КПСС) иметь не может. Эта новая партия ведет свое начало с XIX съезда, точнее с 13 октября 1952 г., когда съездом была принята резолюция о переименовании партии и утвержден устав Коммунистической партии Советского Союза. В тот же день была принята резолюция о создании комиссии для переработки программы партии, с представлением проекта новой программы на рассмотрение следующего съезда КПСС, который должен состояться через четыре года. Больше никаких решений по партийным вопросам съезд не принимал (во всяком случае их не было в официальных отчетах). Была еще принята резолюция о директивах по пятой пятилетке, но к политике партии это уже прямого отношения не имело.

Таким образом, на 19-ом съезде родилась новая партия (КПСС), имеющая свой устав и исполнительные органы, но не имеющая ни программы, ни даже какого-либо временного мандата, определяющего ее политическую линию. Характерно, что в резолюции о создании комиссии для пересмотра программы ничего не было сказано о том, что, впредь до утверждения новой программы, КПСС должна руководствоваться старой программой ВКП(б). Устроители съезда «забыли» об этом «небольшом» вопросе. Но и этим странности не ограничились. Отчетный доклад Маленкова состоял из трех больших разделов: международное положение Советского Союза, внутрен-

нее положение Советского Союза, партия. В конце каждого раздела излагались в сжатой форме, в виде тезисов, задачи партии по затронутым в данном разделе узловым вопросам внешней, внутренней и партийной политики. Прения по докладу продолжались два дня. От заключительного слова Маленков отказался (по характеру «прений» в нем не было нужды), а затем была принята приведенная выше резолюция. О тезисах Маленкова в резолюции не говорилось: их съезд молча «принял к сведению». А ведь они трактовали о вопросах, имеющих жизненно важное значение не только для самого СССР, но и для всего мира.

В этой процедуре съезда ярко проявилось полное презрение правящей клики к партии и к съезду, как формальному верховному органу партии. Высшую степень этого презрения проявил сам Сталин. Прежде всего, он не нашел нужным сам отчитаться перед съездом в деятельности ЦК, хотя он был и остается первым секретарем. Он не пожелал также лично открыть и закрыть съезд, а просто на нем присутствовал. В кульминационный момент съезда, перед самым его закрытием, он выступил с 10-минутной речью, обращаясь в ней от имени съезда и всей компартии Советского Союза к зарубежным товарищам. Речь его не имела никакого прямого отношения к программе работ съезда: он просто использовал трибуну съезда для поучения присутствовавших в зале руководителей 44-х иностранных компартий об их тактике на ближайшее будущее.

Странный, даже для советских порядков, случай произошел с работой Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Работа эта легла в основу всей теоретической работы съезда, а между тем она даже не была к съезду обращена. Работа эта состоит, как известно, из одной большой статьи «Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года» и трех дополняющих ее статей-писем: «Ответ тов. А. И. Ноткину», «Об ошибках тов. Л. Д. Ярошенко», «Ответ тт. А. В. Саниной и В. Г. Венжеру». Первая статья датирована 1 февраля 1952 года, а три остальные: 21 апреля 1952, 22 мая 1952 и 28 сентября 1952 года. Какого-либо прямого отношения к XIX съезду ни статьи в отдельности, ни работа в целом не имели, но, всё же, они определили собой всю работу съезда. Сталин даже не потрудился снабдить эти свои работы каким-либо примечанием, что он предлагает их вниманию съезда. Он просто опубликовал их в «Большевике» накануне съезда, а верховный орган правящей партии раболепно положил в основу всей своей работы этот

даже не адресованный ему документ. Таких вещей даже Ленин себе не позволял.

Итак, мы констатируем, что 19-й съезд не принял никаких формальных решений относительно будущего политического курса партии. Но это далеко не значит, что на съезде не были обнародованы основные линии этой политики. Их можно найти в докладе Маленкова, в речах Сталина и Молотова, в «содокладах» остальных членов Политбюро. В рамках данной статьи нет возможности подробно рассмотреть этот курс. Можно только наметить его основные контуры.

В области внешней политики полностью сохраняется курс на непрерывное наступление. Средствами этого наступления на ближайшее будущее объявляются тактика разобщенных ударов революционными (а если нужно то и вооруженными) силами стран-сателлитов, с оставлением армии СССР в резерве, т. е. политика так называемой «дифференциальной войны»; всемерное усиление движения «сторонников мира», как основного диверсионного оружия МГБ в настоящее время (о специальных особенностях этого оружия следовало бы поговорить отдельно); игра на противоречиях в лагере противника; маскировка коммунистов под защитников «национальной независимости» тех стран, которые намечены первоочередными объектами «освоения»; попытка вызвать на Западе экономический кризис путем исключения своего рынка из мирового и, в случае необходимости, повторением политики демпинга.

В области внутренней политики сохраняется общий курс прежних пятилеток, с приматом производства средств производства. В сельском хозяйстве продолжается курс на превращение крестьян в класс сельско-хозяйственных рабочих, но временно отбрасывается и даже признается вредным хрущевский план строительства «агрогородов». Населению обещаются всякие блага в будущем, а пока предлагается потуже стянуть пояса. В партийной политике признается ненужным дальнейший рост рядов партии и делается ставка на всемерное укрепление партийной дисциплины, т. е. прокламируется новая волна партийной чистки. А в области идеологической провозглашается поход сразу против трех врагов: великодержавного шовинизма, буржуазного национализма и космополитизма. Всё это делается на фоне пропагандных рассуждений о переходе ко «второй фазе» коммунизма и прославления гениальности Сталина, якобы открывшего какие-то новые законы экономического развития общества при социализме.

Каждый из провозглашенных на съезде пунктов программы текущих действий Кремля несет новые тяготы и горе мно-

гим тысячам людей и таит в себе новые угрозы свободной еще части человечества. А потому все они вместе, и каждый из них в отдельности, должны стать предметом самого тщательного изучения, с целью изыскания правильного ответа и противодействия кремлевским планам широкого наступления. Первейший долг нас всех, политических эмигрантов из СССР, приложить все наши силы к расшифровке этой схемы порабощения мира.

Н. Градобоев

Помещенная в книге 30-й «Нового Журнала» статья Н. Градобоева «Состав Верховного Совета СССР (1937-1946-1950 г.г.)» была напечатана с разрешения Research Program on the USSR, при содействии которого она была написана автором. РЕД.

О СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛЕ

Снабжение населения

Ни в смысле количества, ни в смысле ассортимента советские товары, получаемые Торгами, не соответствуют спросу населения. Каждый день в магазины поступает тот или иной товар: сельди, сахар, сыр, фрукты, конфеты. Разные товары одновременно в магазин не завозятся. Сегодня один товар, завтра другой, послезавтра третий. Весть о прибытии в магазин товаров распространяется среди населения с быстротой молнии. С такой же быстротой вырастают очереди покупателей у дверей магазина. Отпуск товара в одни руки ограничен: пол-килограмма сахара, один килограмм сельдей, полкилограмма дешевого сорта конфет и т. д. (чтобы всем хватило). Стоящие в очереди волнуются, переругиваются. Всех их тяготит мысль о потерянном в очереди времени и возможности, в конце концов, остаться без покупки. Иногда товар отпускается вне очереди, что неизменно вызывает возмущение и брань со стороны прочих покупателей, нередко переходящие в драку.

Свежеприбывшего товара, как правило, на всех нехватает и люди расходятся с надеждой достать продукты в другом месте. В коммерческих магазинах, изобилующих всеми видами продуктов, цены столь непомерно высоки, что рядовому советскому человеку заходить туда нет смысла — не по карману.

Еще более неблагополучно обстоит дело снабжения населения обувью или мануфактурой. Купить обувь по нормальной цене простому советскому смертному почти невозможно. Как только становится известно, что в магазин обуви должна поступить партия обуви в продажу, у дверей его молниеносно вырастает длиннейшая очередь, производится запись лиц, стоящих в очереди, все ждут привоза товара из склада в магазин. Бывали случаи, когда очередь у магазина простаивала до пяти суток. Но вот, наконец, обувь прибыла и поступила в продажу. Очередь в мгновение ока нарушена, все бросаются в магазин. Продавцы отпускают обувь без примерки, по требуемым номерам размеров. Но это обстоя-

тельство нисколько не смущает покупателей: они с радостью платят за почти вслепую купленную обувь и поспешно уходят. В течение трех-четырех часов товар оказывается распроданным (удобство от продажи без примерки). Магазин пустеет. Те, кому не улыбнулось счастье, мрачно расходятся. Те же, кому посчастливилось, с восторженными лицами спешат домой, чтобы поскорей поделиться подлинной радостью со своими близкими. В Советском Союзе даже самые маленькие вещи могут служить причиной огромной, неподдельной радости. Достал обувь — радость, удалось получить немного мануфактуры — радость, купил варенье, селедку или что-нибудь из съестного (по «нормальной» цене, конечно) — предельная радость! «Да здравствует счастливая и радостная жизнь»! (Сталин).

Примерно, такая же картина, как с обувью, наблюдается и при снабжении населения мануфактурой. Пожалуй, даже еще более безотрадная (дежурство в очередях продолжается еще дольше). В очереди за мануфактурой обычно стоят женщины и дети — не взирая на холод и непогоду. Закутавшись в одеяла, женщины сидят на принесенных из дому скамеечках и табуретках и ждут наступления светлого часа. Моя соседка, мать двух детей, однажды продежурила в очереди 10 суток, чтобы получить 8 метров материала на белье детишкам! В таких, особенно «затяжных» случаях производится нумерация стоящих в очереди, чтобы избежать недоразумения и дать возможность людям оставлять очередь на то или иное время.

То же, что в промтоварных магазинах можно получить без «боя», поистине убого и жалко: пуговицы, ленточки, ботинки или туфли, сшитые из нескольких обрезков кожи, шапки-ушанки, кепки...

Упомянем и о снабжении хлебом. Обычно вас прикрепляют к определенному хлебному магазину, в котором вы, по имеющимся у вас талонам, должны получать хлеб на каждый день. С вечера люди становятся в очередь у дверей магазина, чтобы утром следующего дня получить на этот день свою норму хлеба. Если же случается, что в этот день хлеб в магазин не доставлен, то люди расходятся голодные. Использовать же хлебный талон вчерашнего дня (несмотря на то, что вы остались без хлеба не по своей вине) вы не можете ни в магазине, к которому вы прикреплены, ни в каком-либо ином. Когда я однажды спросил заведующего хлебным магазином, почему он отказывается выдать мне хлеб за вчерашний день согласно имеющемуся у меня талону,

он спокойно и цинично ответил: «Вы же прожили вчерашний день, зачем же вам еще выдавать?» Действительно: зачем выдавать вчерашний хлеб сегодня, когда его можно продать на базаре (из-под полы) по спекулятивной цене, а разницу (и какую!) положить в собственный карман!

Самоснабжение

Основное зло советской торговли заключается в, так называемом, «самоснабжении». Практикуется это самоснабжение следующим образом. Из общего количества товаров, поступающих в кооперацию и в Торги, значительная часть (и притом лучшие сорта) не доходит до магазинов, продающих товары потребителям. С оптовых баз Торгов и складов кооперации товары отпускаются представителям власть имущих или их родственникам и друзьям. Автор этих строк долгое время работал доверенным одного из Национальных Торгов и Союза Кооперативов по закупке для этих организаций различных товаров, с постоянным проживанием в одном из промышленных центров и потому вплотную сталкивался с самоснабженческой практикой. Приведу примеры из личного опыта.

Как правило, по приезде в дирекцию (3-4 раза в год), я шел на склад организации, с работниками которого, начиная от заведующего и кончая сторожем, я, конечно, находился в самых приятельски-доверительных отношениях. После служебных и деловых разговоров, мы переходили на темы личного характера: в чем нуждаюсь я, моя семья? Все нужное мне тут же отбиралось и упаковывалось; я расплачивался, забирал с собой приобретенное и уходил. Ввиду того, что склад (база) не имел права непосредственной продажи потребителям, то такую продажу необходимо было как-то закамуфлировать. Делалось это чрезвычайно просто: на один из магазинов выписывалась фактура, в фактуру же списывались отпущенные мне товары, а полученные от меня деньги вносились в кассу магазина (через заведующего этим магазином), который проводил всю эту операцию по своим книгам, как розничную продажу. — Просто, быстро, удобно и не к чему придраться!

При одном из посещений склада для очередных закупок я как-то встретил там хорошо одетую молодую советскую даму, для которой работники склада упаковывали различные материалы на пальто, костюмы и пр. Дама расплатилась, пакеты были положены в поджидавший даму автомобиль и покупательница уехала. На мой вопрос, кто эта дама, последовал ответ: ***жена прокурора республики.*** «В нашем деле, — добавил

заведующий складом, — дружба с прокурором очень необходима». На складах можно встретить работников райкома и горкома компартии, прокуратуры, МВД-МГБ, милиции, Наркомвнуторга, горсовета — вообще — всех власть имущих. Все они снабжаются не через магазины, а через склады, к тому же без очереди. Зато работники кооперации и Торга в какой-то степени застрахованы от неприятностей. Магазины же, прежде чем пустить полученный товар в продажу, откладывают в сторону то, что интересует магазинных работников (и их знакомых), и только тогда отпускают товар рядовому покупателю.

Однажды моя жена, ввиду приближавшегося Рождества, поручила мне достать рис для плова. Нужно сказать, что в то время рис выдавался по детским карточкам, раз в месяц, да и то всего лишь по 250 гр. Мне же нужно было достать не менее одного килограмма. Достать в СССР килограмм риса (по нормальной цене) это проблема. Но не для работников советской кооперации. В тот же день я зашел в местный Торг, с которым мы находились в деловых отношениях (отгружали кое-какие товары) и обратился к старшему товароведу, моему доброму знакомому: «Знаете, а ведь скоро Рождество!». — «Знаю». — «А знаете ли вы, что по нашей традиции Рождество без плова не бывает?». — Товаровед улыбнулся и спросил: «Сколько?». Сошлись на 3-х килограммах. Он взял блокнот и написал: «Завмагазином № 2. Отпустите за наличный расчет 3 килограмма риса и 1 клг. масла», подпись. «Передайте записку лично заведующему (он назвал фамилию)». Придя в магазин, я установил в нем наличие всё того же «традиционного ассортимента»: суррогат кофе «Здоровье», уксус, водка, вина, какая-то сомнительного вида колбаса... Заведующий магазином повел меня вниз, в подвал, бывший магазинным складом. Если в магазине не было почти ничего, то на складе было почти всё: сыры швейцарские и голландские (советской продукции), масло в бочках и ящиках, сахар в мешках, разнообразнейшие колбасные изделия и консервы. «Совсем, как в старое доброе время», подумал я. Заведующий подсчитал стоимость отпускаемого мне, сказал сумму и попросил подняться в магазин, уплатить деньги в кассу и принести чек об уплате.

Когда я вручил ему чек об уплате, он передал мне покупку и повел меня по подвальному коридору, говоря, что мне следует выйти черным ходом на другую улицу, во избежание «случайных неприятностей». Этот магазин, как оказалось, таким «самоснабженческим» путем обслуживал всех власть иму-

щих в городе. Впрочем, таких магазинов, как я узнал позже, в городе было несколько.

Как то, в один из моих приездов с отчетом в дирекцию Торга, директор вызвал меня к себе в кабинет и доверительно сообщил, что необходимо передать начальнику Крайторготдела (в том городе, где я проживал) ящики лучших вин и превосходных фруктов. Всё это должно было быть отправлено на мое имя багажем, мне же оставалось принять ящики со станции и доставить их на квартиру упомянутого лица. Причем всё это я должен был проделать лично. Как я узнал позднее, подарок этот был выражением благодарности Торга за протекцию, оказываемую начальником Крайторготдела в области внеплановых снабжений. По советским законам подобные «подношения» приравнены к взяткам и караются по ст. 114 У. К. — 5 годами тюремного заключения. Но подобные явления настолько обыденны, что на них давно никто не обращает внимания. Все, кто только могут, стараются использовать свою службу и положение для личной пользы. Описанным путем и я получал всё то, что мне было нужно, начиная от пальто и кончая сахаром, при этом, конечно, по нормальным ценам, каковые были, примерно, в пять раз ниже коммерческих. Примеров, подобных приведенным, можно было бы привести бесчисленное множество.

В Советском Союзе слово «купил» давно заменено соответствующим житейской практике «достал». Теперь вы редко услышите: «Я купил себе пальто». Говорят: «Я достал себе пальто по блату (знакомству)». Этим блатом власть имущие пользуются неограниченно, кто рангом помельче — по мере сил и возможностей. Не отстают от прочих и сами работники Торгов и Кооперации. Многомиллионная же масса населения страны вот уже 35 лет живет, испытывая хронический недостаток в предметах повседневного обихода и питания, начиная от одежды и кончая картофелем.

На советском официальном языке всё это именуется: «Советская *культурная* торговля»...

Работники прилавка и прочие

Еще одним из многих зол (для населения) советской торговли являются заведующие магазинами и продавцы, бессовестно обкрадывающие злосчастных покупателей.

Хлеб почти всегда недовешивают. Если вам отпустили 1 килограмм (вы уплатили за 1 клг.), то в действительности вы получите (проверив на п р а в и л ь н ы х весах) не более

900 грамм. Хлебопродавцы (по советски «хлеборезы») столь ловки и быстры в своих манипуляциях, что непосвященному трудно поймать их на жульничестве. Если же вы, получив хлеб, и тем самым оставив очередь, решили заявить претензию против недовеса, то ваш протест во внимание не принимается.

Хлеб очень часто отпускается горячим; но горячий хлеб, как известно, тяжелее остывшего. Магазин получает от хлебозавода «на теплоту» соответствующую скидку, потребитель же уплачивает за полный нормальный вес, не получая никакой скидки. Отпуская, примерно, тонну хлеба в день, хлеборез получает на этой тонне не менее 100 килограммов, так называемой, «экономии», уворованного у населения хлеба. Эта «экономия» продается в том же магазине, а выручка (по цене от 2 р. до 3.60 коп. за клг. в зависимости от сорта) поступает в пользу продавца и заведующего магазином...

У лиц, незнакомых с тайнами советской торговли, может создаться впечатление, что обвешивание и обмеривание, обман и обкрадывание покупателей происходят из-за отсутствия надлежащего наблюдения и контроля. *Формально* такой орган контроля существует и называется Министерством Внутренней Торговли. Но это совершенно «платоническое» учреждение и ни малейшего влияния на положение дел не имеет. Почему от этих (преступных) торговых операций получает прибыль не государство, а отдельные лица, работающие в системе советской торговли? Чем это объяснить? Объяснение сему весьма простое: все чиновники МВТ *материально заинтересованы* в «успехах» всех этих заведующих магазинами, директоров магазинов, заведующих базами, ресторанами и т. д. и т. п. Короче: они получают свою долю. Если кто-либо из работников торговли будет уличен в обвешивании, обмере или обсчете покупателя, его выручают солидарные с ним товарищи. Руководители же сами имеют свой «пай» в общей наживе, но они выступают негласно или через подставных лиц.

Для того, чтобы получить должность заведующего магазином или базой, необходимо уплатить «в соответствующий адрес» определенную сумму, выражающуюся в тысячах рублей. Мне лично известен случай, когда за получение должности заведующего ларьком (правда, на бойком месте) было уплачено 3.000 рублей. Если в среду работников торговли случайно попадает человек нежелательный, т. е. прежде всего честный, то такой сотрудник, как не приносящий пользы дирекции, под тем или иным предлогом, увольняется или переводится на другую работу, не связанную с продажей товаров (поводы и предлоги

в Сов. Союзе найти не трудно). На место же его подыскивается «свой» человек.

Все торговые инспектора, контролирующие и ревизующие магазины и базы, находятся в приятельских отношениях с работниками этих предприятий и потому смотрят на их действия сквозь пальцы, получая соответствующую мзду (в большинстве случаев продуктами и материалами). О предстоящих внезапных ревизиях инспектора ставят своих друзей в торговых организациях своевременно в известность. В течение двух лет я работал в МВТ, но никто из проворовавшихся работников под суд отдан не был; было составлено не мало актов о преступлениях по службе, но после долгих разговоров и переговоров, всё сходило с рук. «И волки сыты, и овцы целы». Вероятно, в советских правительственных кругах рассуждают так: государство от их деятельности не понесло убытков, если же они частное лицо на какую-то сумму обокрали, то пусть это самое лицо и подает в суд. Приведу хотя бы один известный мне случай (из сотен), как пример. У одного директора хлебозавода получилась недостача в 40 (сорок) тонн муки, дело было в один из *голодных* годов. Недостача была выявлена случайной ревизией. Как предполагали, выпеченный из сорока тонн муки хлеб был продан на черной бирже по спекулятивной цене, в чем была материально заинтересована вся верхушка Наркомвнуторга (МВТ). Работники хлебозавода, выпекая из государственной муки хлеб для черного рынка, имели в виду закупить новую муку и сложить на месте ими использованной, но не успели. Директора, малограмотного партийца, и двух работников сняли с работы. Но тут были пущены в ход «нормы естественной убыли»: утрушка, усушка, уменьшение нормы припека за целый год и т. д. и т. п. Дело тянулось около 4-х месяцев и сошло на нет; все оказались довольны. Директор и два работника хлебозавода возвратились на свои места.

В советском торговом мире чрезвычайное распространение получило выражение: «ловкость рук и никакого мошенства (мошенничества)»! На мой взгляд, этими пятью словами о советской торговле точнее и удачнее не сказать.

Еще одним из давно установившихся способов обкрадывания покупателей является продажа продуктов второго сорта по цене первого сорта, третьего сорта — за второй и т. д. Разница в цене поступает всё в тот же карман заведующего. Подмена одного сорта другим особенно часто практикуется при продаже фруктов, варенья и др. Молоко часто разбавляется водой, или же недоливают при отпуске покупателям. Вопию-

щие злоупотребления при продаже спиртных напитков стали явлением, можно сказать, почти обязательным: дешевое вино продают за дорогое, плохие сорта за высшие, водку и вино разбавляют водой.

Существует еще один вид торговых комбинаций: получение товаров с баз, фабрик и заводов без фактур и счетов, для реализации «излишков» через магазины с уплатой стоимости наличными «поставщику». Такая комбинация является, конечно, ничем иным, как обкрадыванием советского государства, столь же прибыльным, сколь и опасным.

Насколько прибыльна работа в советских торговых магазиных и ларьках, можно видеть хотя бы из такого случая. Одного молодого, энергичного парня было решено перевести в контору Торга из небольшого магазинчика, в котором он работал. Получив приказ о переводе, парень немедленно примчался в контору Торга и стал убедительно просить об отмене состоявшегося распоряжения. Начальник торгового отдела Торга говорил, что он весьма ценит его работу и дает повышение по службе, с жалованьем почти вдвое большим, чем прежнее. Но несмотря на это, парень всё же просил оставить его на старом месте, приводя какие-то свои доводы и соображения: — парень не хотел расставаться с «хлебным» местом.

Каковы же жалованья торговых работников?

В тот период, когда я работал в советской торговой системе, оклады были таковы: уборщица — 105 руб., заведующий крупным магазином — 300 руб., заведующий базой — 350 руб. Продавцы, хлеборезы и др. — от 175 до 250 руб. Существовать на такой оклад было явно невозможно, тем более человеку с семьей. Вот почему, когда тот или иной работник поступает на службу в торговую организацию, он, в первую очередь, интересуется не размером оклада, а будущими начальниками и как скоро можно будет найти «общий язык» с этими начальниками — всё будет в порядке. В советской же, от начала и до конца порочной системе, такой «общий язык» находится сам собой.

Работая в этой системе, я, будучи женатым, получал, как специалист, 450 рублей в месяц. Кроме основного оклада я получал премии за выполнение плана, от 60 до 100 руб., в месяц. В то же время заведующий магазином Торга, расположенного недалеко от нас, семья которого состояла из 5 человек (жена и 3 детей), получал 250 руб. Жил же завмаг намного лучше меня.

Чем же объяснить, что заведующие магазинами и другие работники советской торговли столь свободно занимаются обиранием, обвешиванием и обмериванием населения и всеми прочими видами «самоснабжения». Ответ на этот вопрос весьма прост: почти все заведующие магазинами и базами являются *секретными сотрудниками* МВД-МГБ. Они ведут наблюдение за своими покупателями, за их политическими настроениями, входя, таким образом, в доверие и заслуживая расположение к себе со стороны карающего органа, каковым является МВД. Население об этом знает и потому ни в магазине, ни в очереди у магазина вы не услышите политических замечаний насчет трудностей жизни или неправильных действий того или иного работника торговли.

Попавшийся на совершении незаконных действий заведующий магазином немедленно идет к своему «знакомому» из МВД — и тот его выгораживает. Естественно, что этот энкаведист пользуется возможностью получить при помощи этого заведующего магазином нужные ему товары. Работники складов, магазинов, баз и т. п. регулярно устраивают сотрудникам МВД-МГБ всякие попойки с целью укрепить дружеские отношения с представителями «органов» и застраховать себя от неприятностей, всегда имея защитников. Мне известен случай, когда родственник одного крупного советского сановника с группой своих подчиненных (он был директором Треста) попался в злоупотреблениях, но он не только не был арестован, но даже допрошен не был: крупный советский сановник служил... в НКВД. Остальные же участники злоупотребления получили по 10 лет заключения в концлагерях.

Колхозная торговля

Вскоре после продолжавшейся около пяти лет насильственной коллективизации крестьянских хозяйств, поступление продуктов из сел и деревень сократилось до минимума. Надвигался голод. Государственная торговля и кооперация не смогли обеспечить снабжение городов продуктами питания. Городское население, не исключая и рабочих, начало роптать. И советская власть, понимая, что не в состоянии справиться с создавшимся положением, разрешила *колхозную торговлю* во всех населенных пунктах страны тем крестьянам-колхозникам, а также и колхозам, которые выполнили государственный план поставок сельскохозяйственных продуктов. Это мероприятие советского правительства (как видим, вынужденное, а не добровольное) явилось большим облегчением для городов.

Колхозная торговля построена на принципе свободы цены. В постановлении сов. правительства так и говорится: «по ценам, сложившимся на рынке». Практически это выходит так: как только план сельско-хозяйственных заготовок по *всем видам* колхозом выполнен, колхоз разрешает члену колхоза продавать свои излишки, выдавая для этого удостоверение, гласящее, что такой то член колхоза, ввиду выполнения планов заготовок, имеет право выехать на колхозный базар для продажи излишков сельскохозяйственной продукции, полученных им по трудодням (указывается населенный пункт, куда колхозник намерен выехать). Такое же удостоверение выдается колхозом и в том случае, когда колхозник везет на базар продукцию со своего приусадебного участка. Необходимо заметить, что подобные удостоверения являются совершенно необходимыми документами, ибо все колхозники лишены паспортов или удостоверений личности. Колхозникам запрещено выезжать из района своего колхоза куда бы то ни было без разрешения правления колхоза. По дорогам, как и в самих городах, рабоче-крестьянская милиция, находящаяся в ведении того же МВД, систематически производит проверку документов. Такая же проверка производится и в поездах, на вокзалах и на базарах — вообще во всех общественных местах.

Все базары в городах и населенных пунктах, куда крестьяне раньше привозили свою продукцию для свободной продажи, теперь переименованы в «колхозные базары». Каждый такой колхозный базар имеет свое управление, во главе с комендантом. По приезде на базар, колхозник предъявляет коменданту удостоверение, полученное им от колхоза, и уплачивает полагающийся сбор за место, которое он займет на базаре для продажи привезенного, и только после этого он приступает к торговле. Колхозные базары находятся в ведении Министерства Внутренней Торговли, а также горсовета (сельсовета). С открытием колхозных базаров многомиллионное население страны вздохнуло несколько свободней, ибо именно базар оказался главным поставщиком различных продовольственных продуктов (несмотря на его высокие, колхозные цены). В государственных и кооперативных магазинах цены ниже базарных, но достать (купить) в них требуемое, за частым отсутствием товаров, не представляется возможным. Продав привезенное, колхозник закупает на вырученные деньги для себя и своей семьи что-либо из одежды, белья, обуви и других вещей личного и домашнего обихода. Учитывая высокую стоимость

промышленных товаров, колхозник может приобрести на вырученную им сумму очень немногое, лишь какую-нибудь мелочь. Поэтому колхозники, как и всё прочее население страны (не считая, конечно, власть имущих и их окружения), по сей день испытывают хроническую нужду буквально во всем необходимом.

Надо еще сказать, что председателем колхоза может быть только коммунист. А выдача разрешений на поездку на базар зависит всецело от председателя колхоза. К тому же, часто совершать такие поездки колхозник не имеет возможности, ибо это разрешено только в свободные от работы дни; эти же дни весьма ограничены. Кроме того, у колхозника очень немного «излишней продукции», каковую он может без ущерба для себя и своей семьи реализовать на базаре. Такова эта колхозная торговля.

***

Советская торговая система, это — *фундамент* советского государственного здания. Если МВД-МГБ является бдительным оком по охране советской власти, то советская торговля — *кормилица* государства (не населения). Сам «великий вождь и отец народов» назвал советскую торговлю *«нашим родным большевистским делом»*. Что же может прибавить к этим мудрым словам «великого гения всех времен» бывший скромный работник советской торговой системы?

Гр. Гурджиян.

КОММЕНТАРИИ

1. По поводу американских выборов

Я не собираюсь анализировать ни хода американской избирательной кампании, ни причин республиканской победы, так как всё, что об этом можно было сказать, как будто уже сказано в бесчисленных статьях, появившихся в американской и европейской прессе. Вот почему я пишу не о выборах, а по поводу выборов. Задача моя заключается в том, чтобы попытаться формулировать некоторые мысли, вызванные во мне не столько самими выборами, сколько реакцией на выборы — американской и иностранной.

За свое многолетнее пребывание в Соединенных Штатах я имел возможность наблюдать девять президентских избирательных кампаний, от 1920 до 1952 года включительно. Кажется, я не ошибусь, если скажу, что по своей эмоциональной напряженности кампания этого года далеко превзошла все предыдущие, какие я наблюдал. При всей драматичности кампании 1920 года, когда на смену уже безнадежно больного Вильсона к власти пришли республиканцы и Америка повернулась спиною к Лиге Наций, или кампании 1928 года, всколыхнувшей религиозные предубеждения против кандидата-католика (Смита), или, наконец, кампании 1932 года, проходившей на фоне жестокого экономического кризиса, — ни в одной из них, если моя память меня не обманывает, не было такой страстности в предвыборной борьбе между кандидатами и такого напряженного отношения к выборам со стороны избирателей. Едва ли приходится этому очень удивляться, если вспомнить о той напряженной атмосфере, в которой живет сейчас весь мир, и о той, ранее не существовавшей, тесной связи, которая установилась за последние годы между внутренне-политической жизнью Америки и международным положением.

Этим же в значительной мере объясняется и характер реакции на результаты выборов как в самой Америке, так и заграницей — реакции со стороны тех, кто предпочел бы видеть на президентском посту Стивенсона, а не Айзенхауэра. Ко-

нечно, и на этот раз, по похвальной американской привычке, шпаги были вложены обратно в ножны, как только избирательная борьба кончилась, побежденные принесли поздравления и пожелания успеха победителям, и страна в целом стала быстро отходить от многомесячной выборной лихорадки. Но всё же еще и сейчас, почти два месяца после выборов, можно встретить сторонников Стивенсона, до сих пор ошеломленных его поражением и удрученных победой Айзенхауэра. И до сих пор еще можно слышать разговоры о «конце эпохи», о «торжестве реакции» (в Англии Бэван, как известно, не обинуясь заявил о начале реакции во всем мире!) и даже о «катастрофе».

Всего удивительнее, что результат выборов многими был воспринят, как нечто совершенно неожиданное и почти невероятное. А между тем произошло ничто иное, как нормальная смена правительства в стране, политическая жизнь которой построена на двухпартийной системе. Демократы были у власти в течение двадцати лет (из которых, вопреки американской традиции, в течение двенадцати лет у власти был один и тот же президент — Рузвельт), и уже скорее было бы ненормальным, если бы власть их была продлена еще на один четырехлетний срок. Во всяком случае, с демократической точки зрения это едва ли было бы желательным. «Всякая власть развращает», говорил английский историк лорд Актон. С этим можно соглашаться или не соглашаться, но едва ли можно сомневаться в том, что длительное и неугрожаемое пользование властью ослабляет чувство ответственности, так же, как ослабляет его длительное пребывание в оппозиции, без надежды на приход к власти в более или менее близком будущем. К этому надо прибавить еще действие некоторых специфических особенностей американской политической жизни. Сила партийного аппарата и его интимная связь с правительством, в соединении с системой политического патронажа, при длительном пребывании одной и той же партии у власти могут создать некоторую угрозу для нормального функционирования демократического государственного строя.

Не приходится поэтому удивляться той притягательной силе, которую повидимому имел республиканский избирательный лозунг — «настало время для перемены». Естественно также, что накопившиеся в стране элементы недовольства (а для него, при всем сравнительном благополучии Америки, всё-таки были некоторые основания) были направлены против партии, так долго бывшей у власти и неизбежно несущей ответственность за ошибки и неудачи как во внутренней, так и во

внешней политике. Столь же естественной была и готовность со стороны большинства избирателей дать возможность республиканцам показать, могут ли они улучшить положение. Повторяю, всё это не только естественно, но именно в демократии должно расцениваться как явление здоровое и положительное. Сомневаться в этом можно только в том случае, если стать на точку зрения демократических ораторов, утверждавших во время избирательной кампании, что только их партия есть партия прогресса, а республиканская партия всегда была, есть и будет партией реакции. Это отождествление одной партии с добром, а другой со злом, возведение временных и местных политических организаций на степень своего рода метафизических сил, вроде Ормузда и Аримана, есть, конечно, политический миф, не находящий себе подтверждения ни в историческом опыте, ни в современном положении. Если бы принять это утверждение всерьез, то Америке оставалось бы только перейти к однопартийной системе и навсегда обеспечить демократам монополию власти!

Избрание Айзенхауэра не означает, конечно, ни конца исторической эпохи, ни катастрофы. Никаких потрясений или даже радикальных изменений в политической и социально-экономической жизни Америки приход республиканцев к власти не принесет, как не принесла их для Англии замена рабочего правительства консервативным. Нельзя ожидать и каких-нибудь радикальных перемен в области американской внешней политики. И то, и другое — и социально-экономическое законодательство внутри страны, и основные линии американской дипломатии — в значительной мере определяются объективными условиями, считаться с которыми приходится всякому американскому правительству, является ли оно демократическим или республиканским. Будут перемены в «расстановке ударений» и в распределении «оттенков». Будут попытки подойти к решению тех же проблем, в том же общем духе и с теми же целями, но иными методами и — в некоторых случаях — в иной очереди и иными темпами. И поскольку политика всегда и во всех случаях, даже и в эпохи кризисов, остается «искусством возможного», областью эмпирического и относительного, а не метафизикой, для разговоров о «катастрофе» нет решительно никаких оснований. Напротив, остаются основания для того, чтобы, не впадая в излишний оптимизм, надеяться на существенное улучшение и во внутренне-политическом и в международном положении страны.

Очень показательны те разнообразные мотивы, по кото-

рым противники Айзенхауэра боялись его прихода к власти и которые в некоторых кругах остались в силе и сейчас, после его избрания. Уже то обстоятельство, что Айзенхауэр был профессиональным военным, казалось многим угрожающим. К сомнениям насчет способности «генерала» разобраться в государственных делах и его осведомленности в этой области присоединялись опасения по части его «милитаризма». Странным образом те, кого смущал генеральский чин Айзенхауэра, забывали о том, что генералами были не только оказавшийся неудачным президентом Грант, но и такие выдающиеся президенты как Вашингтон и Джаксон. Но и независимо от личных достоинств того или иного американского президента из генералов этот страх перед возможной милитаризацией американской политической жизни игнорирует отсутствие в Америке благоприятной почвы для такого развития. Американская армия всегда была глубоко гражданской по духу. Ничего подобного военной касте, со своим, резко отличным от гражданского, кодексом чести, с прочно укорененными профессиональными традициями и с сознанием своего исключительного положения, в Америке никогда не было и быть не могло. До самого последнего времени в Америке, в сущности, не было даже регулярной армии, и на всю страну была одна единственная школа для профессиональных армейских офицеров, кстати остающаяся единственной и сейчас. Даже и в наши дни, когда Америке поневоле пришлось вооружиться и ввести нечто вроде всеобщей воинской повинности, нет никаких признаков, чтобы это вело к психологической милитаризации и к утрате армией ее традиционного гражданского духа. Айзенхауэр — один из выдающихся представителей этой военно-гражданской традиции, и в этом отношении именно он, а не Мак-Артур, является типичным американским генералом.

В некоторой связи с генеральством Айзенхауэра находились и те опасения, которые высказывались насчет его намерений в области внешней политики. Здесь, однако, его одновременно подозревали в двух противоположных, но одинаково вредных, тенденциях. С одной стороны, боялись, что он, как военный, будет склонен «рубить с плеча» и вовлечет Америку и ее союзников в опасную военно-политическую авантюру. Повидимому, этого особенно боялись в некоторых европейских кругах, где Америку критиковали за авантюризм еще до того, как Айзенхауэр стал кандидатом в президенты, и где нередко политику большего страха (психологически вполне понятного) выдают (и это уже незаконно) за политику большей мудрости.

Только в свете этой психологии можно понять ту несколько паническую реакцию, которую вызвали предвыборные заявления Айзенхауэра о необходимости стремиться к освобождению восточной Европы от коммунистического господства и о его намерении поехать в Корею. Между тем, можно ли оспаривать утверждение, что прочный мир не может быть обеспечен до тех пор, пока восточная Европа (добавлю от себя, и Россия) не будет освобождена от коммунистического господства, и что к этой конечной цели должны быть направлены политические усилия западного мира в не ими начатом мировом конфликте? Странно было бы требовать от Айзенхауэра, чтобы он тут же публично изложил те конкретные меры, которые он имеет в виду для приближения к этой цели. И уже, конечно, никаких оснований не было для того, чтобы истолковать его заявление, как программу немедленного военного похода против советской России. В искренности его не раз выраженного желания сделать всё возможное, чтобы избежать ужасов новой мировой войны, сомневаться по-моему не приходится. Критиковать же Айзенхауэра, исходя из неизбежности альтернативы: война или капитуляция перед коммунистической агрессией, значит становиться, по существу, на пораженческую позицию. Что касается поездки в Корею, то она, как известно, уже состоялась, и из характера и тона сделанных Айзенхауэром заявлений не видно, чтобы и на Дальнем Востоке он был готов пуститься в какую-нибудь авантюру. Вместе с тем совершенно ясно, что надо искать какие-то новые пути для выхода из корейского тупика.

С другой стороны, Айзенхауэра подозревали и в наклонности к изоляционизму — вопреки всему, что было известно о его взглядах и деятельности. В этом случае единственным основанием было его избирательное соглашение с Тафтом, явление, с точки зрения политической практики, вполне обыденное, но раздутое оппозицией до размеров «капитуляции» и «измены всему своему прошлому». Что Айзенхауэр не сделался «пленником Тафта», как это утверждали во время выборов демократы и чему, повидимому, поверили многие в Европе, было доказано вскоре после выборов, когда Айзенхауэр, составляя свой кабинет, не включил в него ни одного рекомендованного Тафтом кандидата и отдал явное предпочтение «интернационалистскому» крылу республиканской партии. Но и без того — можно было бы наперед признать все страхи на этот счет необоснованными. Изоляционизма, как организованной силы или как господствующего настроения, в Америке

больше нет, и даже самого Тафта едва ли можно назвать сейчас изоляционистом без весьма существенных оговорок.

«Зловещая» для многих фигура Тафта мерещилась за спиною Айзенхауэра и тогда, когда речь шла о внутренней политике будущего республиканского правительства. Предполагалось, что «сдавшись в плен» Тафту, Айзенхауэр пойдет по пути реакционной социально-экономической политики и сделается «врагом рабочего класса». Теперь уже известно, что Айзенхауэр не побоялся вызвать осуждение со стороны Тафта, пригласив в качестве министра труда одного из видных деятелей профессиональных союзов. Нет оснований сомневаться в том, что он исполнит свое предвыборное обещание о пересмотре того, носящего имя Тафта, закона, который регулирует деятельность этих рабочих организаций. Да и сам Тафт, повидимому, не будет возражать против частичного пересмотра закона.

Для многих представителей американской интеллигенции еще более неприемлемым, чем соглашение с Тафтом, был отказ Айзенхауэра дезавуировать сенатора Мак-Карти. Должен сказать, что я лично считаю это большой ошибкой со стороны Айзенхауэра. Как показали выборы, в поддержке Мак-Карти Айзенхауэр не нуждался: в штате самого Мак-Карти, где тот почему-то пользуется значительной популярностью, Айзенхауэр прошел гораздо большим числом голосов чем Мак-Карти; в национальном же масштабе, несмотря на производимую им сенсацию, Мак-Карти не может быть признан влиятельной или популярной фигурой. Вместе с тем то, что Айзенхауэр не отгородился от демагогической и нечистоплотной по приемам кампании Мак-Карти по обличению неблагонадежных элементов, нанесло некоторый моральный ущерб его престижу. Но от признания этого факта еще очень далеко до истерических утверждений, что избирательный союз Айзенхауэра с Мак-Карти означает вступление Америки на путь, ведущий к фашизму. Во всех вещах надо знать меру. А не знают ее в этом вопросе не одни левые американские интеллигенты. Никто иной как знаменитый английский философ Бертран Россель объявил в начале этого года, что в Америке наблюдается «царство террора». Между проявлениями «мак-картизма» в сегодняшней Америке и фашизмом или «царством террора» — «дистанция огромного размера», и можно быть уверенным, что эта дистанция не уменьшится и в дальнейшем.

Думаю даже, что при республиканской администрации она увеличится. Мак-Карти пользовался своей обличительной кам-

панией главным образом как орудием для нападок на демократическое правительство, якобы укрывавшее коммунистов. Против нового республиканского правительства он таких обвинений выдвигать не сможет. Надо надеяться, что это правительство сумеет найти надлежащие и достойные методы борьбы с коммунистической инфильтрацией, не нарушая ни гражданских свобод, ни принятых в Америке правовых норм, ни, наконец, прав и законных интересов отдельных общественных групп и частных лиц. При выполнении этой задачи правительству придется отмежеваться от Мак-Карти — прежде всего из чисто практических соображений. За последнее время американские газеты (далеко не «левого» направления) много писали о той дезорганизации и деморализации, которую кампания Мак-Карти и других, сходных с ним, «обличителей» внесла в американское дипломатическое ведомство. Не может правительство остаться равнодушным и к тому, как эксцессы этой кампании воспринимаются общественным мнением не только в Америке, но и, главным образом, заграницей.

Главное зло, производимое Мак-Карти и его сподвижниками, заключается в том, что своей тактикой огульных обвинений, смешения виновных с невиновными, объединения под одной рубрикой преступных деяний с высказываниями ошибочных, но по своим мотивам честных мнений, они в конечном счете затрудняют, а не облегчают борьбу с коммунистической инфильтрацией. Они отталкивают от себя тех, кто хотел бы и мог бы вести эту борьбу, но воздерживается из боязни оказаться повинным в «мак-картизме». Они создают психологическую атмосферу, при которой даже, когда им удается обличить настоящих коммунистических агентов, многие им не верят из отвращения к их неразборчивым методам. Самого факта коммунистической инфильтрации отрицать, конечно, нельзя. Бессмысленно говорить об «истерике», когда указывают на необходимость с этой инфильтрацией бороться. И было бы непростительным легкомыслием отнестись к соответствующим заявлениям республиканских кандидатов, как к простой предвыборной агитации, расчитанной на уловление голосов. Это очень реальная и очень серьезная задача. Выполнить ее новому правительству будет легче чем старому — не потому, чтобы уходящее демократическое правительство действительно покрывало коммунистов и попутчиков, чего, конечно, не было, а потому, что оно преемственно слишком связано с той атмосферой военного времени, в которой не только процветали политические иллюзии, но и множились бациллы попутничества.

В этом деле новому правительству будут верить больше, чем старому, и, опираясь на общественное доверие, оно сможет вести борьбу с врагами американской демократии — помимо Мак-Карти и даже вопреки Мак-Карти и «мак-картизму».

Все затронутые мною до сих пор явления интересуют меня не только сами по себе, но и в связи с давно занимающим меня вопросом о роли «мифологии» в политической жизни современного мира. Выше я уже указал один образец политического мифа: отождествление своей партии с историческим прогрессом, понимаемым, как добро, и партии противников с реакцией, понимаемой, как зло. Дело здесь, конечно, не в том, что каждая партия считает свою программу и политику правильной, а программу и политику своих противников неправильной, что вполне естественно и законно. Мифология начинается тогда, когда политические понятия абсолютизируются, когда партия начинает ощущать себя как провиденциальное орудие добра и истины, т. е. начинает претендовать на непогрешимость, отрицая в то же время для своих противников возможность быть правыми когда-либо и в каком бы то ни было отношении. Политика и программа любой партии могут быть правильными только в относительном и частичном смысле: в данный исторический момент, в конкретных условиях и в применении к конкретным задачам. Всякая тенденция к тотальности искажает нормальное значение партии: партия, как показывает уже сама этимология этого слова, всегда есть только часть (pars), только одна сторона общественно-политического целого, и логический прием подставления части вместо целого (pars pro toto) в политике всегда незаконен. Также незаконно и стремление партии к перманентности, забвение партией своего неизбежно временного характера. Исторический момент, условия, задачи — всё это величины не постоянные, а переменные и иногда изменяющиеся очень быстро. Партия, которая для исторического «сегодня» является важной и полезной, «завтра» может стать неважной и бесполезной и должна быть готова к тому, чтобы на время уступить свое место другой партии, более отвечающей нуждам момента.

Характерно также для многих кругов, традиционно считающихся «левыми», то отождествление консерватизма с реакцией, которое так широко применялось по отношению к республиканцам во время американской избирательной кампании. Как известно, ни одна из двух главных американских партий не является монолитной; и та и другая включают в себя и «либералов» и «консерваторов». Но в общем можно признать,

что республиканская партия более «консервативна», а демократическая — более «прогрессивна». Но почему применять ко всяким консерваторам давно уже ставшую резко отрицательной кличку «реакционеров» и отрицать за консерватизмом право на законное существование? В основе этого отношения лежит другой политический миф — миф о непрерывном и прямолинейном прогрессе, казалось бы достаточно разоблаченный всем историческим опытом, в особенности же опытом нашей эпохи, и всё же остающийся очень живучим. К этому надо добавить, что в мифологическом истолковании прогресса всё новое почти бессознательно воспринимается как хорошее, а всё старое как плохое. Между тем на наших глазах на мир надвинулось так много нового, и притом чудовищного, зла и одновременно было разрушено так много старых, но не утративших своего положительного значения ценностей, что казалось бы для этой утешительной иллюзии не осталось никакой почвы. Усилия свободного от коммунистической тирании мира в значительной мере направлены сейчас к тому, чтобы сохранить те положительные старые ценности, которым эта тирания угрожает. Нет более важной и более почетной задачи, а ведь и по существу, и по точному смыслу определяющего ее слова (сохранять — conservare) это и есть задача консервативная. Это не значит, конечно, что эти старые ценности не надо обновлять или что можно не считаться с происходящими в мире изменениями, но правильно понятый консерватизм нисколько не исключает такого обновления, как не исключает он и необходимых реформ. Можно было бы привести ряд примеров из европейской истории нового времени, когда именно консерваторы проводили существенные политические и социальные реформы: ограничусь указанием на Дизраэли, Бисмарка и русских государственных деятелей эпохи Александра II.

Не только в эпохи кризиса, подобного тому, который мы сейчас переживаем, но и в более нормальные времена человеческое общество не может идти вперед ускоренным темпом радикальных изменений, от одной новизны к другой, без всяких передышек. Передышки нужны не только для психологической стабильности, но и для того, чтобы подвести итог общественно-политическим достижениям, закрепить уже достигнутое, проверить результат произведенных экспериментов и исправить обнаружившиеся на практике ошибки. На смену эпохи реформ приходит тогда эпоха по существу консервативная. И та, и другая составляют необходимые элементы прогресса. Можно при-

менить к историческому процессу в целом ту, изумительную по сжатости и точности политическую формулу, с помощью которой Пушкин определил английскую двухпалатную систему (в «Послании к вельможе»):

«Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,
Пружины смелые гражданственности новой».

Не только в пространстве, как у Пушкина, но и во времени, как в истории, «натиск» и «отпор» чередуются и должны чередоваться как непременное условие здорового общественно-политического развития.

Я знаю, что борьба с политической мифологией может показаться делом безнадежным. С легкой руки Сореля идея об огромном значении мифов в человеческой истории приобрела большую популярность, и на эту тему написано немало научных книг и статей. Если брать эту идею как простое констатирование фактов, то с ней трудно не согласиться. Можно понять и то, почему практические политики, иногда даже без всяких теорий, дорожат политическими мифами из соображений прагматического характера: мифы порождают энтузиазм, а без энтузиазма нельзя поднять на действие народные массы или хотя бы пробудить в них надлежащий интерес к политике. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что вытравить из политики эмоциональные элементы, сделать ее областью спокойного делового подхода, при настоящем состоянии человеческой психики невозможно, а может быть и навсегда останется невозможным. И всё же, если политика есть не только поле столкновения эмоционально воспринимаемых интересов и стихийных страстей, если она, в другом, более узком смысле, означает также организованные и целеустремленные усилия со стороны ответственных политических деятелей, то не должны ли эти деятели — и в первую очередь деятели демократических стран — стремиться к тому, чтобы подчинить эмоции контролю разума, чтобы не соблазняться самим и не соблазнять других политическими мифами, предоставив мифотворчество таким мастерам этого дела, как вожди тоталитарных режимов?

2. Еще о «цене революции»

В предыдущих своих комментариях я писал о книге английского историка Брогана, посвященной вопросу о «цене революции». Мне хочется вернуться к этому вопросу в связи с некоторыми откликами, вызванными моей статьей и прежде

всего в связи с отзывом о 29-ой книге «Нового Журнала», появившемся в № 4 «Литературного Современника» за подписью Юрия Большухина. Рецензент этот пишет между прочим следующее: «...понятие революции всё же не равнозначно всенародному бедствию... народ, заплативший страшную цену за большевистский октябрь, возможно, заплатит недешево и за свободу, — но тогда он не останется в убытке!» Замечание вполне естественное и вынуждающее меня уточнить свою точку зрения. Прежде всего хочу отметить, что Броган не отрицает возможности таких случаев, когда революция становится неизбежной. Его нападение направлено на ту психологию, при которой революция рассматривается как «нормальное средство и благожелательная панацея», а не как «последняя и отчаянная попытка» найти выход из положения. За этой психологией он правильно видит неспособность понять «с какой трудностью был достигнут тот уровень порядка, свободы и достойных условий жизни, который мы сейчас защищаем и который так легко потерять». Его рассуждения по этому поводу очень напоминают знаменитые письма Герцена «К старому товарищу» (Бакунину), где Герцен заявлял, что не верит больше в революционные пути и старается «понять шаг людской в былом и настоящем для того, чтобы знать как идти с ним в ногу». Конкретно это значит — не взывать к революции пока эволюционные шансы имеются налицо, пока для революции нет последней крайней необходимости.

Можно, поэтому, идя в данном случае за Лениным, который делал такое же различие между войнами, говорить о революциях «законных» и «незаконных». То обстоятельство, что, как утверждал недавно М. В. Вишняк[1], все подлинные революции случаются «стихийно, неожиданно», препятствием к такому различению служить не может. Во-первых, полностью стихийных революций всё-таки не бывает (я вижу, что и М. В. Вишняк берет слово «случаются» в кавычки) — также, как не бывает и революций, целиком разыгранных по нотам. Во-вторых, независимо от того, была ли данная революция «стихийной» или «подготовленной», она одинаково может быть оцениваема с точки зрения ее исторической оправданности. Можно, например, — а на мой взгляд даже и должно — ставить вопрос о том, была ли исторически оправдана французская революция 18-го века или русская революция 1917 года, и в том и в другом случае с двух точек зрения: 1) была ли революция «неиз-

[1] См. его статью в кн. 30-й «Нового Журнала».

бежна» в смысле единственного возможного выхода из назревшего в стране кризиса или в наличии были достаточные данные для решения основных проблем эволюционным способом, и 2) была ли цена революции оправдана теми положительными результатами, достижение которых она сделала возможным. Там, где режим носит предельно деспотический характер, не оставляя никаких возможностей для эволюционного развития и где его длительное существование имеет явно гибельные для страны последствия, вопрос о «законности революции» ставить не приходится. Сталинская деспотия, конечно, целиком подходит под эту категорию. Но тут возникает другой вопрос: о фактической возможности революции в условиях современного тоталитарного режима — без мощного удара по этому режиму извне, т. е., конкретно говоря, его решительного поражения в войне. Вопрос этот очень сложен, можно сказать трагически сложен, и обсуждать его в пределах этой статьи я не собираюсь. Скажу только, что во многих русских эмигрантских кругах он часто решается с излишней легкостью и прямолинейностью. В основе такого отношения лежит преувеличенная оценка значения самого факта широко разлитого и острого народного недовольства, направленного против режима. Но для того, чтобы это недовольство могло стать действенным фактором, всё-таки нужно наличие каких-то возможностей для его внешнего проявления и организационного оформления, а именно эти возможности в тоталитарном режиме сведены до минимума. Недавно меня поразило прочтенное мною где-то замечание, что революции удаются только в тех случаях, когда по существу они уже больше ненужны. В такой категорической форме утверждение это может быть признано спорным, но бесспорным остается исторический факт, что все большие революции нового времени (английская, французская, русская) произошли в моменты роста, а не убыли свободы и в условиях общего культурного и социально-экономического подъема страны.

Во всяком случае, одно надо помнить твердо: в положительном смысле, революция, как и война, сама по себе еще ничего не решает (напоминаю, что я употребляю термин «революция» для обозначения насильственного метода политических действий). Она может разбить оковы, устранить препятствия, стоящие на пути свободного народного творчества, но само это творчество, иными словами, создание положительных ценностей требует эволюционных, а не революционных методов. Вот почему революция, как метод

действий может быть успешной только как революция политическая — как устранение устарелой или вообще негодной формы правления. Такое устранение может быть произведено насильственным способом, но нельзя насильственно разрешить ни экономические, ни социальные, ни культурно-психологические проблемы — ни даже политические проблемы в их положительном содержании. Поэтому такие выражения как «социальная революция», «экономическая революция», «культурная революция» и т. п. основаны в сущности на недоразумении, заключающемся в смешении революции как метода действий с ее результатами, и притом не прямыми, а косвенными. Иными словами, в лучшем случае революция лишь открывает новые возможности для положительного творчества, но для реализации этих возможностей нет иного пути кроме эволюционного. На смешении того и другого построен весь тоталитарный замысел, в котором делается попытка насилием создать новый экономический и социальный строй, новую цивилизацию и даже нового человека. Но именно поэтому он и дает результаты, с нашей точки зрения катастрофически неудачные.

От некоторых из моих читателей я слышал и другое возражение, направленное против моей сочувственной оценки мыслей Брогана. Мне говорят, что Броган ломится в открытую дверь, когда он, обращаясь к некоммунистическому миру, нападает на представление о революции как о «нормальном средстве и благодетельной панацее». За пределами коммунистического лагеря, в мире будто бы не осталось фанатиков и энтузиастов революции, причем это отхождение от революционной романтики имеет за собой уже почтенную давность. Думаю, что в правильности таких утверждений позволительно усомниться. Много десятилетий тому назад Жорес назвал революцию «варварской формой прогресса». Слова эти часто цитировались, но боюсь, что при всем огромном авторитете Жореса в социалистических и демократических кругах его времени, заключенное в них предупреждение не произвело достаточно сильного впечатления. Даже немецкая социал-демократия конца 19-го и начала 20-го века, жившая и в значительной мере думавшая по Эдуарду Бернштейну, всё-таки не сочла возможным открыто отказаться от концепции социальной революции, фактически ставшей для нее совершенно ненужной.

О живучести мифа о революции в современной Франции не так давно писал один из самых вдумчивых французских

публицистов Раймон Арон[2]. Именно продолжающемуся влиянию этого мифа приписывает Арон то двусмысленное отношение к коммунистической опасности, которое обнаруживают так называемые «нейтралисты» из числа французских интеллигентов. А миф о революции неразрывно связан во Франции с тоже достаточно живучей якобинской традицией. В свете того, что мы знаем о якобинцах, сочувственные ссылки на эту традицию со стороны антикоммунистов представляются политической бессмыслицей. Броган совершенно прав, когда он утверждает, что единственными законными наследниками якобинцев являются именно коммунисты. При этом, как указывает Броган, коммунистам было особенно легко воспользоваться этим наследством в силу того обстоятельства, что в течение целого столетия французских рабочих усиленно питали романтическими легендами о якобинской революции. Так и случилось, что «призраки 93 года были снова вызваны к жизни, и на этот раз их заставили маршировать под знаком серпа и молота».

Живуча была революционная романтика и у нас в России. Она сыграла немалую роль в событиях 1917 года, не исчезла она и после этого. Недавно я перечел изданную в 1934 году книгу покойного В. М. Чернова о февральской революции («Рождение революционной России»). В ней есть места, как будто продиктованные политическим реализмом; автор открещивается от «наивного революционного пафоса былых эпох, которым революция и революционная работа представлялись окруженными сплошным неземным сиянием». Но тут же рядом мы находим своего рода гимн революции, под которым мог бы подписаться и Мишле: «Одних восторгая, других настораживая, третьих ужасая; в одних зарождал слепую ненависть, в других — такой же слепой энтузиазм, в третьих тревогу углубленной мысли — память о революционной эпохе острым клином врезается в жизнь народа, вдыхая в ее серые будни веяние Духа. Так было, так будет — это дает соприкосновение с Великим». В этих словах заключается прямое оправдание революционного мифа.

Революционный романтизм неизбежно связан с максимализмом и по отношению к максимализму русской революции мы находим у В. М. Чернова такое же двойственное отношение. Он признает его слабость в практическом отношении, говорит, что «безудержная сила отталкивания от прошлого тянет здесь

---

[2] См. его статью в американском еженедельнике New Leader от 25.II.1952.

к разрубанию гордиевых узлов политики и экономики даже тогда, когда их можно было бы и просто развязать» (курсив мой **М. К.**), но это не мешает его главе о «духе русской революции» в целом быть апологией максимализма, о силе которого он говорит с большим воодушевлением. Так, «потрясать умы и сердца может только идея, без страха идущая до самых крайних своих логических последствий». В «чистом горном воздухе» теоретического максимализма «развивается несгибаемая воля, которой душно и тесно в долинах». Обитателям этих горных вершин противопоставляются жители долин, которые «без головокружения не могут и представить себе крутизны отвесов между двух бездн — бездной верха и бездной низа». На этих страницах живет дух горьковского «Буревестника», и при чтении их вспоминается горьковское «рожденный ползать летать не может»!

В соответствии с этой революционно-романтической установкой В. М. Чернов сурово осуждает русских политических деятелей умеренного направления за их боязнь революции, хотя последующий исторический опыт как будто показал с достаточной убедительностью, что было чего бояться. Февральская революция, по известному признанию Ленина, сделавшая Россию самой свободной страной в мире, представляется В. М. Чернову революцией «поверхностной» и «фасадной», «революцией без подлинно-революционных последствий». Именно с этой точки зрения критикует В. М. Чернов Временное Правительство за недостаточный радикализм. «Возглавить революцию — говорит он — может лишь такое правительство, которое идет впереди ее». Под революцией здесь несомненно имеется в виду стихийная народная революция, дух которой, по утверждению самого В. М. Чернова, был духом максимализма. Идти впереди такой революции, не уступая духу максимализма, явно невозможно. Правда, В. М. Чернов признает, что одной из главных задач ответственных участников революции является «очищение ее от так называемых революционных эксцессов», но ведь помимо эксцессов физического насилия бывают еще эксцессы мысли и чувства, выражающиеся в преувеличенных надеждах и непомерных требованиях, т. е. как раз в максимализме. Как это ни парадоксально, но на ответственных участников революции выпадает поэтому задача борьбы с этим духом революции. А между тем для представителей русской «революционной демократии» 1917 года была в значительной мере характерна тенденция к «углублению революции». При наличии широко разлитой и динамической рево-

люционной стихии, — а в наличии ее в России 1917 года едва ли кто станет сомневаться — «углубление революции» представляется поистине ненужным и вместе с тем опасным занятием. В силу самой своей природы, революционная стихия неизбежно стремится к безостановочному расширению и углублению, так что заботиться, казалось бы приходится только о том, как бы ее сузить, пока она не перехлестнула через пределы исторически возможного и как бы не дать ей углубиться — до бездны.

М. Карпович

КУДА ИДЕТ ИЗРАИЛЬ?

ГОРЬКАЯ ПОБЕДА

Если считать возникновение Еврейского Государства у подножия Сиона победой сионизма, то надо сказать, что это г о р ь к а я п о б е д а, плоды которой ни чем не напоминают первоначального замысла.

Сионизм хотел п р е д о т в р а т и т ь смерть миллионов; вместо того он построил государство на пепле их костей. Санкция Объединенных Наций пришла после катастрофы, подобной которой не видел мир. Никакие цифры не дают о ней представления. Статистически шесть миллионов жертв составляют несколько более трети еврейского народа, но в действительности эти шесть миллионов представляли центральное ядро, живую сердцевину, невознаградимый резервуар народных сил и энергии. Потери ничто не может возместить. Народ, который мы продолжаем называть еврейским, после гитлеровского погрома и той кастрации духа, которая десятки лет происходит в Советской России, — не тот еврейский народ, который знали и к которому обращались основатели сионизма. Того народа больше нет.

Сионизм стремился к мирному разрешению еврейской проблемы. Вместо этого он привел к военному столкновению и бегству сотен тысяч арабов из их городов и деревень. Ответственность за это трагическое развитие так же мало падает на сионизм, как и ответственность за катастрофу Диаспоры. Тем не менее это тот фон, на котором мы сегодня должны рассматривать проблемы нового государства.

Сионизм стремился к нормализации жизни еврейского народа. Его основоположники не были мистиками; они хотели вывести народ из неестественного и вечного напряжения, вернуть ему душевный покой и чувство безопасности в границах исторической родины: «быть как все народы». И вот, с первого дня независимости, Израиль не как все народы. Старое проклятие следует за ним по пятам. Границы Еврейского Государства — границы ненависти; мира нет; все без исключения пограничные государства бойкотируют Израиль

и желают ему гибели, как если бы Гитлер воскрес на его рубежах. Из среды руководителей арабской политики вышло страшное слово: «Израиль — гвоздь в сердце Ислама». Это страшное слово, потому что, если оно правда, то Ислам должен умереть, или Израиль должен быть вырван с корнем; — но если оно неправда, то люди провозгласившие эту ложную альтернативу, такие же преступники, как те, кто эту альтернативу поставили в отношении между еврейским и немецким народами.

Отрыв от исторического Иерусалима — кровоточащая рана. Требование интернационализации религиозной и национальной столицы еврейского народа Объединенными Нациями и Католической Церковью — показывает, как глубоко равнодушен западный мир к тому, что составляет самую основу еврейского национального сознания, к тому, без чего самое возникновение сионизма было бы невозможно. В таком требовании выражается незнание или игнорирование того, что делает еврея евреем. Есть нации, которые признали Израиль «де факто» после того, как евреи создали эти «факты»; и признали «де юре», когда оказалось уместным дать этим фактам международную санкцию. Но за пределы тех завоеваний, которые евреи вырвали силой, не вышло никакое признание. Это прямая противоположность первоначальной концепции сионизма — концепции Герцля и Жаботинского — которая требовала признания прав еврейского народа, как предварительного условия мирной и творческой работы на родине — которая верила, что такое признание возможно, верила в мировой акт справедливости и благожелательности.

Чего же достигли сионисты? Граница Израиля находится фактически в каждом пункте страны: парламент в нескольких стах метров от цитадели врага, Тель-Авив в 17 километрах от границы Иордании. С горы Кармель над Хайфой видно границу простым глазом. Это именно и есть та ситуация, которую сионизм хотел устранить, так как еврейское существование в краях Диаспоры было вечным существованием «на границе», — со всем внутренним напряжением и внешним риском, который приносит подобная ситуация. Израиль наших дней — осажденная крепость, обитатели которой живут в ненормальных условиях внешнего давления и вечной угрозы, зорко наблюдая за движениями врага.

Экономика Израиля продолжает оставаться ненормальной. Это единственное государство мира, регулярно ввозящее в несколько раз больше, чем вывозит, и потребляющее больше, чем производит. Для каждого «обыкновенного» народа

это быстрая дорога к банкротству и катастрофе, но Израиль имеет огромные ресурсы вне пределов государства, использование которых, однако, целиком зависит от эмоциональных мотивов не-израильских граждан и доброй воли иностранных правительств, в первую очередь Соединенных Штатов Америки.

Всё вместе приводит нас к заключению, что до действительной победы сионизма еще очень далеко. Поколение, которое пережило газовые камеры Гитлера и сталинский погром еврейской жизни, не имеет права говорить о «победе». День объявления независимости 14 мая 1948 года был днем торжества и ликования для еврейских масс во всем мире — и днем печали и траура для всех тех, кто понимал, как далеко реализация сионистской идеи отошла от цели. Если бы Герцль мог подняться из своего гроба на высоте, господствующей над Иерусалимом, и посмотреть, что сталось с еврейским народом за полвека, прошедшие с его смерти, — кто знает, не разбилось ли бы его сердце снова не от гордой радости триумфа, а от жестокого потрясения и разочарования при виде горькой победы его дела.

ФОРПОСТ ЕВРОПЫ

«Мединат Исраэль» в настоящей стадии развития — рискованный исторический эксперимент, судьба которого в равной степени зависит от энергии и присутствия духа мирового сионистского движения, — и от того, как сложится мировая историческая ситуация.

Существование этого государства не только не обеспечено и не подразумевается само собой, в том смысле, как это верно по отношению к любому народу, живущему на своей национальной территории, но и полно смертельной опасности. Сионизм играет «ва-банк»: в его опасной игре ставкой является жизнь и смерть еврейского народа. Здесь — последний исторический шанс рассеянных еврейских масс удержаться в мировой истории. Существует продиктованная отчаянием теория, что единственное спасение евреев в деконцентрации, в рассеянии, когда после каждого удара в одном месте еще сохраняется что-то в другом. Сионизм концентрирует все жизненные силы, все материальные рессурсы, всю наличную волю к самосохранению в одном пункте. И однако, успех в этой игре, как и во всякой игре, зависит не только от умения, но и от удачи, от судьбы.

Мы находимся в преддверии третьей мировой войны.

Оккупация Советским Союзом Ближнего Востока, хотя бы на период нескольких лет, автоматически положила бы конец существованию Израиля в его гебраической и сионистской форме. Большевикам достаточно было бы применить к Израилю ту процедуру, какая была ими применена к Эстонии или Латвии, чтобы нанести смертельный удар национальному возрождению еврейского народа. Советизация Израиля означает: во-первых — вывоз из страны в глубь Советской Азии нескольких сот тысяч человек, представляющих весь актив сионистского движения; во-вторых — уравнение в правах иврита с идыш и другими языками Диаспоры, сведение культурных условий в Израиле к тем, которые существуют в Биробиджане или в каком-нибудь еврейском центре в Европейской России; в-третьих — передача власти в руки еврейских и арабских, а в последнем счете русских коммунистов.

Результаты оккупационного режима даже в течение немногих лет были бы непоправимы, ибо евреи Америки и Западной Европы в их теперешнем состоянии не могли бы восстановить утраченных кадров.

Это одна опасность. Другая же грозит со стороны Аравии. Нет ни малейшей надежды, чтобы арабский национализм в Египте, Сирии и других государствах в ближайшее время изменил свое враждебное отношение к Израилю. Наоборот: совершенно очевидно, что это враждебное отношение есть только деталь и часть общей антизападной политики, результаты которой мы видим в Абадане и Суэце. Еврейская колонизация пустыни ощущается мусульманами как вторжение. Еврейский стиль жизни чужд и враждебен феодальному Востоку. Одна и та же иррациональная основа проявляется в отказе от сотрудничества с европейскими силами и интересами в Персии, в Египте и на берегах Иордана, несмотря на выгоды, которые это сотрудничество могло бы принести. В глазах фанатических националистов Востока евреи такие же чужаки, как французы в Сирии или англичане на Суэцком канале.

Как бы мы ни оценивали перспективы будущего развития Израиля, одно ясно: — это форпост Европы, единственный пункт на стыке трех континентов, где, вопреки непрерывному свертыванию европейских позиций в Азии, наблюдается географическое продвижение Европы. Израиль не «американская колония» и не колония вообще. Идейный импульс и жестокая необходимость, которые привели сюда и продолжают привлекать часть еврейского народа, не имеют ничего общего со служением иностранному «империализму»,

и коммунистическая попытка представить сионизм как британскую или американскую агентуру очевидным образом относится к области пропагандных трюков. Сионизм сам по себе нисколько не интересует деятелей Коминформа, рассматривающих весь мир и любое национальное движение исключительно с точки зрения своей политической выгоды. Но арабы, ближайшие соседи промышленного Тель-Авива и социалистического Эмека, знают кое-что об Израиле. Они знают, что это по замыслу такое же европейское государство, как Греция и Италия, Дания и Швейцария.

Когда Нордау на заре сионизма сказал, что «мы идем в Палестину, чтобы расширить границы Европы по Евфрат», ему не приходило в голову, какое бешеное сопротивление может вызвать такая экспансия Европы на Ближнем Востоке. Для него речь шла о том, чтобы разбудить к новой жизни старый народ и погруженную в летаргический сон страну. Для него «расширение границ Европы» было равнозначно торжеству свободы, человечности, прогресса и братства народов. В утопическом романе Герцля «Altneuland» арабы и евреи живут в трогательной дружбе и единении. Но в действительности непредвиденный и косвенный эффект «европеизации» Палестины евреями выразился в том, что она во много раз усилила и ускорила развитие арабского национализма. Впечатление, которое сионизм произвел на арабское общество, было не меньше, а может быть и больше, чем впечатление на рассеянных во всем мире евреев. Но арабская реакция выразилась в формах, которых не ждали пионеры утопического сионизма. На предложение доброго соседства, на проповедь братства народов и объяснение взаимных выгод, арабы ответили убийством известного социалистического писателя Бреннера, выступлением Муфти, погромами, партизанской войной и, под конец, вооруженной интервенцией и экономической блокадой Израиля всеми арабскими государствами.

Сионизм не хотел и не несет ответственности за арабско-еврейский конфликт. Но одно дело конфликт, а другое дело — к о н т р а с т, совершенно очевидный и неоспоримый контраст между теми формами жизни и методами хозяйства, которые евреи принесли в Палестину, и теми, которые они нашли там. Евреи р е в о л ю ц и о н и з и р о в а л и страну. Революция сионизма — революция западная по своему стилю и содержанию. Представление о том, что всё разное есть тем самым и враждебное, т. е. что каждый контраст непременно должен привести к столкновению, есть представление примитивного и дикого ума. Демократия стремится к мирному сосуществова-

нию разного, но демократия сама есть западная и исторически-недавняя идея. Враги демократии во всем мире одновременно являются врагами Израиля. Это, во-первых, кремлевский коммунизм; а, во-вторых , реакционный и нетерпимый арабский комплекс ненависти к Израилю.

Против тезы об Израиле, как форпосте Европы на Ближнем Востоке, могут выдвинуть возражение: разве евреи не боролись против британского мандата? Разве они не заставили европейцев уйти из Хайфы, как персы из Абадана? Нет большей ошибки, чем проводить подобные аналогии. Персия Моссадека фактически отклонила сотрудничество с Западом. Уход британских войск из зоны Суэцкого Канала не только не нужен с точки зрения интересов египетского народа, а прямо ослабляет его международную позицию и опасен с общеевропейской точки зрения. Израиль же, борясь за независимость, создал новую европейскую позицию не-колониального характера и положил основы сотрудничества с Западом. Принадлежность Израиля к Западу имеет характер органический: это не вопрос политической игры, рассчета или маневра, который завтра может быть заменен другим и противоположным маневром, это глубокая необходимость духовного, политического, экономического и просто-человеческого характера. Ибо на Западе, в странах Западной Европы и Америки, находятся у евреев друзья и родные, тогда как на Востоке и за Железным Занавесом у них только заложники, бессловесные пленники и жертвы.

Политики, культурные деятели в Вашингтоне и Нью-Йорке, Лондоне и Париже должны привыкнуть к мысли, что Израиль не «одна из стран Ближнего Востока», а новое европейское государство. Помощь ему — как политическая так и моральная — есть необходимая мера самообороны пред лицом опасности третьей мировой войны и двусмысленной позиции стран Ислама. Понятны и естественны усилия западных держав привести к соглашению Израиль и Арабскую Лигу; ответственные руководители израильской политики хотят этого соглашения и готовы на многие жертвы для его достижения. Но если оно окажется невозможным, — ведущие культурные страны старой Европы должны будут сделать свой выбор между политикой безнадежного умиротворения восточного национализма и прочной поддержкой нации, судьба которой неразрывно связана с судьбой Запада.

СИОНИЗМ НА РАСПУТЬИ

Включение Израиля в семью европейских народов — трудная задача не только в плане внешней политики, но и в плане внутреннего самоопределения этой неспокойной и полной противоречий нации. Ибо теза о европеизации Израиля наталкивается на бешеное сопротивление со стороны многих элементов внутри этого народа.

Прежде всего протестуют, конечно, друзья Москвы, сталинцы. Есть коренная разница между коммунизмом европейского типа, например, французским — и еврейским. Французские коммунисты, начиная с элиты и кончая рабочими в предместьях Парижа, просто не в состоянии себе представить, что сталинизация Франции может в чем-нибудь изменить французский и европейский характер страны. Советская идеология представляется им чем-то вроде торжества европейского рационализма. Этой иллюзии нет у еврейских коммунистов в Тель-Авиве и Диаспоре. До памятной (и для них самих довольно неожиданной) речи г. Громыко летом 1947 года самое понятие еврейской страны и еврейской независимости было для них «табу». Еврейские коммунисты хотят для своего народа полного отождествления с духом советской Евразии и превращения Израиля в кантон Советского Востока. От культа Сталина и оправдания преследований сионистов в России до переименования Иерусалима в Кагановичград — дорога длинная, но они готовы идти по ней до конца.

С другой стороны представляют антиевропейскую тенденцию крайние религиозные фанатики, отрицающие самый принцип национального государства, или сверхнационалисты, готовые лавировать между западной демократией и советским тоталитаризмом, внутренне чуждые тому и другому и мечтающие о «Великом Израиле» — от Нила до Евфрата. Израильские коммунисты — орудие Москвы. Религиозные антисионисты во время войны с арабами в 1948 году просили англичан... эвакуировать их на Кипр. Из кругов сверхнационалистов вышли убийцы Бернадотта и мегаломаны еврейской «избранной расы». Люди, предполагающие, что их локальные проблемы не имеют отношения к мировой истории и мировой политике, и охотно рассматривающие себя, как некую «третью силу» в столкновении двух чуждых миров, имеются не только в Израиле.

Антиевропейская тенденция принимает форму «нейтрализма» в Израиле, как и в других странах, где смысл этого лозунга — саботаж европейского единства. Коммунисты про-

поведуют нейтрализм в каждой европейской и неевропейской стране, где они находятся в меньшинстве (и искореняют его в каждой стране, где им удалось захватить решающее влияние). Нейтрализм проповедуют все, кто заранее примирился с торжеством сталинизма и страхует себя от будущих репрессий. Нейтрализм особого рода демонстрируют циники, торговцы в политике, для которых нет разницы, от кого получать «помощь» — и которые понятие демократии, свободы и международной солидарности сводят к понятию «доллара», как если бы это было случайностью, что деньги и техническая помощь приходят в Израиль с Запада и не приходят из Советского Союза.

В этих условиях еще рано говорить о стабилизации Израиля. Основное задание молодого еврейского государства — преодолеть все анархические и сепаратистские тенденции, решить культурные, экономические и политические проблемы, стоящие перед ним, в духе европейской демократии и европейского сотрудничества. Европеизация Израиля — вопрос его жизни и смерти.

СЕГОДНЯ

Сегодня — победа сионизма еще не решена. Никто не может поручиться, что новый исторический катаклизм, подобный гитлеровскому безумию, не сметет заложенного фундамента, или что евреи сами, в огне братоубийственной войны, своими руками не разрушат своего национального единства. Но, вопреки всем сомнениям, Израиль богат надеждой.

Сегодня — это очень бедный и мало живописный край. Нет в нем ни экзотической красочности мусульманского Востока, которая привлекает туристов, ни монументальной и стильной красоты, которая в Европе создавалась столетиями феодальной и патрицианской культуры. Современный Израиль — страна убогих бараков, железобетонных построек и примитивного быта. В 1936 году Тель-Авив сиял безупречной белизной своих новых фасадов и чистотой улиц, к которым еще не успели привыкнуть их новые обитатели. Теперь это один из самых грязных и скученных городов на средиземноморском побережьи. Торговый центр его начинает фатально напоминать улицы довоенной еврейской Варшавы. Кишит в них толпа, не имеющая ни времени, ни средств на эстетику. Новая Беер-Шева — столица Негева на краю южной пустыни — вероятно мировой рекорд архитектурного безобразия. Мечта о превращении Израиля во вторую Швейцарию — в благоустроенный центр мирового туризма — потребует еще много лет для своего осуществления. Пока что — неоцененный вклад

Святой Земли — мир библейских и евангельских воспоминаний, Сион и Табор, Кармель и Галилея, управляется людьми весьма далекими от патетики и занятыми своими ежедневными делами. Свежеприбывший иммигрант в кратчайший срок переходит от романтического умиления при виде «еврейского моря», «еврейских гор» и «еврейской полиции» к жестокому разочарованию и озлоблению. Неумелость самой молодой бюрократии мира в соединении с ловкостью самой древней торгово-деляческой касты мира доводят его до отчаяния, до несправедливых преувеличений в критике и до желания бежать на край света. Только через год-два устанавливается равновесие в этой амплитуде душевных колебаний и возникает трезвая, без иллюзий, связь со страной, связь, для которой нет прецедента в истории тысячелетних странствий и иллюзий этого народа.

Действительность сегодняшнего дня — это своеобразный Wild-West в миниатюре на краю европейского континента. Перегруженные автобусы пылят во все концы страны. Вдоль дорог зелень плантаций чередуется с лагерями, рабочими поселками и земледельческими пунктами, возникающими ежегодно сотнями. Ищут нефти, учатся летать и плавать, живут в палатках и развалинах, прокладывают трубы, строят дороги и питаются по карточкам. Всюду армейские мундиры всех видов оружия. Черный рынок, частые конфликты труда и резкий рост преступности. Нет мяса и картофеля, но есть опера и университет. То, что происходит в этой стране, занимательно для наблюдателя, но от самих заинтересованных требует много терпения, крепких нервов и большой доли патриотизма. Не каждый в состоянии переносить качество израильского питания и тель-авивской оперы. — Место индейцев в этом Wild-West занимают мистаненим — инфильтранты. Каждую ночь через границы (длиной в 1500 клм.) прокрадываются со стороны Газы и Иордании сотни контрабандистов, бродят шайки, нападая на дома, уводя скот и закладывая мины на пограничных дорогах. Каждую ночь гремят выстрелы, и утренние газеты в рубрике «мистаненим» сообщают число пойманных на границе, убитых и раненых. Инфильтранты не всегда бандиты. Иногда это несчастные арабские феллахи, прогнанные войной из своих жилищ в Израиле и ищущие дороги обратно. Тень нерешенной и злоумышленно нерешаемой проблемы арабских беженцев висит над страной. Нет в ней мира, и в этом она не составляет исключения. В состоянии временного и неустойчивого перемирия, посредине между миром и войной, находится весь мир.

ПАРТИИ

В библейские времена территория страны была поделена между 12 колен израилевых. Теперь место колен заняли партии. Израиль — самое партийное государство мира. Это единственная страна, где существуют партийные деревни, партийные пригороды и партийное заселение целых районов. Достаточно пройти километр из одного кибуца в другой чтобы изменились организационный принцип, идеология, бытовая атмосфера и система воспитания детей. Партийные деревни всегда на 100% голосуют за один список и изгоняют из своей среды инакомыслящих. Коммунист исключается из кибуца МАПАМ'а, мапамник нетерпим в кибуце МАПАЯ, и никакой мапайник немыслим в Рамат-Разиэль бывших членов ИРГУН'а. Причиной этого территориального разделения и взаимной нетерпимости партий является то обстоятельство, что в Израиле, в отличие от нормального порядка вещей, партии предшествовали народу и государству. Партии создали государство из ничего. Они не выросли на основе независимой от них и непартийной или допартийной социальной действительности, как где-нибудь в Англии или Франции, а сами создали ее, сложили по кирпичику, а потому и рассматривают ее, как свое достояние. В мозаике израильской экономики отчетливо и раздельно различаются вклады всех больших организаций, которые десятками лет терпеливо и по кусочкам складывали тело «Ишува»: то и то основано бароном Ротшильдом (не-сионистом), а то Национальным Фондом, этот кибуц — партии ортодоксов, а тот — левых социалистов, эти дома построили алгемейн-сионисты, а за той межой — царство Рабочей Партии МАПАЙ.

В этом коллективном усилии позади осталась только та единственная партия, которая безрассудно пренебрегла колонизацией ради «прямого политического действия»: ревизионисты, последователи Жаботинского, из среды которых позднее вышли террористы Бегина. Люди эти избрали своей специальностью не строительство еврейского дома, а разрушение британского дома в стране, а потому и остаются в конечном счете относительно бездомными и лишенными социальной базы в Израиле.

Государство, сложившееся таким образом, нормально должно было бы управляться коалицией всех тех сионистских партий, которые его основали. Отношения партий между собой должны были бы быть похожи на отношения компаньонов

или совладельцев общего предприятия. Но жизнь внесла свой корректив.

Первая глубокая трещина обнаружилась в Израиле между просоветским лагерем, признающим Советский Союз своей «второй родиной», и всеми другими партиями. Меньшинство в лагере поклонников Ленина и Сталина составляют коммунисты, т. е. люди, отрицающие три основных положения сионизма: понятие исторической родины, единство еврейского народа и право на репатриацию еврейских масс из всех стран Диаспоры. По мнению этих людей, совпадающему с официальным учением сталинизма, родина еврея — та страна, где он живет, единого еврейского народа не существует, и желание русского еврея переехать в Израиль есть измена советской родине и преступление. Израильские коммунисты, поэтому, не участвуют в Сионистском Конгрессе, но участвуют в съездах Коминформа. Большинство, однако, в просоветском лагере составляют не они, а те, кто хотят совместить Сионистский Конгресс с Коминформом: Объединенная Рабочая Партия «МАПАМ», упорно стучащаяся в закрытые двери Москвы, где ее считают «нечистой», но не отказываются от ее услуг. Партия трагическая, члены которой подвергаются репрессиям по ту сторону Железного Занавеса, и психологию которой с трудом могут понять даже те, кто знает вековую оторванность еврейской массы от исторической действительности, простодушие искателей справедливости и безграничную потребность веры в то, что идеал осуществляется на земле уже сейчас, сию минуту, кем-то очень сильным и мудрым, хотя временно и непонимающим всего благородства и красоты израильского МАПАМ'а.

Вторая трещина проходит между частным и социалистическим или кооперативным сектором израильской экономики. Социалистические партии Израиля в процессе строительства страны не ограничились организацией профессионального движения и кибуцов: они сосредоточили в своих руках огромные предприятия и капиталы. МАПАЙ в Израиле, который часто сравнивают с британской Лабор-Парти, не только располагает третьей частью всех голосов избирателей, но и владеет фабриками, на которых эти избиратели работают. Израиль — единственная страна в мире, где существуют тресты не государственные, как в Советском Союзе, и не капиталистические, как в Америке, а действующие под фирмой профсоюзного объединения (Гистадрут), т. е. от имени организованных рабочих. Во всем мире тресты родят пролетариев; в Израиле пролетарии родят тресты. Этот «пролетарский капитализм»

создает положение, при котором еврейский капитал из-за границы опасается идти в Израиль. Тень «социализма» меньше пугает частных предпринимателей из Северной Америки или Южной Африки, чем перспектива суровой регламентации в стране, где их деятельность будет подчинена контролю... конкуренции.

Выход из этого положения заключается — теоретически — в гармоническом сожительстве частного и «обобществленного» секторов. Но легче формулировать, чем осуществить эту задачу. В настоящее время «частный» сектор находится в резкой оппозици к (мапайскому) правительству Бен-Гуриона; а просоветский находится в оппозиции не только к правительству, но и ко всему миру западной демократии. Отсюда аномалии израильской политической жизни: члены кибуцов МАПАМ'а, построенных на жертвованные доллары и оборудованных американскими тракторами, демонстрируют против Соединенных Штатов в пользу той страны, которая им открыто враждебна; партии, построившие государство и поделившие его на территориальные зоны влияния, не желают и не допускают возникновения общегосударственной школы единообразного типа; экономика страны, развитие которой целиком зависит от вложений крупных и мелких предпринимателей из-за границы, находится под контролем социалистов, ревниво охраняющих свое политическое и экономическое преобладание.

Преодоление или упрощение партийной структуры государства, разделенного на кланы и секторы, — жизненный вопрос Израиля. От его решения зависит также и западно-европейский характер этого государства. Предоставленные сами себе партии имеют тенденцию — каждая в отдельности к диктатуре, а все вместе, поскольку ни одной из них не удается вытеснить другие, — к распределению ресурсов, министерств и должностей согласно «партийному ключу». Обе эти дороги несовместимы с идеалом свободного демократического развития. Судьба молодой израильской демократии зависит от способности массы избирателей выйти из под контроля партий и в целом ряде вопросов показать относительную независимость и политическую инициативу.

КИБУЦ

Самая большая достопримечательность и «новое слово» Израиля в глазах не-евреев, это, конечно, кибуц. После ряда опытов, предпринятых в 19 веке утопическими социалистами

из школы Оуэна и потерпевших неудачу в виду отсутствия социальной базы, — здесь, повидимому, удалось создать новый тип коммунистической общины на основах идеального равенства и добровольной дисциплины членов. Первый кибуц был в Палестине основан в 1909 году. Теперь число их измеряется сотнями, и живут в них десятки тысяч людей. Своим успехом кибуцы обязаны тому, что могли опереться на мировое сионистское движение. Сионисты всего мира поддержали молодежь кибуцов из национальных соображений, тогда как молодые еврейские социалисты пошли в Палестину потому, что видели в этом кратчайший путь к осуществлению их социалистического идеала. Однако и здесь, как во многом другом, жизнь внесла свой корректив, и то, что получилось после 40-летнего опыта представляет своеобразное преломление первоначального замысла.

С чисто-сионистской, т. е. национальной точки зрения кибуцы сыграли ударную, пионерскую роль в 20-е и 30-е годы, в раннем периоде сионистской колонизации. Здесь, с идеалистическим воодушевлением и жертвенностью, были положены основы еврейского земледелия, и создан новый тип еврейского рабочего. Кибуц, как танк, преодолевал препятствия и сокрушал преграды, проникая всюду, куда не осмеливалась идти частная инициатива. Вслед за социалистами и другие, религиозные и националистические, группировки приняли форму кибуца, как наиболее целесообразную в еврейских условиях. У евреев не было в Диаспоре крестьян, готовых к переселению. Им надо было еще учиться жить и работать на земле, и, понятно, коллективная форма хозяйствования больше им подходила, чем индивидуальная. Трудно создать коллектив из крестьян, привыкших к своему двору и хозяйству, но эта форма кажется как бы созданной для романтической молодежи, впервые приступающей к работе на земле и знающей, что большие цели достигаются только общим усилием.

Социалистический сионизм развивался под прямым воздействием русского социализма. В движении кибуцов, основанном выходцами из России, ясно различаются марксистское и народническое течения. В Дегании, «матери кибуцов», жил и работал А. Д. Гордон, еврейский Толстой, проповедник религии труда.

Кибуц был полезным орудием сионизма в период, предшествовавший объявлению независимости. За последние годы, однако, выясняется, что эта форма не годится для массовой иммиграции. Из сотен тысяч иммигрантов, прибывших в Израиль после 1948 года, не более 5% нашло себе место в ки-

буцах. Индивидуализм еврейской массы, прибывающей из Диаспоры, противится жизни в кибуце. Многие из иммигрантов были бы готовы работать в кибуцах, как наемные рабочие, но эта дорога перед ними закрыта: кибуц не принимает наемных рабочих, — это «кулацкая эксплуатация». Понятно также, что кибуц богатый и процветающий не может принять слишком большого числа новых членов — полноправных товарищей — из страха, что контроль над его достоянием, добытым годами тяжелого труда, перейдет в руки новопринятых. Он принужден осторожно принимать и проверять новых членов. В результате, национальное значение кибуцов падает. Они еще исполняют авангардные задания, например, при колонизации южной пустыни (Негева). Но государство, расчитывающее на миллионы новых поселенцев, принуждено искать других методов колонизации.

А что такое кибуц с точки зрения социалистической? Это полная противоположность советскому колхозу. Русскому сталинисту «кибуцник» должен казаться довольно подозрительной фигурой. Это, прежде всего, человек не признающий принуждения. Его пребывание в кибуце добровольно, и он не прикован к нему, как русский крестьянин к колхозу. Затем, кибуцник работает для себя, а не для государства. В то время как львиная доля продукции колхоза забирается государством, люди в кибуце имеют полную уверенность, что плоды их труда никем у них не будут отобраны. Советский колхоз выполняет урок, заданный государством, тогда как кибуц сам решает, что ему делать. Если прибавить к этому принцип равенства, ту «уравниловку», которая давно отменена в Советском Союзе, то можно понять, какая пропасть отделяет израильский «колхоз» от советского. И, однако, все указанные признаки еще недостаточно характеризуют кибуц. Кибуц — такой социалистический цветок, который может расти только в капиталистическом поле. Его существование связано с тем капиталистическим окружением, которое он — в теории— отрицает. Победа коммунизма неминуемо привела бы к закрепощению кибуца, лишила бы свободы и сделала несчастными его членов. А сам из себя, своей внутренней силой, кибуц никогда не завоюет ни экономики, ни политической власти в Израиле. Это двуликий Янус: его лицо, обращенное внутрь, — социалистическое, но вовне, по отношению к капиталистическому окружению, он — как всякий другой предприниматель, обслуживающий вольный рынок, конкурирующий и финансируемый на общих основаниях.

Более того. С течением времени раскрывается смысл каж-

дого кибуца, как формы «введения в собственность» сотен молодых людей, которые начинают с нуля, а кончают как хозяева и совладельцы большого хозяйства. Это — специфически-израильское явление. Невозможно заимствование его никакой другой страной, ибо кибуцы исторически опираются на социальную базу мирового сионизма. Можно предвидеть, что кибуцы и в будущем сохранятся в Израиле, как особая достопримечательность, — любопытное и исторически-заслуженное явление. В настоящем их национальная роль в процессе развития еврейского государства сокращается с каждым годом. А «социалистический» курьез их существования заключается в том, что только сохранение и укрепление демократического строя в Израиле (в западном смысле этого слова) может сохранить их в жизни, — несмотря на просоветские симпатии части их обитателей.

БЕЗ ЧУДЕС

Возникновение Еврейского Государства многим кажется чудом. Книга А. Кестлера об Израиле так и называется: «L'analyse d'un Miracle». Жак Энок рассказывает, что в разговоре с несколькими должностными лицами в Израиле его собеседники более 20 раз повторили слова «чудо» и «чудесный». Это подход популярный, но несерьезный. Слово «чудо» по отношению к тому, что произошло и происходит в этой маленькой стране — вредное и лишнее слово. Есть только одно чудо в еврейской истории: единственное и необъяснимое упорство маленькой нации, которой по всем законам исторической логики полагалось исчезнуть еще две или три тысячи лет тому назад, и которая не только не исчезла, но наперекор судьбе передала свои идеи и верования половине человечества и свое национальное предание возвела в Священное Писание народов Запада. Однако, чудо это довольно древней даты. В новое же время всё, что произошло с евреями, довольно понятно и с легкостью умещается в границах новой истории и особенно истории 19 века, который видел национальный подъем многих больших и малых народов.

Отныне и впредь — судьба Израиля зависит не от чудес, а от политической зрелости его руководства и патриотизма еврейского народа. Военная слабость и политическая неустроенность окружающих арабских государств не будут продолжаться вечно; и легкомыслием было бы полагаться на то, что помощь с Запада будет оказываться Израилю в неограничен-

ных размерах и без всяких условий. Будущее этого государства зависит целиком от победы принципов западной демократии в тех странах, где живут миллионы евреев; и от способности Израиля прочно войти в солидарную семью западных народов и получить от них гарантию своих границ, которые в настоящий момент гарантируются только вооруженной силой израильской армии.

В конечном счете это не только проблема политическая и экономическая, но и м о р а л ь н а я. Проблема торжества во всем мире идей свободы, справедливости и гуманизма, уважение к которым подорвано и самый смысл которых затемнен в сознании миллионов людей. Это также проблема морального здоровья еврейской массы, которая пережила гитлеризм, и еще не оставила за собой период принудительной советской ассимиляции русских евреев. В массах еврейского народа в Израиле и в Диаспоре жизнь борется со смертью и действуют противоположные тенденции. Что победит — покажет будущее.

Тель-Авив, 1952. **Юлий Марголин**

Н. П. КАРАБЧЕВСКИЙ

(1851-1925)

I

В декабре 1951-го года исполнилось сто лет со дня рождения одного из крупнейших русских адвокатов и судебных ораторов — Николая Платоновича Карабчевского.

Предо мною встает его мощная фигура, с львиной шевелюрой, со светящимися глазами, классическим профилем, с крупными чертами и яркими красками — следами отдаленного турецкого происхождения. И как бы продолжением всего его облика, слышится его речь, пленявшая слушателя своим бархатным и в то-же время мужественным тембром и властно покорявшая его всесокрушающей силой аргументации от ума и сердца.

Карабчевский начал свою карьеру в семидесятых годах почти одновременно в адвокатуре и в литературе (работой в «Отечественных Записках» Салтыкова). На протяжении всех последующих лет своей жизни он много писал: очерки, статьи на самые разнообразные темы, эскизы, стихи, он напечатал даже роман. Его характеристики судебных деятелей дают живые образы корифеев русской адвокатуры. Один из лучших некрологов, появившихся тотчас после смерти Толстого принадлежит перу Карабчевского. Но истинная жизнь его прошла в адвокатуре, т. е. в судебной борьбе и в сословной работе.

Родом из Николаева, Н. П. по окончании университета вступил в петербургскую адвокатуру и очень быстро выдвинулся в ее первые ряды. Сборник его речей открывается 1882 годом. Но еще до того он обратил на себя внимание защитой Брешковской (будущей «бабушки русской революции») по делу 193-х. Выступления по crimes passionnels и по делам общественного значения создали ему широкую популярность и славу, достигшую апогея в начале 900-х годов, в связи с политическими процессами, среди которых особенно выделялись смелые защиты Гершуни (руководителя эсеровской Боевой

Организации), Сазонова (убийцы Плеве) и других революционеров.

Н. П. был любимцем адвокатуры. Черная кошка лишь раз пробежала между ним и его товарищами по «сословию присяжных поверенных», в особенности лево настроенными, в 1905 г., после его 30-тилетнего адвокатского юбилея. На праздновании произносились речи в революционном духе того времени; как вдруг жена Н. П., которая, выражаясь мягко, отнюдь не отличалась радикализмом, в резкой форме, «как хозяйка дома», потребовала прекращения речей. (Впоследствии она мне объясняла, что сделала это из-за присутствия многочисленных, взятых со стороны официантов). Празднование было омрачено и оставило тягостное впечатление нарушенного созвучия между главою сословия и его членами, с их нароставшими радикальными устремлениями. Но уже в 1906 г., когда я поступил к нему помощником, отношения между ним и адвокатурой вновь налаживались, и с тех пор Н. П. ежегодно избирался председателем Совета петербургских присяжных поверенных (лишь с обязательными перерывами каждый четвертый год), вплоть до большевистского переворота, уничтожившего свободное адвокатское сословие.

Шесть лет, проведенных мною в качестве фактического помощника Николая Платоновича, и последующие годы почти непрерывного сотрудничества по отдельным делам и укреплявшиеся тесные личные отношения дали мне возможность доподлинно узнать, как Карабчевский подготовлял свои выступления на суде и как он их осуществлял. Подготовка к делу, всегда весьма тщательная, начиналась с изучения юридической его сущности. У нас острили, что цивилист — это тот, кто не знает уголовного права, а криминалист — кто не знает ни гражданского, ни уголовного. Карабчевский отнюдь не подходил под это определение. Его мало привлекала догма права и среди его произведений почти нет статей по юридическим вопросам. Но юриспруденцией, как орудием судебного состязания, он владел в совершенстве.

С такой же тщательностью изучал он фактический материал и всегда с величайшей осторожностью обдумывал, какие дополнительные данные следует представить.

II

С. А. Андреевский определял защитительную речь, как «художественное воспроизведение действительности». Н. П. был чужд такому подходу. Как бы ни ласкала она самый прихотливый слух, речь его прежде всего была смертоносным боевым оружием, поражающим противника. Образцом такого целеустремленного красноречия может служить речь Карабчевского по делу Бейлиса. Печальной памяти министр юстиции Щегловитов решил оживить в 20-м веке средневековое обвинение евреев в употреблении христианской крови.

Состав присяжных по делу Бейлиса был подобран необычно серый. Это очень затрудняло задачу защиты. Авторитетнейшие эксперты разрушили миф о ритуальном убийстве. Но дошел ли этот голос науки до сознания присяжных? У них *могли* остаться сомнения не употребляет ли всё же христианской крови какая-то там еврейская секта; и их *могла* смутить обескровленность трупа убитого мальчика Ющинского. В этом была опасность для подсудимого и для правосудия. С другой стороны, главным, что должно было удержать от осуждения Бейлиса даже очень мало развитых людей (помимо полной недоказанности личной его причастности к убийству), это — улики против воровской шайки во главе с Чеберяковой. Карабчевский направил свой удар в ту точку, где скрещиваются эти сомнения. Сначала он напоминает присяжным об исчезнувшем пальто Ющинского: он был в нем, когда его в последний раз видели на квартире Чеберяковой (где он и снял его), и только там оно могло остаться. Затем он сразу переходит к вопросу, почему в трупе нет крови. Обескровление трупа еще не значит, что его обескровили искусственно. Израненный, как был изранен Ющинский, всё равно истек бы кровью. Но куда она вылилась?

В. Д. Набоков, присутствовавший на процессе в течение всех его 34-х дней, рассказывал мне, как Карабчевский, говоривший после шести ораторов, сумел приковать к себе внимание всех и как все затаили дыхание, когда поставив вопрос, — куда вылилась кровь? — он продолжал: «Невольно работает воображение. Это толстое урсовое пальто, о котором говорили, — если оно было подстилкой при убийстве и на него стекла кровь, то ответьте, где же это пальто? Если на пальто не было крови, то почему оно, оставшись на квартире Чеберяковой, бесследно исчезло?». От Чеберяковой не удалось добиться от-

вета. «Она шарахнулась от этого пальто. Она не скажет вам, где это пальто, не ответит на ваш вопрос, потому что на этот вопрос отвечу вам я: где вытекла кровь Ющинского, там и пальто!».

Карабчевский любил писать свои речи, но сколько бы он ни делал набросков, — говорил он всегда совсем не то, что было написано. Потому что он был воистину оратор Божьей милостью. И еще потому, что судебное следствие часто совершенно переворачивало — и притом, по вине самого Карабчевского — всю конструкцию предварительного следствия. Но даже и тогда, когда он готовил речь уже после окончания судебного следствия — как напр., на многодневных процессах — он всё же говорил совсем другое, потому что и в самом процессе речи мысль его неустанно продолжала работать. В гибкости его судебной тактики я имел случай убедиться в деле об убийстве мужем жены, где я помогал ему в качестве совсем юного, еще бессловесного помощника. Защиту Н. П. предполагал строить в двух направлениях. Во первых, что убитая всем своим поведением довела мужа до преступления. Во вторых, на психической невменяемости подсудимого. По тем же двум путям Карабчевский вел судебное следствие. Но в своей речи, едва коснувшись личности убитой, он сейчас же перешел к вопросу о вменяемости. Когда позднее я выразил удивление, почему он не говорил о характере и поведении убитой, он объяснил: «Разве вы не заметили, как присяжных передернуло, едва я заговорил об этом?».

Преисполненный уважением к действенности речи, Карабчевский органически не переносил ораторов, говоривших для публики и изощрявшихся в красотах туманного красноречия. Однажды, по делу, где Н. П. был гражданским истцом, защитник ответил ему напыщенной речью, «эффектно» закончив ее: "Tout comprendre c'est tout pardonner". Тотчас после того, в перерыве, Карабчевский подошел к нему со словами: "Je n'ai rein compris, mais je vous pardonne".

III

Едва судебные уставы 1864 г. создали условия для применения ораторского искусства, как судебное красноречие выросло в России и сложилось в самобытную и очень высокую форму. Оно изначала было столь же чуждо декламации и пафосу — подчас ложному — французских судебных ораторов, как и канцелярской монотонности докладных записок, произно-

симых немецкими адвокатами. Оно положило во главу угла свойственный английскому процессу разбор улик и дополнило его психологическим анализом и обрисовкой социально-бытового и политического фона. Карабчевский был достойным носителем этой традиции. Образцом разбора улик может служить речь его по делу Имшенецкого, обвинявшегося в том, что во время катания на лодке, он утопил свою жену (фабула столь сходная с «Американской трагедией» Дрейзера). Речи в защиту Ольги Палем и Богданович (обе застрелили хотевших отделаться от них сожителей) являются истинными шедеврами психологического анализа. В основу защиты армянина Гульгульяна, заколовшего турка (убийцу отца и двух братьев Гульгульяна), Карабчевский кладет страшную картину турецких зверств над армянами. По делу мултанских вотяков, он разрушает изуверский навет, возведенный на вотяков. Как гражданский истец по делу об одном из ранних еврейских погромов (в колонии Нагартове в 1909 г.), он показывает, как погром явился вовсе не следствием «еврейской эксплуатации», ни религиозной вражды, а был порожден тем юдофобством сверху, в котором отразился «начиная с 80-х годов, общий упадок наших нравственных и общественных идеалов».

Но Карабчевский был не только блестящим носителем русской адвокатской традиции. Он был и новатором. Речь для него была лишь завершением работы, произведенной на судебном следствии. «Какое самомнение, — поучал он своих помощников, — расчитывать, что впечатление, сложившееся у судей или присяжных в течение многих часов, а то и дней процесса, может быть стёрто аргументацией и темпераментом оратора». С первого момента следствия Н. П. был занят тем, чтобы создать то впечатление, которого он добивался, в особенности перед присяжными. Важнее всего в его глазах был допрос свидетелей.

Можно без преувеличения сказать, что перекрёстный допрос, — cross examination, — являющийся краеугольным камнем англо-американского процесса, получил должное применение в России именно благодаря Карабчевскому и созданной им школе. Речи Карабчевского сохранены для потомства в изданном им сборнике и в многочисленных отчетах о различных судебных процессах. Но нигде не закреплено, как он вел допрос свидетелей. Это было изумительное и подчас жестокое искусство. Как мягок и как страшен он умел быть, доводя лжесвидетеля до такого состояния, что и без его прямого призна-

ния ложь становилась очевидной. И как он знал и учитывал людскую психологию!

Мне вспоминается массовый процесс эсеровской организации. Подсудимые — один моложе другого. Главным свидетелем обвинения был юноша, почти мальчик, который фигурировал как сознавшийся член организации. С десяток адвокатов старались изловить его на противоречиях, на незнании программы партии и т. п. Но всё это было безуспешно. Толковые ответы свидетеля не давали возможности дискредитировать его. Карабчевский начал допрос мягким, почти отеческим тоном.

— Вы такой умный мальчик, так толково объяснили разницу между социал-демократами и социалистами-революционерами. Я рад, что хоть вы на свободе, в то время как ваши товарищи вот здесь, на скамье подсудимых. Но что вы собственно там делали, на ваших собраниях?

— Я рассказал, как мы заседали...

— Ну да, вы заседали, а когда вас всех арестовали, вы покаялись и вас отпустили. А как вы думаете — и тут голос Карабчевского резко меняется — если бы вы готовили покушение на государя, вас бы тоже так легко отпустили, что бы вам там ни обещали?

— О, нет, да мы таких вещей не делали.

— А бомбы приготовляли? Вот вы рассказывали, что в партии есть где-то такая организация, которая готовит бомбы; а вы то сами?

— Да нет же, мы ничего такого не делали.

— Значит выходит так, что мальчики и девочки собирались, называли себя комитетом и разговаривали?

— Да, выходит так.

— Эх вы — горе-революционеры! У меня больше вопросов нет.

Этим было разрушено представление об опасной организации, и тем самым мягкий приговор был обеспечен.

IV

Значение Карабчевского далеко не измеряется одним техническим совершенством его адвокатского искусства. Надо прямо сказать, это был истинный борец за право и правду. Политические взгляды Н. П. были весьма умеренные, во всяком случае очень далекие от каких-либо революционных устремлений. Между тем, ему принадлежат, быть может, самые резкие мысли, высказанные на суде в защиту — и притом принципиальную

защиту — революционеров и в осуждение произвола, выросшего на почве самодержавия. Я упомянул уже о деле Сазонова, обвинявшегося в убийстве всесильного министра внутренних дел Плеве. На защите Карабчевским Сазонова следует остановиться несколько подробнее.

В царской России власть подавляла революционное движение, в особо острых его формах, при помощи военных судов, которые могли выносить смертные приговоры, ибо в России обще-уголовные законы не знали смертной казни за убийство. Сазонова власть не решилась предать военному суду. Это было время тяжких внешних неудач в войне с Японией и начавшихся, после смерти Плеве, попыток сговора власти с более умеренными общественными элементами. Сазонова судил обще-уголовный суд — Петербургская судебная палата с сословными представителями. Сазонов признал себя виновным. Защита была, как выразился Карабчевский, не так наивна, чтобы пытаться оправдать это убийство в глазах коронных судей. Он добивался иного оправдания — оправдания убийства людской совестью.

«Если убийство вообще трудно поддается оправданию, то всё же многие факты, аналогичные с настоящим, нашли уже давно свое историческое объяснение. Никто не содрогнется больше при именах: Вильгельма Телля или Шарлоты Кордэ, и всякий отлично понимает, почему, несмотря на то, что они убийцы, имена их окружены лишь скорбным ореолом мученичества... Не во всякое время и не при всяких условиях такие личности, как Сазонов, обагряют свои руки в крови».

И затем Карабчевский выясняет эти условия, созданные самой же властью, воплощавшейся в лице Плеве. Он изображает, как вечное полицейское преследование загнало юношу в женевский центр активных революционеров. Затем он переходит к обрисовке политического положения, определившего решение Сазонова убить Плеве. И когда председатель остановил его, грозя лишить слова, Карабчевский облек ту же мысль в другую форму. Он говорил о том, как Сазонов, ввиду молчания русской прессы, мог черпать сведения о деятельности своей будущей жертвы только из заграничной печати. И, прикрывшись этим процессуальным щитом, Карабчевский продолжал:

«Он (Плеве) настоял на повешении Балмашева, он заточил в тюрьму и послал в ссылку тысячи невинных людей, он сек и расстреливал крестьян и рабочих, он глумился над интеллигенцией, он сооружал массовые избиения евреев в Кишиневе и Гомеле, он задушил

Финляндию, он теснил поляков, он влиял на то, чтобы возгорелась наша ужасная война с Японией, в которой уже столько пролито и еще столько прольется русской крови... Сазонову казалось, что это — чудовище, которое может быть устранено только другим чудовищем — смертью! И принимая трепетными руками бомбу, предназначенную для него, он верил, свято верил в то, что она начинена не столько динамитом и гремучей ртутью, сколько слезами, горем и бедствиями народа. И когда рвались и разлетались ее осколки, ему чудилось, что это звенят и разбиваются цепи, которыми опутан русский народ».

Когда председатель вновь остановил Карабчевского, грозя удалить его, Карабчевский закончил свою речь словами: «Так думал Сазонов. Вот почему, когда он очнулся, он крикнул: да здравствует свобода!»

Речь по делу Сазонова — один из наиболее совершенных образцов судебно-политического красноречия. Это — жестокая обвинительная речь по адресу власти и ее произвола. Но именно возможность такой речи показательна. «Как посравнить, да посмотреть век нынешний и век минувший...» Т о г д а свободная адвокатура могла вести политическую борьбу широким фронтом, борьбу с произволом, борьбу за право и свободу личности.

Среди дифирамбов, которые пелись русской адвокатуре, наряду с нападками сыпавшимися на нее, роль ее в борьбе за право получила недостаточное и несколько одностороннее признание. Организации политических защитников, отождествлявших свои задачи с целями защищаемых ими членов революционных и социалистических партий, присваивали себе некую ведущую политическую роль в адвокатуре. Умудренные историческим опытом, мы должны теперь признать, что политически — именно политически — не менее значительна, чем защита революционеров и чем отстаивание свободы печати, была та почти повседневная работа адвокатуры, в которой она, по мере сил, укрощала административный произвол, держала суд под контролем и воспитывала в обществе уважение к закону и праву.

В деятельности Карабчевского такая именно политическая роль адвоката нашла полное и осознанное выражение.

«Когда же наконец мы все поймем, что в основу общественной жизни надлежит класть закон и право, а не личное наше усмотрение и настроение... Когда сойдемся мы, наконец, в оценке самых элементарных этических и правовых вопросов? Ведь иначе жить невыносимо!».

Эти слова были сказаны Карабчевским в Главном военном суде по делу генерала Ковалева, который завлек к себе и, при помощи военных писарей, выпорол доктора Забусова. Карабчевский добивался (и добился) отмены приговора военно-окружного суда, не усмотревшего в деянии Ковалева «особенно важного случая» превышения власти и присудившего его лишь к исключению со службы. Иронизируя по поводу такой квалификации, Карабчевский говорит:

«Ведь генералов у нас много. И если, вместе взятые, они только слегка захотят превысить свою власть, то смогут более или менее благополучно, перепороть всю Россию».

Как кассатор, Карабчевский не принадлежал к числу специалистов, артистически изыскивавших кассационные поводы и обосновывавших их, жонглируя бесчисленными сенатскими решениями. Но он умел, как никто, выявить в допущенных судом формальных нарушениях закона посягательство на права подсудимого, охране которых процессуальные формы призваны служить. «Так нельзя судить человека», не стеснялся он повторять перед Сенатом.

В отстаивании правовых начал Н. П. видел самый смысл корпоративной или, как у нас говорили, сословной организации адвокатуры. В мае 1917 г., на общем собрании петроградских присяжных поверенных, некий юный адепт поднимавшего голову большевизма, призывая во имя свободы «по воле народа» к продолжению революции, объявил весь сословный строй адвокатуры «сплошным предрассудком». На это Н. П. ответил: «Сословие, к которому мы с вами принадлежим... призвано культивировать право и нравственность и ради этого должно существовать не в виде преходящего предрассудка, а дотоле, доколе вся жизненная толща людских взаимоотношений не пропитается теми же началами, проявляясь в каждом действии, в каждой энергии, в каждой воле свободного гражданина». Именно поэтому «всё, что вело к делу свободы за последние 50 лет, всего ярче, всего длительнее выявлялось у нас, в нашем сословии». Обрисовав затем, как «в разгар самого властного бесправия» адвокатура была всюду, куда ее звал долг, Н. П. продолжал: «В самые грозные моменты реакции, когда царило кругом раболепное молчание, мы не ссылались и не укрывались «за волю народа», потому что народ тогда безмолствовал. Только в совести нашей, коллективной совести сословия нашего, мы находили поддержку и волю и силу для беззаветного служения

долгу. Поймите-же, что для нас наше сословие не «предрассудок», а живая мощная сила, несшая нас на завоевание того, что мы чаяли — великой и радостной для всех свободы. Но —- добавил он почти пророчески — вы мыслите ее иначе. Вы хотели бы держать ее на откупу, чтобы она служила только вам. Свобода — вольная птица. Вы можете ее искалечить, но вам ее не удержать».

Отчет в «Праве» отмечает: «Речь Н. П. была покрыта громом рукоплесканий. Все поднялись с мест и устроили оратору грандиозную овацию».

Это была его лебединая песня. Остальное было — восемь лет угасания в беспросветности эмигрантских странствий, нужды и изнурительного бездействия.

Евг. Кулишер

ОТВЕТ Ю. МАРКОВУ

(по поводу статьи «О советской жел.-дор. политике»)[1]

Ю. Марков начинает возражения на мою статью заявлением, что мой общий вывод о «безнадежном запущении» развития железных дорог в СССР «оспаривать не приходится», но что я, якобы, не дал правильного освещения этого явления. Моя статья затронула следующие пункты: 1) отсталость русской железнодорожной сети по сравнению с европейскими и американскими нормами; 2) сравнение планов развития ж. д. при старом режиме и при Временном Правительстве с одной стороны, и с советской планировкой — с другой; (тут я сообщил то, что до сих пор еще не появлялось в печати, что советы строили в год в среднем в два раза меньше километров, чем дореволюционный режим); 3) сравнение методов разработки ж.-д. планов до революции и при тоталитарно-полицейском государстве Кремля; 4) стратегическая слабость ж.-д. сети на Западе России и невыполнение Кремлем собственных планов; 5) недостаточность бюджетных ассигнований и отпуска металла, идущего в большей мере на военное оборудование; 6) выяснившиеся во время войны 1941 года ошибки в пропускной способности ж.-д. сети и последствия не постройки ж. д., считавшихся необходимыми еще при старом режиме. Всё это, опуская подробности, я изложил, подтверждая свои выводы более чем сотней цифр. Основные мои цифры были подтверждены проф. Хантером, когда, года два тому назад, он полемизировал со мною на страницах «Нью-Иорк Таймз». Ю. Марков тоже не оспаривает моих цифр, кроме одной, о чем ниже. Но много возражений Ю. Марков уделяет опровержению моих 25 строк, где я критиковал близорукость советского развития стратегических железных дорог на Западе России. Я показал цифрами, что со стороны Германии и ее сателлитов к русской границе подходит в два раза больше линий и колей, чем со стороны СССР. Я объясняю это тем, что начатая еще при Ленине дружба с Германией, пере-

[1] См. кн. 30 «Нов. Журнала».

шедшая в «кровью спаянный союз» Хитлера и Сталина, были тому причиной. Насколько я могу понять, Ю Марков считает, что Кремль был прав, когда не считал угрозу с Запада большой, и что «опыт в первую войну давал для такой установки достаточно оснований». Более того, Ю. Марков раскрывает убийственную тайну советской стратегии. Он пишет (цитирую дословно ввиду огромной важности этого пункта):

> в западном направлении «*везде, где только можно, вторые колеи были сняты. На магистрали Бологое-Полоцк второй путь был разобран на всем протяжении до границы. На линии Брянск-Гомель-Брест — на всем главном и длинном участке от Гомеля до границы. На Севере от Пскова до границы были убраны все мостовые фермы. Московско-Брестская дорога уцелела только из декоративнопрестижных соображений... Дорогу Гришино-Ровно строили только отдельными участками... в одну колею*».

Таких сенсационных подробностей, конечно, за рубежом никто знать не мог.

Одну мою цифру Ю. Марков оспаривает, но без успеха. Я написал, что в первую стадию войны 1941 года советское командование, отчасти, конечно, вследствие недостатка стратегических линий, сдало в плен свыше одного миллиона солдат в трех сражениях — Минск, Смоленск, Киев. Ю. Марков возражает, что Минского сражения вообще не было, «что, включая Вяземское окружение в плен было сдано 4 миллиона солдат». Немецкий военный профессор Курт Ассман опубликовал здесь в 1950 году следующие данные: в двойной битве Минск-Белосток немцы взяли в плен 290 тысяч, в треугольнике Орша-Смоленск-Витебск — 180 тысяч, в Киевском мешке 665 тысяч и, наконец, в Вяземском окружении 600 тысяч. — Вяземское окружение было в октябре и я о нем не писал. Значит, повторяю, Красная армия сдала в первоначальной стадии войны свыше одного миллиона солдат — а всего с Вязьмой один миллион семьсот тысяч, что далеко до фантастической цифры Маркова — 4 миллиона.

Ю. Марков не удовлетворен моим анализом советского плана интенсивной реконструкции транспорта (см. стр. 241-242 моей статьи). Он дает свое объяснение этому «мудрому» плану Кремля. «На принятие Кремлем мудрого решения о прекращении постройки ж. д. в первой пятилетке повлияли и обнаружившиеся к этому времени «успехи» коллективизации» — потеря лошадей и пр. Оказывается, согласно

Маркову, советы считали, что железные дороги «архаическое» предприятие, долженствующее быть замененным несуществующим автотранспортом! В материалах Гоэпро (Госплан по электрификации России), где тогда царил друг и «владыка Ленинских технических дум» — Кржижановский, да и в многочисленных книгах по транспорту, которые доступны были для меня здесь, я такой категорической формулировки не встречал. Во всяком случае, обосновывать объяснение железнодорожной политики Кремля на словоизвержениях «Правды» и «Известий» нельзя и потому следует просто забыть о «шаропоезде Ярмольчука».

Несомненно интересно и значительно сообщение о создании «плацдарма на западном берегу Днепра с центром в Киеве». Профессор Хантер и я слышали об этом создании «линии Мажино», как нам сказали на нашем совещании с русскими железнодорожниками, которое мы имели по просьбе бюро по изучению СССР при Колумбийском университете.

Теперь несколько слов о Сибирском строительстве. Я писал, что при старом режиме в кругах оппозиционных — а сибиряки всегда были оппозиционны центру — настаивали на постройке в течение 1917-1922 гг. до 30-ти тысяч километров ж. д. Ю. Марков сообщает, что БАМ (вероятно, вначале БО (Охотск) М) решено было строить исключительно в состоянии военной паники. Но это только и подтверждает мою основную мысль, что советская пресловутая планировка явилась не результатом продуманной мысли, а была проявлением того «оппортунизма», который так характерен для многих сторон советского творчества. Возвращаясь к северной Сибирско-Тихоокеанской магистрали, я убежден, что недалеко то время, когда будет построена линия (возможнее всего по участкам и с различными тягами) от Тайшета на Лену и далее в Якутском, Охотском и Ейско-Амурском направлениях[2] от Лены до Приамурья. С этой суровой страной при пересечении ее ж. д. или круглогодовой автодорогой, вероятно, повторится история освоения сев. Калифорнии и Канады. По моему, Ю. Марков слишком упрощенно объясняет, почему отменена БАМ. «Очень просто: советская техника и экономика не доросли до таких построек. Кроме трудно проходимых горных хребтов и мертвой пустыни сибирской тайги надо преодолеть три с половиной ты-

[2] *Примечание.* На днях один бывший гидролог при Главсевморпути сообщил мне, по личному опыту в 1941 г., что я был прав и что дорога от Тайшета до Усть Кута функционирует как автотранспортная — о чем я писал и в русской и в американской прессе.

сячи километров вечной мерзлоты». Насчет техники: русские инженеры построили Амурскую дорогу (кстати, Марков ошибается, Амурская дорога не проходит по берегу Уссури) в вечной мерзлоте. Русские инженеры (при советах) построили в вечной мерзлоте дорогу от Хабаровска до Комсомольска и далее к советской гавани, автодорогу от Магадана до Колымы, железную дорогу на Нижнем Енисее (Игарка) и т. д. Почти что в аналогичных условиях будущей постройки дорог на Ленском плато были советские постройки Мурманской смычки на Котлас, дороги на Воркуту — дорога на Ухту.

В заключение моих замечаний не могу не выразить сожаления, что Ю. Марков не коснулся важнейшего вопроса советского транспорта — об эксплоатационной перенапряженности советской сети. Благодаря тайнам «Кремлевского двора» в этой области мы находимся во власти теоретических догадок. А Ю. Марков несомненно знает советское железнодорожное хозяйство и мог бы осветить этот вопрос.

С. Васильев

ПАМЯТИ В. Н. ЧЕЛИЩЕВА

1-го мая 1952 года в Сан-Франциско, на 82 году жизни, окруженный детьми и внуками, скончался Виктор Николаевич Челищев.

Мне лишь в самые последние годы жизни В. Н., после его приезда в Америку (в 1945 г.) выпало счастье лично узнать его, и я быстро полюбил его и привязался к нему. Душевная мягкость сочеталась в нем с остроумием, глубокая религиозность с жизнелюбием. Он был прекрасный рассказчик (в прошлом страстный охотник, он любил предаваться охотничьим воспоминаниям), хорошо знал русскую литературу, любил читать вслух и знал наизусть много стихов. Настоящий русский барин, родившийся и выросший в самом сердце России, в Калужской губернии, и проведший почти всю свою дореволюционную жизнь в Москве, где около двадцати лет прослужил бессменно в должности участкового мирового судьи, только перед самой революцией став председателем мирового съезда, покойный В. Н. сочетал настоящую русскость, преданность вере и традициям отцов, с подлинным свободолюбием, чуждым всякой узкой партийности (по своим политическим симпатиям он примыкал к партии народной свободы, к которой одно время и формально принадлежал).

Во время второй мировой войны, живя в Париже, В. Н. был членом т. н. «клуба стариков», куда входили А. И. Деникин, П. П. Юренев, В. А. Оболенский, П. П. Менделеев, мой отец и др. — всего восемь человек. В прошлом году, когда я из Парижа сообщил ему о смерти В. А. Оболенского, В. Н. в ответном письме мне писал, что, помимо всего прочего, воспринимает эту весть «как некое memento mori, прозвучавшее в непосредственной близости, зовущее», и прибавлял, что из восьми парижских «стариков» осталось в живых всего двое: он сам и П. П. Менделеев, «встретивший и до могилы проводивший пятерых, будучи по возрасту самым старшим» (ему было тогда 85 лет). Недели через две-три после этого сошел в могилу и был погребен на том же русском кладбище в С.-Женевьев-де-Буа и П. П. Менделеев, с которым я познакомился

впервые и говорил о В. Н. Челищеве на похоронах В. А. Оболенского. Из «стариков» оставался в живых один В. Н. Челищев. Почти ровно через год прозвучал и ему тот зов, о котором он писал.

В том же письме В. Н. Челищева были слова о В. А. Оболенском, которые характеризуют его самого не менее и которые я поэтому позволю себе здесь привести. Он писал:

> Да, интересный был человек Владимир Андреевич, умевший самостоятельно мыслить, не костеневший в прокрустовом ложе партийных программ и в то же время не изменявший принципам свободолюбия. Передо мной его последнее письмо. Приведу выдержку из него: «В необходимости религиозной почвы для синтеза в «любви», «свободе» и «справедливости» я не сомневаюсь. Но это должна быть именно «религиозная почва» в «Духе и Истине», а не конфессиональная, на которой семена любви чахнут... Я знаю, что тут мы с тобой никогда не сговоримся, но не хочу тебя вводить в заблуждение, если ты предполагаешь, что я из Савла обратился в Павла. В моей молодости я знал старую нигилистку-шестидесятницу, которая говорила: «В Бога не верую, а вот в Казанскую Божию Матерь, уж как себе хочешь, не веровать не могу». Так вот моя вера диаметрально противоположна: «*В Бога верую, а в Казанскую Божию Матерь никак не могу поверить*». Да, его вера от разума, какая-то протестантская, толстовская, но всё-таки вера, хотя и оскопленная, и она увела его от марксизма, которому он в свое время отдал дань, но от которого и ушел в кадетский лагерь, а потом признал отжившими все партийные деления прошлого, ища лишь любовь, свободу и справедливость.

Сам В. Н. верил по иному, его вера была от сердца, он жил и умер верным сыном православной церкви. Но, как и В. А. Оболенский, он искал любовь, свободу и справедливость.

Покойный не играл большой роли на поверхности общественной жизни, но всю свою жизнь в России, как юрист, практик (в мировом суде, которому он отдал всего себя) и теоретик (он сотрудничал в юридических журналах и одно время вел занятия по гражданскому процессу в Московском университете), он посвятил борьбе за свободу, право и справедливость. После революции А. Ф. Керенский, как министр юстиции, вызвал В. Н. в Петербург и предложил ему пост старшего председателя московской судебной палаты. В. Н. колебался, принимать ли предложение, но по настоянию кн. Г. Е. Львова все же дал свое согласие. Вернувшись в Москву и озна-

комившись с уже предпринятыми министерством юстиции мерами по чистке чинов судебного ведомства, он послал Керенскому мотивированный отказ, в котором заявлял, что считает недопустимым бессудное смещение судей и не желает принимать в нем участие. В конце концов однако, после убедительных настояний некоторых членов московской судебной палаты, опасавшихся назначения менее подходящего человека, В. Н. согласился принять назначение.

После большевицкого переворота В. Н. был послан от Национального Центра на юг России и вошел в Особое Совещание при ген. А. И. Деникине, где возглавил отдел юстиции. С А. И. Деникиным до самой смерти последнего его связывали дружеские личные отношения.

В эмиграции В. Н. Челищев жил сначала в Югославии, где состоял на государственной службе и был членом-учредителем и товарищем председателя Союза русских журналистов и писателей. Позднее перебрался в Прагу, где тоже играл видную роль в Союзе писателей и журналистов; а в 30-х годах переселился во Францию. В различных зарубежных изданиях печатались его статьи публицистического и мемуарного характера, а также рассказы, главным образом из деревенского быта. Служа в Москве, В. Н. не порывал связи с родными местами и много лет был гласным боровского уездного земства.

Закончу эту небольшую памятку о настоящем и хорошем русском человеке, одном из последних обломков старой России, выдержкой из краткого «послужного списка», который покойный В. Н. составил еще в 1937 году для своих детей и внуков:

> Чистосердечно сознаюсь, что я ценю печатное слово, ценю и осведомление им публики о людях, отошедших в вечность, ибо самое даже краткое упоминание о них может вызвать и вызывает у помнящих Бога обращение к Нему с стереотипной мольбой «Царство небесное!» Я прошу у всех, кто меня знал и кто обо мне слышал, этого краткого моления...

Глеб Струве

ПАМЯТИ К. К. ГЕРШЕЛЬМАНА

(1899 — 1951)

21-го декабря 1951 года скончался Карл Карлович Гершельман, поэт и эссеист. Печатался он редко — в балтийском журнале «Новь», в «Современных Записках» (стихи) и в «Новом Журнале» (статья о Пушкине).

К. К. принадлежал к известной семье балтийского происхождения. Сын генерала, служившего в Одессе, он учился в кадетском корпусе и окончил Михайловское артиллерийское училище в Петербурге. Участвовал в первой мировой войне — и потом в белом движении. Более года провел в Галлиполи. Затем надолго обосновался в Эстонии, где служил в министерстве земледелия, а также занимался художественно-декоративными работами. Иногда выставлялись его прекрасные графические работы (лучшая из них — Рай).

Высокого — рыцарского — роста, с неистребимой выправкой военного, всегда тщательно одетый (хотя часто бедствовал) и подтянутый, он был скромен, и даже застенчив, и не внешне, а внутренно походил на своего любимого толстовского героя — Безухова. Как Пьер, он думал свою думу, и имел контакт только с людьми узкого дружеского круга, чуждого суеты и тщеславия. Для немногих, знавших К. К., его смерть — потеря, которую нечем заменить.

В архиве К. К. много ценных материалов. В том числе — стихи, по мотивам и формально — близкие «парижской школе». После К. К. остались — жена-художница, дочь и сын.

Ю. Иваск

***

Удалось однажды родиться.
Обещали: жизнь впереди.
От надежд голова кружится,
Сколько силы в плечах, в груди.

Вот и юность. Теперь уж скоро.
Вот и старость. Где же, когда?
За окном — решетка забора,
Телефонные провода.

Это в с е! Конечно, до гроба.
Это жизнь? А кто же? Она.
Значит, это лишь так, для пробы,
Значит, будет еще одна.

**
*

Этот мир, где Пушкин и Шекспир,
Где зубная боль и поцелуи,
Где сижу я, удивленный, и слежу я, –
Этот странный, этот четкий мир...

Сам в себе, как в театральной ложе,
С каждым днем внимательней и строже,
Я слежу. Сравнительно большой
Проплывает мир передо мной.

Проплывает отрочеством дальним
(Лодка над рекою и купальня),
Проплывает поцелуем у ворот
(Очень близкая щека и рот),

И войною девятнадцатого года
(На рассвете рокот пушек по шоссе),
Папиросою ночного перехода,
Конской гривою в росе.

Проплывает этим садом и окном,
Лампою над письменным столом...
Этим стулом проплывает торжествуя,
Где сижу я удивленный, и слежу я...

Сам в себе, как в ложе театральной,
С каждым днем и строже и печальней,
С каждым днем и чище и нежней,
Из прозрачной глубины моей...

**
*

Мне кто-то подарил окно в вечерний сад
И складки легкие оконной занавески,
И сквозь окно в саду отвесных сосен ряд,
Их бурные стволы в косом закатном блеске.

Взволнованно слежу, как медленный закат
Беззвучно клонится, огромен, чист и ярок,
О, неужели Бог когда-нибудь назад
Свой удивительный потребует подарок.

**
*

Мы к этому дому, и к этой постели,
И к этому миру привыкнуть успели.

А было — ведь было! — совсем по иному:
Ни этого мира, ни этого дома,

И было чернее, но чище и шире
В том странно-забытом, дожизненном мире.

Боимся мы смерти, грустим о потере,
И всё же влечемся к таинственной двери,

И всё же тоскуем о странной отчизне,
О странно-забытой, дожизненной жизни...

Но дверь отворилась, взошли на крыльцо,
Нам черное, чистое дышет в лицо.

К. Гершельман

БИБЛИОГРАФИЯ

А. ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС. На путях к свободе. Изд-во Имени Чехова. Нью Иорк. 1952 г. (432 стр.).

Воспоминания, которые А. В. Тыркова опубликовала под заглавием «На путях к свободе», охватывают богатый событиями период от 90-х годов прошлого столетия до начала первой мировой войны. Как сама Тыркова говорит о себе, она «была частицей, хотя и малой, того оппозиционного кипения, которое тогда же стали называть «Освободительным Движением». Первые главы в значительной части посвящены описанию встреч с, так называемыми, «легальными марксистами» — Струве и Туган-Барановским. Жены обоих, как и Крупская, жена Ленина, были школьными подругами автора. Наряду с этим Тыркова описывает свою работу в провинциальной печати; в частности, в Ярославле, куда ее устроил выдающийся земский деятель князь Д. И. Шаховской; описывает и свое участие в 1901 году в демонстрации на площади перед Казанским собором, где она вместе с многими другими была арестована и таким образом впервые ознакомилась с русской тюрьмой. В Ярославле она была в 1902-03 г.г. Вскоре по возвращении в Петербург, осенью 1903 года, она взялась перевезти из Гельсингфорса транспорт нелегального, издававшегося заграницей П. Б. Струве, журнала «Освобождение», была на границе арестована, отдана под суд и приговорена к двум с половиной годам тюрьмы. Но прежде чем приговор был приведен в исполнение, ей удалось бежать заграницу. В эмиграции она жила в тесном общении с Струве и его семьей до тех пор, пока манифест 17-го октября не открыл возможность вернуться в Россию, где она вступила в партию «Народной Свободы», т. е. «кадетскую», и вскоре стала членом центрального комитета партии. С того времени она активно участвовала в политической жизни и кроме того, как газетная корреспондентка, в течение ряда лет писала отчеты о заседаниях Государственной Думы.

Уже эта краткая схема показывает, что А. В. Тырковой было о чем вспоминать помимо своей личной жизни, о которой она говорит сравнительно немного. Читая воспоминания Тырковой, невольно завидуешь и тому, как много она помнит — часто до мельчайших деталей — и тому, как живо и ярко она умеет об этом

рассказывать. Ее книга от начала до конца читается с неослабевающим интересом, а того, кто сам участвовал в тех или иных из описываемых событий, заставляет вновь переживать их с волнующей остротой. Тыркова ставила себе задачу «передать дыхание событий, над которыми будущим историкам предстоит ломать голову» (стр. 11) и это ей удалось, если не всегда, то во всяком случае в такой мере, больше которой вряд ли можно ожидать от чьих-либо воспоминаний. Но сама Тыркова также немало «поломала себе голову» над этими событиями и вышла далеко за пределы своего намерения писать только воспоминания, рассказ о том, что «я видела, слышала, среди чего жила» (там же). Рассказывая о прошлом, она не только описывает события и их участников, но и постоянно оценивает их на основании своих более поздних размышлений. И основная тенденция этих оценок не апологетическая, оправдывающая, а покаянная и часто обличительная. Правда, она пишет, что не может и не хочет «выносить обвинительный акт либерализму моего поколения. Я не отрекаюсь от них» (206 стр.). Тем не менее «На путях к свободе» в значительной мере является именно обвинительным актом против всей либеральной и революционной интеллигенции, включая и кадетскую партию и самое Тыркову, которая явно писала свои воспоминания с глубоким чувством вины — и коллективной и своей личной.

А. В. Тыркова старается не вписывать свои теперешние оценки в передачу своих воспоминаний и тщательно отдаляет то, как она в свое время переживала события, от того, что она думает о них теперь. Это — большое достоинство ее изложения. Тем не менее в ряде случаев она не избежала известного искажения перспективы под влиянием более поздней перемены в ее суждениях. За это ее трудно упрекать: вряд ли кто смог бы этого избежать. Я мог бы привести десятки пунктов, по которым я разделяю критику Тырковой, но также десятки и таких, где ее критика представляется мне преувеличенно суровой или прямо неправильной. Но для этого пришлось бы писать десятки страниц. Не буду поправлять фактических неточностей и ошибок, не имеющих в данной связи существенного значения. То, например, что Коллонтай была дочерью генерала Домонтовича, а не Мравинского, важно для биографии Коллонтай, а не для картины Освободительного Движения. Такие ошибки памяти совершенно неизбежны. Остановлюсь на немногих пунктах центрального значения.

А. В. Тыркова пишет, что «к началу 20-го века самодержавие опиралось не столько на дворян, сколько на крестьян», которые были не просто покорные царской власти, но «были с ней органически связаны. В этой связи с мужицкой стихией, в том, что крестьянство срослось с нею, была сила и цельность самодержавия, может быть,

и России. Крестьян сближало с царем православие и интуитивное государственное чутье». Тыркова приводит слова, которые она в 1917 году слышала от курского мужика: — «Какая была держава, а вы что с ней сделали?» и добавляет: — «Мужик понимал, какая Россия была великая держава, а мы, интеллигенты, плохо понимали» (52 стр.). Но в другом месте она вспоминает, как в том же 1917 году Милюков «героически пытался спасти монархию... стараясь доказать разнузданной солдатчине, что России нужна не республика, а конституционная монархия» (415 стр.). Но ведь эта разнузданная солдатчина состояла в подавляющем большинстве из крестьян, от гнева которых Милюков и пытался спасти монархию. С другой же стороны было много интеллигентов, которые думали так же, как и упомянутый курский мужик.

Крестьянский монархизм существовал, но трудно судить, насколько он был глубоко и широко распространен. Всеобщим явлением он во всяком случае не был, «интуитивное государственное чутье» крестьян сомнительно, а отсутствие его у царя несомненно, что особенно ярко проявилось в распутинщине. Вопрос «что вы сделали с великой державой» больше всего мог быть направлен к царской власти уже в 1904-1905 годах, во время русско-японской войны. После страшных и унизительных поражений в этой войне вряд ли кто мог иметь живое ощущение того, что Россия продолжает быть великой державой. В известном смысле она такой не была и во время Мировой войны. В «кипении» 1905 года были элементы оскорбленного чувства — в какой мере, является вопросом, заслуживающим внимания и исследования. Теперь Советский Союз уже без малейшего сомнения является великой державой. Значит ли это, что теперешняя оппозиция должна искать примирения с его правительством?

Тем не менее упрек интеллигенции в недостатке «государственного чутья» можно считать в какой-то мере правильным, не забывая однако, что у царя и его окружения (за очень немногими исключениями) этого чутья было гораздо меньше. Сама Тыркова отнюдь не замалчивает грехов царского правительства, в частности отмечая, что обе стороны были ответственны за то, что не состоялось соглашение между правительством и первой Государственной Думой, что по ее мнению было роковым несчастьем, предопределившим дальнейшую трагическую судьбу страны. Всё же она считает, что каким-то образом сотрудничество правительства и Думы могло осуществиться, и оставляет впечатление, что главная вина за полный разрыв лежала на ее собственной кадетской партии. Но кадеты и более радикальные оппозиционные группы имели все основания думать, что царская власть, издавшая в состоянии растерянности манифест 17-го октября

и затем вновь почувствовавшая свою силу, намеревалась фактически, если не целиком взять назад, то сократить до минимума сделанные ею уступки. Иначе, например, нельзя было объяснить, почему перед созывом Думы царь назначил председателем Совета Министров Горемыкина.

Нам, интеллигентам предреволюционных поколений, есть в чем каяться. Много было доктринерства, книжного подхода к проблемам без достаточного знания страны и народа, был и избыток чисто эмоциональной революционности, непонимания границ объективно возможного. Под многим, что говорит об этом Тыркова, следует подписаться. Но это не основание для того, чтобы задним числом проникаться уважением к той «исторической власти», какой было самодержавие последних десятилетий. И трудно допустить, что эта «историческая власть» могла бы при каких-либо условиях уцелеть в процессе преобразования России. Ведь Стюарты, Бурбоны, Габсбурги, Гогенцоллерны — всё это тоже были носители исторической власти.

Кроме описания событий А. В. Тыркова дает ряд портретов их участников. Ее портреты всегда блестящи. Особенно удался Д. И. Шаховской, которого она рисует как «журавля». Я его никогда не встречал, но теперь у меня такое чувство, будто я его очень хорошо знал и любил. Во всех характеристиках чувствуется острая наблюдательность, но в некоторых случаях также склонность слишком подчеркивать слабости и недооценивать достоинства. Я не сомневаюсь, например, что у Туган-Барановского, которого я лично не знал, были все те чудачества, о которых рассказывает Тыркова, но «марксистским начетчиком», каким она его изображает, он не был: его теория кризисов, по сей день высоко оцениваемая специалистами, была в его понимании марксистской, но с «буквой» самого Маркса сознательно расходилась. Думаю, что А. В. Тыркова слишком сурова и по отношению к Милюкову.

В заключение об одном очень больном вопросе — о моральной оценке революционного террора, вопросе слишком сложном, чтобы пытаться рассмотреть его здесь так, как он того заслуживает. Я всегда был противником террора, но я также понимаю Шаховского, испугавшего Тыркову словами: «Плеве надо убить». Во всяком случае террор сверху и террор снизу относятся к совершенно различным моральным плоскостям, чего Тыркова как будто не признает. Замечу только одно: если бы в свое время Ежов был убит противником советской власти, неужели моральная реакция могла бы быть той же, как по отношению к истреблению Ежовым его жертв?

Ю. Денике

Ю. Б. МАРГОЛИН. «*Путешествие в страну зэ-ка*». Издательство мени Чехова. 1952. Стр. 414. — $2.75.

Это мужественная и замечательная книга. И написана она превосходно, местами — художественно. По содержанию же она *потрясающа*. Я полностью отдаю себе отчет в смысле этого слова.

При чтении «Путешествия» само собой напрашивается сравнение с «Записками из мертвого дома». Предносилось это сравнение и автору «Путешествия», когда он еще находился в мертвом — не доме, а уже царстве, организованном большевиками. Свое описание Ю. Марголин не сравнивает с гениальным прозрением Достоевского в психологию палача и его жертв. Он рассказывает, как, на четвертом году ничем не оправданного заключения в советском аду, ему удалось раздобыть «Записки из мертвого дома» и прочесть из них отрывки окружавшим его заключенным. Эффект получился неожиданный.

«Люди смеялись и... завидовали. Я прочел описание праздника (у нас праздников не было). Когда я дошел до слов: «К вечеру инвалиды, ходившие на базар по арестантским рассылкам, нанесли с собой много всякой всячины из съестного: говядину, поросят, даже гусей...», раздался хохот: «Вот так каторга! На базар ходили!..». Когда же Марголин привел описание госпиталя в «мертвом доме», его прервали с завистью и восхищением: «Табак был!.. И в сапоги прятали!». В советских лагерях сапоги — привилегия и редкость, достояние считанных единиц.

Автор отмечает, что и на царской каторге, «которая нам казалась такой негрозной, Достоевский надорвался душевно». Четыре года каторги его сломили, опрокинули все предшествующие представления Достоевского об обществе и человеке. Он стал жертвой «лагерного невроза», который «тенью лег на всё его творчество» — «Не в результате особой «деликатности», а сильного ожога, содранной кожи, обнаженной раны. В лагере люди теряют деликатность, грубеют, неженок нет в лагере, и зубы там рвут без кокаина».

Автор рассказывает и о себе, до чего его довел «лагерный невроз». Он голодал и холодал. Его били, и он — бил. Его обкрадывали, начальство и уголовные, урки, и он — крал от непосильного голода хлеб, утаивал пищу и поглощал ее тайком от соседей. Он — доктор философии и лингвист, деликатнейший от природы и «всечеловек» по убеждению. И он дошел до состояния «доходяги» и, будучи *расчеловечен*, ждал и жаждал смерти-освободительницы.

Рас- или обес-человечение входит необходимым элементом в советскую «исправительную» систему. Оно является этапом, через который пропускают каждого заключенного, чтобы бывший человек стал более сговорчив и превратился в послушный рабочий,

гужевой или иной, скот. Это достигается, когда для советского каторжника не только главное, но и *всё* сводится к тому, чтобы его досыта накормили и не окончательно замучили на непосильной работе. «Принудительный лагерный труд прямо вытекает из советского строя и от него неотделим», — утверждает Ю. Марголин. И он вскрывает механику советского управления и хозяйствования, покоющихся на систематическом моральном и материальном ущемлении, унижении и, в конечном счете, истреблении заключенных. Советская власть может себе это позволить, потому что она обеспечила себя «небывалым резерватом рабства, равного которому не знает мировая история».

Самостоятельный интерес представляет описание автором своих снов в лагере. Сначала он с нетерпением ждал ночи, чтобы хоть во сне выйти из лагеря, и даже гордился тем, что ему «в глубине подсознательного» удавалось оставаться свободным. Но прошел год, и лагерь стал брать верх. «Я даже во сне носил арестантский бушлат, озирался во все стороны и был полон страха или других лагерных эмоций... как собака привязан невидимой цепью. Потом начались голодные сны. Типичные и массовые, у всех одинаковые сны зэ-ка*. Еда снится во всех видах и вариантах каждую ночь, в каждом сне, в совершенно неожиданных моментах сна».

Книга производит жуткое впечатление: «за человека страшно». Автор не столько резонирует, сколько рассказывает и показывает. Некоторые обобщения сделаны в главах о «Расчеловечении», о «Лагерном неврозе» и, конечно, в «Послесловии».

Ю. Б. Марголин подчеркивает, что его книга не мемуары о прошлом, а обращена к *настоящему:* «нельзя понять эпохи, в которой мы живем, не зная того, как и почему лагеря возникли, растут и ширятся... Есть ад на земле, созданный теми, кто притязает на звание строителей нового мира». Книга написана *против* безжалостного угнетения, насилия и произвола и, вместе с тем, *в защиту* заживо похороненных, страдающих и подавленных. Автор справедливо негодует и недоумевает, как «миллионы людей на Западе совмещают демократические убеждения и протест против социальной несправедливости в любой форме — с поддержкой вопиющего и омерзительного безобразия, которого в наши дни не видеть уже нельзя... Гитлер продемонстрировал один вариант господства, основанного на рабском подавлении «низших рас» и слабых народов: вариант глупый и нерациональный. Кто хочет убедиться, как выглядит советский вариант, не менее циничный, но более умный и совершенный

---

* Условное обозначение для заключенных во всех документах НКВД: — З/К.

— пусть попробует добиться очной ставки с миллионами советских рабов. Настежь двери лагерей для людей независимой науки и свободной мысли!».

Ю. Б. Марголин выжил пятилетний срок пребывания на советской каторге благодаря счастливому стечению ряда случайностей. Он — редкое исключение. Ему пришлось быть молчаливым свидетелем того, как равнодушная рука караульного выбросила в мусор и грязь, вместе с последним письмом матери, замученной Гитлером, плод трехлетних размышлений Марголина о Лжи, Ненависти и Свободе. Но написанное им «Путешествие» *останется*, как вечный памятник умученным жертвам и неопровержимое свидетельство против человекообразных преобразователей природы человека и общества.

Книгу Ю. Б. Марголина необходимо перевести на возможно бóльшее число языков.

М. Вишняк

А. РЕМИЗОВ. «В розовом блеске». Издательство имени Чехова. Нью Иорк. 1952.

Есть в мировой литературе книги-исповеди. Со времени «Исповеди» Руссо они писались от первого лица, и в течение последних ста пятидесяти лет создалась целая традиция этих книг, — она то прерывалась, то возобновлялась, но главные линии литературы прошлого столетия прошли мимо нее. В 90-ых годах первым современным автором «книги-исповеди» был Август Стриндберг («Исповедь глупца»); одной из замечательнейших исповедей была в наше время автобиография Андрэ Жида. Быть может, спорным покажется причисление книги А. М. Ремизова «В розовом блеске» к этому роду литературы и прежде всего потому, что она написана автором *как бы* не о себе, а о другом человеке. И, конечно, написана в третьем лице.

У «книг-исповедей» была форма — не общая, потому что форма исповеди есть форма *речи* писателя. Осторожный шопот Жида или возбужденная речь Стриндберга не могут быть ни переняты, ни повторены. В форме исповеди имеются уже все элементы ее содержания — как в человеческом голосе мы и без восприятия слов открываем для себя *суть* произносимого. Это особенно чувствуется в писаниях Леона Блуа, во всех книгах которого можно найти элементы исповеди, и в русском Леоне Блуа — Розанове. К этим двум именам хочется присоединить отныне и третье имя — А. М. Ремизова. Было и прежде ясно, что для него только этот род литературы представляет интерес — он никогда, вероятно, не стремился быть «творцом объективных ценностей», но сейчас, после его последней книги, это кажется бесспорным: третья часть ее принадлежит к ряду самых

жгучих, самых сильных «книг-исповедей», какие мы знали за последние полвека.

Третья часть, названная «Сквозь огонь скорбей», есть, в сущности, сердце книги. И к нему, как ко всякому сердцу, страшно прикоснуться. В ней рассказаны болезнь и смерть С. П. Ремизовой-Довгелло, жизнь А. М. в оккупированном немцами Париже, бомбардировки, бедность и ужас тех лет — и немного в русской литературе таких трагических книг, как эта.

Первые две части, связанные между собой, не связаны с этой третьей. Чего то, как будто, нехватает между детством и юностью Оли и ее последними годами жизни, нехватает *жизни* ее, которую она делила с А. М., но эта жизнь может быть узнана в десятке других его книг, в частности, в «Взвихренной Руси». Поэтому, разрыв частей в последней книге Ремизова есть лишь недостаток *этой* книги — он восполнен был раньше. Читателю нужно сделать маленькое усилие, чтобы найти то, чего нехватает для восстановления целого.

Это целое, с каждой новой книгой Ремизова, делается всё яснее: «мир, как боль» — его тема, о чем бы он ни писал. Мир — как боль сейчас, и мир, как боль — пятьдесят лет тому назад, и мир, как боль — триста лет назад. В этом мире могут быть радости-боли, встречи-боли, но больше всего в нем — страха и жалости. И чем больше Ремизов живет и пишет, тем больше он чувствует эту боль, — он являет собою пример человека, который ни с каким ужасом не примиряется и ни к какому отчаянию привыкнуть не может.

Н. Б.

ДВЕ АНТОЛОГИИ

1. *А. А. БОГОЛЕПОВ. Русская лирика от Жуковского до Бунина.* Избранные стихотворения. Изд-во имени Чехова. Нью-Йорк, 1952, стр. 409 + V, цена 2.75 долл. Printed by Rausen Bros.

2. *ВЛАДИМИР МАРКОВ. Приглушенные голоса.* Поэзия за железным занавесом. Из-во имени Чехова. Нью-Йорк, 1952, стр. 414 + II, цена 3.00 д.

Первая антология производит странное впечатление. Начнем с подбора авторов. Мы тщетно искали бы Востокова, Гнедича, Катенина, Кюхельбекера, Шевырева, Каролину Павлову, Мея, Хлебникова, Ходасевича, Есенина, Пастернака, Мандельштама, Маяковского, в то время как включены такие небольшие поэты, как Аксаковы, Губер, Н. Добролюбов (критик), Жадовская, Жемчужников, К. Р., Скиталец, Щепкина-Куперник, Любовь Столица, Суриков, А. Федоров и даже... Мунштейн-Лоло, П. Я., Скиталец, Ратгауз, Фруг!

Странный выбор: предпочесть милую, но очень бледную «Додо» — Растопчину или хрестоматийную Жадовскую большому мастеру стиха и настоящему поэту Каролине Павловой; из творцов «русской песни» взять книжного Мерзлякова — и не включить Цыганова... И если уж включен Огарев, Щербина, Туманский или Губер — почему совсем изъят Полежаев? Странное впечатление производит и количество страниц, отведенных тому или иному автору. Если Некрасову уделено 13 стр., то такое же, примерно, количество страниц (12) уделено и Никитину, а бедному Тютчеву пришлось успокоиться на 7 страницах, как и Огареву и Надсону. К. Р. получил 4 страницы, а Вяземский всего две с половиной. Случевский одну. Подбор стихов каждого поэта? Как бы ни был он субъективен, но дать «Безумие горя» Полонского и не включить его — ставших классическими — «Зимнего пути», «Колокольчика», «Дороги» («Глухая степь — дорога далека») — тоже странно. Подбор стихотворений Баратынского (ему дано всего 4-5 страничек), Вяземского, Апполона Григорьева также заставляет предположить, что составитель не очень трудился *выбирать*. А. Григорьев представлен, главным образом, своей «цыганщиной», отнюдь не исчерпывающей его поэтического наследия; на страницах, посвященных Баратынскому нет ни «Недоноска», ни «Предрассудка» («Предрассудок! Он обломок»), ни «Последнего поэта», не говоря о многом другом. Положим, антология не может вместить многого, но зачем тогда ее загружать Скитальцем, Ратгаузом и многими другими. Марина Цветаева получила меньше одной страницы, при чем два ее коротеньких стихотворенья оба 1916 года. А Плещееву дано почти 6 страниц, почти 5 страниц Ивану Аксакову, почти 4 страницы Минскому.

Не удовлетворяет нас и редакция некоторых стихов. Произвольный выбор текста пушкинской «Телеги жизни» (нужно было или *не включать* ее в антологию, или включать *в пушкинской* редакции, а не в редакции «Московского Телеграфа», измененной, очевидно, Вяземским, хотя и с согласия Пушкина). Порядок расположения авторов в антологии — тоже непонятен. Почему, напр., Денис Давыдов и даже Мерзляков помещены после Пушкина и Случевский (1837-1904) после Вл. Соловьева, З. Гиппиус и Фофанова? В целом, антология не кажется нам хорошо составленной.

Название антологии Вл. Маркова — «Приглушенные голоса» — представляется нам неподходящим. Стихи оравшего «во весь голос» Маяковского, ловкача Сельвинского, лауреатов сталинских премий и бывшего председателя Союза Советских Писателей Тихонова вряд ли можно назвать «приглушенными». Правда, стихи, скажем, Тихонова, ранних сборников, и его безнадежные сборники, получившие сталинскую премию — небо и земля. Но название, во всяком случае,

неподходяще. Можно спорить и о составе сборника: не обязательно было включать Илью Сельвинского, можно было меньше места уделить Багрицкому; можно было бы вовсе не помещать переводов, а включить еще двух-трех мало известных читающей публике поэтов. Удивляет некоторая непоследовательность в подборе авторов первого раздела: если уж включены Максимилиан Волошин и Федор Сологуб, то могла бы быть представлена и Марина Цветаева — доэмигрантского периода. Ведь и стихи других авторов даны не последнего периода их творчества, а, как правило, скорее более раннего, часто дореволюционного. Если уж включенным оказался умерший в 1922 году Хлебников, *никак* не относящийся к советскому периоду русской поэзии, то почему не представлены в сборнике Блок и Гумилев, только на несколько месяцев раньше Хлебникова ушедшие из жизни? Но спасибо составителю за то, что он дал некоторое количество стихотворений Мандельштама, Клюева, Павла Васильева и Заболоцкого, книги которых давно исчезли и там, за железным занавесом, и здесь, за рубежом.

Хочется обратить внимание только на несколько ошибок и оплошностей в текстах Мандельштама и Заболоцкого, да заметить — мимоходом, — что Клюева звали Николаем Алексеевичем, а не Александровичем, и что его стихи, печатавшиеся в журналах 20-х и 30-х годов вовсе не были «неуклюжими попытками приспособления», как сказано на стр. 16 вступительной статьи Маркова. Такой попыткой была позорная «Юность», последняя из нам известных опубликованных вещей Клюева («Звезда», 1927, ном. 5), но «Песни на крови» («Русский Современник», 1924, ном. 1), поэма «Деревня» («Звезда», 1927, ном. 1), поэма «Мать-Суббота» (отдельная книжка, 1922), ряд стихотворений этих лет — лучшее из клюевского литературного — известного нам — наследства.

Переходим к оплошностям книги. Стихотворение Мандельштама «В Петербурге мы сойдемся снова» (стр. 72 антологии) Вл. Марков произвольно датирует 1916 годом, хотя у Мандельштама («TRISTIA», 1922) оно точно датировано: «25 ноября 1920 года». Но Вл. Марков берет это стихотворение в *искаженной* цензурой — вернее, в *угоду* цензуре — редакции «Стихотворений» Мандельштама 1928 г., в которых, впрочем, тоже *нет* даты «1916», а просто стихотворение это — без даты — помещено между стихами 1916 года. Насколько существенно было бы дать не искаженную цензурой редакцию, явствует наглядно из сопоставления двух редакций, хотя бы и частичного:

TRISTIA, 1922:	*«Стихотворения», 1928:*
В Петербурге мы сойдемся снова, Словно солнце, мы похоронили в нем, И блаженное, бессмысленное слово В первый раз произнесем. В черном бархате советской ночи, В бархате всемирной пустоты, Всё поют блаженных жен родные очи, Всё цветут бессмертные цветы... ...Мне не надо пропуска ночного, Часовых я не боюсь: За блаженное, бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь.	(приводим только измененные строки): В черном бархате январьской ночи, Я в ночи январьской помолюсь.

Непонятно, какие это «часовые» и «пропуски» могли быть на улицах Петербурга до большевиков? Как мог Вл. Марков датировать эти стихи 1916 годом?!

Стихотворение Мандельштама «Кому зима, арак и пунш голубоглазый» взято Вл. Марковым также не из «Второй книги», 1923, а из «Стихотворений», 1928, где цензура изменила в значительной степени самый смысл стихотворения:

«Вторая книга», 1923:	*«Стихотворения», 1928:*
Пусть заговорщики торопятся по снегу	Пусть люди темные торопятся по снегу

В стихотворении Николая Заболоцкого «Осенние приметы», из «Второй книги», 1937, искажены и «сведены в одну строчку» строки 5-6, второй строфы:

«Приглушенные голоса», стр. 367:	*«Вторая книга» Заболоцкого:*
и солнечная масса туманный шар земли, мерцая, кровянит.	и солнечная масса, туманным шаром над землей висит и край земли, мерцая, кровянит.

Но — несмотря на все погрешности, и подчас неубедительный подбор авторов и их произведений эта антология кажется нам полезной.

Борис Филиппов

Д. КЛЕНОВСКИЙ. «Навстречу небу». Изд. «Иверни». 1952.

Новая эмиграция дала нам несколько талантливых прозаиков и талантливых поэтов. Кое-кто найдет, быть может, что это не много. Другие могут думать иначе. Появление стихов Кленовского для огромного большинства тех, кто любит поэзию, большая радость.

Два года назад вышла его первая книга стихов «След жизни» — она была не только замечена и оценена, но и... распродана, что бывает не так часто. Кленовского не только печатали, его любили. Где то в Германии, мало кому знакомый лично, он продолжает писать, и в разных углах мира, после второй войны сильно урезанного, ему отвечает читатель любовью и признанием.

Первое стихотворение в книге замечательно и дает внутреннее направление всему сборнику:

Их ровно пятьдесят от сердцевины
Тугих колец на спиленном стволе.
Ровесник мой, на медленной земле,
Вот и закончен он, наш путь единый!
Исчезнуть мне, тебе же жить и жить,
Стать дверью, лодкой, скрипкой, колыбелью,
Бессмертному земному новоселью
Еще светло и чисто послужить:
Спеть, убаюкать, привезти, впустить...
О если бы и мне, вослед тебе,
Продлить мой срок, мой срок скупой и тленный,
Мое участье в зреющей судьбе,
В движеньи, в пеньи, в зодчестве вселенной!

Оно неожиданно перекликается с одним из лучших стихотворений, тоже царскосела, Г. Раевского: «Я ровно тридцать насчитал кругов на пне, ровесник бедный!» — а по звучащей в нем мелодии близко к целому ряду поздних символистов и акмеистов. Из акмеизма Кленовский несомненно вырастает, сбрасывая с себя кое-какие акмеистические привычки, и выходит на путь «любви к мудрости», которую так ценил Вячеслав Иванов.

О том, что Кленовский мастер каждый узна́ет, прочтя его книгу. Она замыкает круг и от поэта будет зависеть куда, в каком направлении, идти теперь из этого круга, где он (двумя сборниками) исчерпывающе сказал во что верит, чего ждет, что любит. Тема его — бессмертие — завершена такими стихами, как «Здесь всё совсем не так, как надо», или «Непрочен матерьял моей земли» или «Уже сентябрь позолотил листы». И куда он направится теперь, хочется угадать, но, конечно, невозможно. Может быть, это будет звучащее «Акрополем» и «Евфратом» — прошлое, может быть, что-то

возникнет из строк «И если всё-таки не верится, то значит, нечем и помочь»; или Кленовский пойдет той — пусть неожиданной — дорогой, которую он себе наметил в стихотворении «Возле дома моего».

Как бы там ни было, хочется сказать о втором сборнике поэта, что это явление крупное, редкое в нашей бедной литературными радостями жизни; что он важен столько же сам по себе, сколько и как завершение глубоких внутренних исканий Кленовского; что в каждом стихотворении чувствуется громадная культура стиха, «любовь к мудрости» и та подлинная поэзия, которая проникает в читателя и остается жить и цвести надолго.

Н. Б.

«НЕИЗДАННЫЙ ГУМИЛЕВ». Под редакцией Г. П. Струве. Изд-во имени Чехова. Нью-Йорк. 1952. Стр. 237 + III. Цена 2.25 долл. Printed by Rausen Bros.

Одной из основных задач русского зарубежного издательства должно быть «воскрешение мертвых»: — издание книг русских поэтов и прозаиков, умученных большевиками; издание книг изъятых из советских библиотек, уничтожаемых и уже уничтоженных за железным занавесом; книг, быстро истребляемых временем и обстоятельствами эмигрантских скитаний — здесь за рубежом. Еще важнее — собрать произведения этих же авторов, разбросанные в быстро истлевающих газетах, альманахах, журналах; собрать небогатое рукописное наследие, еще сохранившееся в частных собраниях русского зарубежья; собрать и скудные биографические данные, воспоминания о таких поэтах, как Гумилев, Мандельштам, Клюев, Цветаева, Сологуб, Максимилиан Волошин, Вяч. Иванов и др.

И вот — первая ласточка — «Неизданный Гумилев»: тщательно подготовленные к печати и комментированные трагедия «Отравленная туника», неоконченная повесть «Веселые братья», двадцать стихотворений. Из них 11 публикуются впервые, если не считать, что 9 стихотворений были опубликованы Г. П. Струве в «Новом Журнале», кн. VIII, 1944; 6 стихотворений представляют варианты опубликованных в посмертном сборнике стихов Гумилева; 2 стихотворения — варианты стихов, включенных в «Костер»; одно — опубликовано в берлинском журнале «Сполохи», 1922. Кропотливая и требующая большой любви, уменья и знаний работа по установлению наивозможно полного текста трагедии; сложная работа по редактированию текста повести; превосходные комментарии — много лет мы не видали за рубежом такой «добротно» сделанной книги, настоящей редакторской работы.

Нужно подумать о собирании здесь, в русском рассеянии, материалов для возможно полного собрания стихотворений, переводов,

прозы и статей Гумилева. Думаем, что оно составило бы тома два — не более. Если Блок собран полностью или почти полностью, то Сологуб, Вячеслав Иванов, Клюев, Гумилев, Мандельштам, Максимилиан Волошин, Цветаева и даже Ахматова, еще ждут такого собрания. И нужно торопиться: через несколько лет многое может быть утрачено навсегда.

Повесть, вернее начало повести «Веселые братья» чем-то напоминают «Приключения Никодима» Скалдина. Повесть эта, вышедшая, кажется, в 1913 году, была одно время настольной книгой у многих писателей Петербурга. Сама идея тайного общества «Веселых Братьев» напоминает полубредовые-полуиздевательские построения Скалдина, его фабрику живых людей и т. д.

«Отравленная туника» отнюдь не может быть причислена к числу лучших произведений Гумилева. Но, пожалуй, она, действительно, больше драма, чем лирический «Гондла». И, во всяком случае, опубликование последней драмы Гумилева — событие в русском литературоведении. Спасибо и редактору и издательству за хорошую книгу.

Борис Филиппов

Н. СЕМЕНОВ. Советский суд и карательная политика. Институт по изучению истории и культуры СССР. Мюнхен, 1952. Стр. 145.

О советской юстиции вышло столько трудов на разных языках, что, казалось бы, нового о ней нечего и сказать. Но, при чтении книги Н. Семенова, такое предвзятое мнение не оправдывается. Конечно, автору приходится повторить много общеизвестных положений о внешнем строении советской судебной системы в ее историческом развитии. Но он восполняет эти данные многими деталями, почерпнутыми из личного опыта и дающими картине ту глубину, которой ей часто не хватает. При том интересны не столько единичные случаи, им приводимые и свидетельствующие о примитивности и жестокости советской юстиции — таких случаев опубликовано очень много, — сколько портреты деятелей советской юстиции и подробные объяснения механизмов, при помощи которых гуманные, на бумаге, постановления советского права превращаются в нечто противоположное, по существу чудовищное.

Особенно интересны данные о подборе судей и о фактическом возврате к формальной системе доказательства, преодоленной было судебными уставами 1864 г. Любопытен перечень классных чинов, присвоенных служащим по министерству юстиции, включая судей; в значительной мере он напоминает петровскую табель о рангах, только в переводе на русский язык. Ценны подробные описания военной юстиции, в мирное и военное время; с этим вопросом ав-

тор повидимому особенно хорошо знаком и потому посвящает ему почти треть своей небольшой книги.

В примечании, растянувшемся на четыре страницы, Н. Семенов полемизирует с профессором Джоном Хазардом из колумбийского университета и с большой силой показывает, насколько последний искажает действительность, когда говорит о советской юстиции и вообще о советском строе.

Жаль только, что книга Н. Семенова не очень четко организована и что написана она скорее небрежным языком. На странице 21 автор говорит о «судебно-трибунальных органах», не замечая, что соединяет в один термин два слова, значащих одно и тоже. И постоянно, во всяких формах, употребляет глагол «репрессировать», одно из многих слов, коими засорился русский язык советского периода.

Н. С. Тимашев

ЗАПІСЫ БЕЛАРУСКАГА ІНСТЫТУТУ НАВУКІ И МАСТАЦТВА.

Zapisy — The Journal of the Whiteruthenian (Byelorussian) Institute of Arts and Sciences. **No. 1, New York, 1952. Vol. 1. Стр. 64.**

В конце 1951 г. в Нью-Йорке был создан Белорусский Институт Науки и Искусства. Это второй научный центр белорусских политических эмигрантов в США. До этого белорусская эмигрантская научная мысль находила свое отражение на страницах небольшого журнала «Веда» (Знание), органа Кривицкого (Белорусского) Научного Товарищества имени Франциска Скарины. Последнее возникло в 1946 г. в Западной Германии, а с 1950 г. находится в Нью Йорке.

На организационном собрании белорусских ученых, литераторов, художников, музыкантов и композиторов 18 декабря 1951 г. было принято решение создать Белорусский Институт Науки и Искусства в эмиграции и было избрано временное правление Института. В течение первого полугодия своего существования деятельность Института ограничилась рядом научных докладов на историко-культурные темы. Из них особый интерес представлял доклад проф. Акиншевича на тему «История цивилизации Восточной Европы по концепции Арнольда Тойнби».

С Институтом сотрудничают следующие белорусские организации: Объединение белорусских врачей на чужбине, Белорусская библиографическая служба и Союз белорусских журналистов. Сейчас осуществилась одна из главнейших задач Института — издание научного печатного органа — «Запісы» (Записки). Журнал преследует цели всестороннего освещения Белоруссии в ее прошлом и настоящем.

В первом номере «Записок» основному содержанию предпослано

предисловие от редакции и издательства, в котором имена многих известных деятелей белорусской культуры ставятся «примером жертвенности и преданности как искусству и научной правде, так и своему народу», за что они и погибли от большевистского террора.

В статье проф. Льва Акиншевича под заглавием «Парламент белорусской земли» делается попытка сравнительной характеристики парламентских систем главнейших европейских государств в историческом плане. Кратко определяется место и особенности своеобразной парламентской системы в Великом Княжестве Литовском, которое автор считает формой белорусской государственности в силу того, что государственным языком, как и языком всего законодательства и переписки был старо-белорусский язык (см. все три первые издания Статута Великого Княжества Литовского). Автор привлекает внимание к формам белорусского парламентаризма — т. н. «сойму» и «раде-панов» во 2-ой половине 15-го и первой половине 16-го ст. Белорусский «сойм» в те времена представлял только высшую знать и частично делегатов столицы государства — Вильно. В этом он напоминал польский сейм, отличаясь от последнего, правда, отсутствием признания неограниченного права veto за каждым членом рады.

Начало работы композитора Николая Куликовича «Белорусская музыка, краткий очерк истории белорусского музыкального искусства» посвящено теме происхождения белорусской музыки в древних белорусских княжествах до 13 столетия. В описательных характеристиках музыкальные явления прошлой Белоруссии под пером этого автора кажутся идеализированными. Ценность материала снижается ненаучным методом цитирования без указания источников и без достаточно веского обоснования аргументов и выводов фактическим материалом и документами. Таким образом, многие положения этой работы остаются недоказанными. Очевидно, сказалось отсутствие так необходимых и ничем незаменимых во всякой научной работе материалов.

Энтузиаст белорусского книговедения Николай Паньков представлен статьей «Белорусское книговедение заграницей», представляющей сокращенный перевод сообщения, прочитанного им 16 февраля 1952 г. в книговедческой секции Украинской Вольной Академии Наук в Нью-Йорке. Читатель будет приятно поражен огромной работой по сбору и изучению белорусских эмигрантских изданий, которую автор, как руководитель Белорусской Библиографической Службы уже давно ведет без всякой материальной помощи извне. Белорусская Библиографическая Служба состоит из: I. Книжных отделов: 1) Белорусского, 2) Общего, 3) Иностранного, 4) Старинных изданий, 5) Летучек, 6) Рукописного, 7) Книговедческого и Библиогра-

фического, 8) Периодического и графического; II. Библиографического Бюро с отделами: каталогический и дублетно-обменный; III. Библиотеки-архива и IV. Филиальных отделов. С конца 1947 г. ББС издает журнал «Библиография белорусской печати заграницей». С 1952 г. в Нью-Йорке благодаря финансовой помощи Гарвардского университета вышел Указатель белорусских изданий заграницей с 1945 по 1950 г., составленный тем же Николаем Паньковым и изданный Кривицким Научным Обществом им. Франциска Скарины.

Статья В. Тумаша «Портрет Скарины в Падуе» посвящена описанию портрета белорусского первопечатника Франциска Скарины, обнаруженного в 1934 г. в Падуе, где в 1512 г. в знаменитом тогда Падуанском университете Скарина получил ученую степень доктора медицины, вторую после полученной им степени доктора вольных наук. Портрет этого знаменитого белоруса находится в музейном зале старинного здания Падуанского университета (aula quadrata). На трех стенах этого зала размещены портреты всех выдающихся лиц разных национальностей, окончивших Академию. Всех их около сорока. Портрет Франциска Скарины находится между портретами польского поэта Кохановского и русского доктора Постникова. Надпись латынью гласит: Franciscus Skoryna De Poloczko — Ruteno, 1512. Национальность Кохановского определена как — Polacco, а Постникова — Russo — 1694.

В «Записках» довольно разнообразен отдел библиографии. Здесь рецензии и отзывы на ряд изданий на английском, польском, русском и белорусском языках, имеющих то или иное отношение к истории и культуре Восточной Европы и проблемам Белоруссии. По ценностям выводов и обобщений следует выделить рецензию Л. Акиншевича о труде: *The Limits and Divisions of European History,* by Oscar Halecki, N. Y., 1950 и рецензии В. Т. и С. Б. об изданиях: *History of the Lithuanian Nation,* by Constantine R. Jurgela, New York, 1948 и "The Ukrainian Medieval Paintings on Polish soil", by Damian Horniatkevych, *The Ukrainian quarterly.* Vol. VII, Number 2, 1951. Слабее написана рецензия о советской книге Евг. Мозолькова «Янка Купала» (Изд. Советский Писатель, Москва, 1950). В рецензии не дано разбора книги по существу; автор ее отделался общим политическим выпадом. Автору рецензии — В. Т. — кажется, что Москва специально бросила «сотни тысяч рублей на приготовление книги». Известно, однако, что эта книга впервые была написана для белорусского издательства и годы лежала неизданной в силу того, что редакторы не решались дать о ней положительный отзыв. Книге Евг. Мозолькова о Янке Купале понадобилось быть изданной раньше в Москве и быть отмеченной сталинской премией, чтобы только после этого получить разрешение появиться и в самой Белоруссии.

Как отдел библиографии, так и белоруссика (перечень статей о Белоруссии в заграничной печати и отдельных изданий за последние годы), а также Литературный Календарь и хроника белорусской культурной жизни представляют интерес для всякого, интересующегося вопросами славяноведения и белоруссоведения, в частности.

Отметим некоторые ошибки фактического характера. Ошибочна дата ареста белорусского поэта Язепа Пущи (1931 вместо 1930) и упоминание в перечне жертв большевистского террора имени драматурга и режиссера А. Мировича, случайно пережившего гонения в начале 30-х годов и ныне здравствующего в качестве профессора Белорусского Театрального Института в Минске. Мы посоветовали бы редакции также избегать употребления польских слов, как «волянцыі», которые непонятны восточному белоруссу и не привились в белорусском литературном языке.

По сравнению с более старым белорусским журналом «Веда» — рецензируемый журнал выгодно отличается обилием сотрудников, разнообразием материалов, широтой охвата проблем белорусской культуры и — что, пожалуй, самое главное — бо́льшим научным объективизмом, так трудно достижимым в условиях повсеместного эмигрантского дробления.

Вячеслав Днепровский.

Для лиц, интересующихся «Записками», мы приводим адрес издательства: Mrs N. Kushel, Whiteruthenian (Byelorussian) Institute of Arts and Sciences, 435 New Jersey Avenue, Brooklyn 7, N. Y.

Д. В. КОНСТАНТИНОВ. «Я сражался в Красной Армии». Издание «Нового Слова». Буэнос-Айрес. 1952.

К. КРИПТОН. «Осада Ленинграда». Изд-во Имени Чехова. Нью Йорк. 1952.

Оба автора рецензируемых книг — бывшие жители Ленинграда, оба в недавнем прошлом научные сотрудники исследовательских институтов, оба теперь — заброшенные «на край света» эмигранты. Личные переживания авторов — разны. Роднит эти книги — правдивость и безыскусственность изложения пережитого. В этом — главное достоинство обеих книг. Эту документальность особенно успешно удалось достичь К. Криптону.

В обеих книгах есть рассказ о первом дне войны. «В это воскресенье я проснулся поздно. Светило яркое июньское солнце» (Константинов). Таким беспечным и солнечным запомнился многим советским гражданам роковой день нового акта трагедии нашего народа. Характерны переживания авторов: — сначала представившаяся возможность «освобождения» при помощи немцев, страх перед грядущими военными бедствиями и оправдавшиеся вскоре опасения

жестокостей и непонимания «русского вопроса» со стороны вторгнувшихся в страну немцев. Правдивы описания «народного ополчения» — детища всеобщей паники, хаоса в военных комиссариатах, где меньше всего думали об использовании призывных с пользой для дела. К рассказу Д. Константинова, как его «военно-необученного» поспешили сделать командиром стрелкового взвода, только бы выполнить очередную «разверстку», можно было бы присоединить множество подобных свидетельств. Несколько повезло К. Криптону, он все же не попал в строй, а был направлен на «трудовые работы». К. Криптон, также как и Д. Константинов упоминают о гибели мобилизованных на строительство «неприступных поясов обороны» под Лугой, в момент «гатчинской операции» немцев.

Далее, судьбы обоих ленинградцев временно расходятся. Д. Константинов начинает страдный путь в армии, полуголодное служение по обороне Ленинграда. К. Криптон возвращается в город, обреченный на героическое невиданное сопротивление и такую же невиданную по своим масштабам голодную смерть. Развернутая картина Ленинградской блокады, ее страшных следов на многомиллионном населении — бессердечие власти, успевшей оправиться от первоначальной паники, молчаливая смерть стариков, женщин, детей представлена в книге Криптона с исчерпывающей летописной точностью. Автор приводит факт обращения жен инженерно-технических работников к главе комитета обороны — Жданову — с требованием пощадить детей и сдать город немцам. К сожалению, не сказано, что последовало в наказание за эту «неслыханную дерзость». В заключение, — справедливое мнение автора: виновники гибели ленинградцев — Гитлер и Сталин. Итог — полтора миллиона человеческих жизней.

Авторы обеих книг выехали из района блокады примерно в одно и то же время — весной сорок второго года. К. Криптон в числе других «забронированных» научных сотрудников попадает на Северный Кавказ, чтобы там стать свидетелем второго, летнего, нашествия немцев. Д. Константинов два года еще сражается в рядах советской армии. В его книге красочно обрисована «тыловая жизнь» во время пребывания автора в учебной армейской части, голод, унижение людей... Хороши зарисовки армейских «политдеятелей»: сексотов, держиморд из СМЕРШ'а. Война для автора обрывается во время неудачного наступления его части в районе Ковель-Сарны. Можно предположить, что повествование Д. Константинова было бы полнее, если б он поделился воспоминаниями о своей дальнейшей судьбе: пребывании в немецком плену и ощущениях в час победы. Заголовок книги К. Криптона был бы правильнее — «В осажденном

Ленинграде». Но это мелочь. В целом обоими авторами сделан хороший и честный вклад в документальную литературу о последней войне.

Б. Ольшанский

П. ФЛЕРИ-ОДАРЧЕНКО. «Azelle». Париж. 1952.

Молодой поэт, русского происхождения, выпустил свой первый сборник французских стихов. Как многое из молодой французской поэзии, сборник «Azelle» овеян влияниями Жака Превэра, его грустью и юмором, его любовью к неожиданностям, непосредственностью метафор и характерной его особенностью, когда стихи начинают напоминать детский сон.

Французские стихи — белые стихи, вот уже около 30-ти лет поэты почти своих строк не рифмуют. Флери-Одарченко дает в сборнике несколько прелестных, свежих, талантливых стихотворений — с налетом легкого ужаса или маленькой смешной грусти, — о человеке, которого положили вместо гроба в виолончельный футляр, о каменном яйце, из которого вышли цыплята, о голодной девочке, укравшей у лебедя хлеб. Переведенные на любой язык, эти стихи, как и вообще вся молодая современная французская поэзия, теряют девять десятых своей прелести — она во вне-разумном повторении слов, в нанизывании образов городских кошмаров, в а-логичном развитии стихотворения. Флери-Одарченко выпустил сборник очень «парижский»: хотя о самом городе сказано мало, но он чувствуется в каждой строке.

Н. Б.

Х. КРОТКОВА. «Белым по черному». Стихи. 1951.

Есть неподкупная суровость в стихах Кротковой. Отсюда — резкость тона, отсутствие сладкозвучия. И именно в этом своеобразие ее поэзии. Особенно выразительны у нее стяженные размеры, ритмы с перебоями:

«— Кто я? — Упорный, настойчивый дух,
Весь этот мир, созидающий сызнова,
Мысль и вниманье, зренье и слух,
Неукротимый, чужой, непризнанный».

Может быть, в этих строках ее художническое исповедание. Здесь раскрывается также символ заголовка: Белым по черному. Белое — это дух, а черное — мир, как материал, сырье (дерево, камень, руда). Удаются ей также свободные размеры без рифм, например, интересная баллада о маяке, от которого исходит «честный, чистый, четкий свет, идущий, понимаешь? — прямо к сердцу».

Нелегко установить поэтическую традицию Кротковой. Но есть у ней сродство с Цветаевой и дальше — с Каролиной Павловой, сказавшей, что — поэзия «мое святое ремесло».

Ю. Иваск

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ ДЛЯ ОТЗЫВА

William Reswick. I dreamt revolution. Henry Regnery Company. Chicago. 1952 (328 p.).

George Fisher. Soviet Opposition to Stalin. Harvard University Press. Cambridge. Mass. 1952 (230 p.).

Ник. Зернов. Вселенская Церковь и русское православие. УМСА-ПРЕСС. Париж. 1952 (316 стр.).

Николай Федоров. Советизация эмигрантского языка. Изд. «Новое Слово». Буэнос Айрес. 1952 (21 стр.).

Родион Березов. Народные жемчужины. Изд-во «Дело». Сан Франциско. 1951 (96 стр.).

Далекое и близкое. И-во «Дело». Сан Франциско. 1952 (116 стр.).

Дождь и слезы. Стихи. Изд-во «Дело». Сан Франциско. 1951 (96 стр.).

«Грани», № 15. Франкфурт. 1952 (120 стр.).

«Литературный Современник», № 4. Мюнхен. 1952 (125 стр.).

«Веда». Навукова літаратурна месячнік. № 7. Нью Иорк. 1952.

Alexander Philipov. Logic and Dialectic in the Soviet Union. Research Program on the U.S.S.R. New York. 1952 (89 p.).

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА ИМЕНИ ЧЕХОВА

Н. И. Ульянов. Атосса. Роман. Нью Иорк. 1952 (204 стр.).

Пантелеймон Романов. Товарищ Кисляков. Роман. Нью Иорк. 1952 (363 стр.).

Нина Федорова. Семья. Роман. Нью Иорк. 1952 (350 стр.).

М. А. Алданов. Живи как хочешь. Т. I и т. II. Нью Иорк. 1952 (381 стр. и 301 стр.).

Вилла Катэр. Моя Антония. Перевод с англ. В. Яновского. Нью Иорк. 1952 (306 стр.).

М. М. Новиков. От Москвы до Нью Иорка. Нью Иорк. 1952 (404 стр.).

А. А. Боголепов. Русская лирика. От Жуковского до Бунина. Нью Иорк. 1952 (409 стр.).

А. А. Гольденвейзер. В защиту права. Нью Иорк. 1952 (206 стр.).

Георгий Иванов. Петербургские зимы. Предисловие Вяч. Завалишина Нью Иорк. 1952 (240 стр.).

П. Пирогов. За курс! Нью Иорк. 1952 (402 стр.).

ИСПРАВЛЕНИЯ

Мы указываем на необходимые исправления в кн. 30-й «Нового Журнала»: на стр. 237, прим. 4-е, 1-я строка, следует: «в кн. 27-й», напечатано «В прошлой книге»; на стр. 280, 17-я строка снизу, следует: «истолкования», напечатано «истолкователя»; на стр. 289, 13-я строка сверху, следует: «отражениях», напечатано «отступлениях»; на стр. 303, 2-я строка снизу, вместо «235-й» напечатано «243-й». На стр. 74, после заглавия «Древо жизни», пропущены две строки многоточия. РЕД.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1953-й ГОД

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1953-м году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 30 крузейро

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

"The New Review", 223 West 105th St. New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня